

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

ЭТИМОЛОГИЯ
1988-1990

Сборник научных трудов



МОСКВА "НАУКА"
1993

ББК 81
Э90

Э-903

Редакционная коллегия

Ж.Ж. Варбот (ответственный секретарь), *Л.А. Гиндин*, *Г.А. Климов*, *В.А. Меркулова*, *В.Н. Топоров*, *О.Н. Трубачев* (ответственный редактор)

Рецензенты:
доктор филологических наук *Ю.С.Азарх*,
кандидат филологических наук *Л.Г.Невская*

Редактор издательства *Т.М. Скрипова*

Этимология. 1988—1990: Сб. статей / Ин-т рус. яз. РАН; Отв.
Э90 ред. О.Н. Трубачев. М.: Наука, 1993. — 204 с.
ISBN 5-02-011040-X

Очередной том ежегодника включает статьи по конкретной этимологии лексики славянских языков, реконструкции праславянского лексического фонда, картвельской и тюркской этимологии; исследования по этногенезу славян и прародине индоевропейцев. Во всех статьях сборника предлагаются новые этимологические решения. Критико-библиографический отдел составляют рецензии на недавние публикации в области этимологии и смежных дисциплин.

Для лингвистов, историков, этнографов.

Э $\frac{4602000000\text{-}207}{042(02)\text{-}93}$ 677-91, I полугодие

ББК 81

2739-23-93

ISBN 5-02-011040-X

© Коллектив авторов, 1993
© Российская академия наук, 1993

СТАТЬИ

О.Н. Трубачев

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН. VII

Серия работ с таким названием печаталась в "Вопросах языкознания" 1982, 1984 и 1985 гг., а устный доклад был оглашен на IX Международном съезде славистов в Киеве в 1983 г. (правда, еще раньше, в 1981 г., я уже доложил свою концепцию на XIV Международном конгрессе ономастических наук в Мичиганском университете, Энн Арбор, и на секции культуры Древней Руси в Москве).

Суть нашей концепции — древнее знакомство славян со Средним Дунаем, древнее обитание славян в непосредственной близости от Дуная и Центральной Европы. При этом поднимались принципиальные теоретические вопросы, затрагивающие не только языкознание (подвижность праславянского ареала, сосуществование разных этносов внутри праславянского ареала и другие). Именно это сознание неразрывной связи задач языкознания, истории, археологии в этой проблеме дает нам право говорить средствами своей науки об **этногенезе** славян, а, скажем, не о **глоттогенезе**, так как последнее означало бы искусственное отмежевание судеб языка от судеб его носителей.

Что послужило мотивом обращения к среднедунайской теории праславянского ареала? В основу этой концепции легли, прежде всего, многолетние изучения славянско-индоевропейских лексических (этимологических) изоглосс, вообще — двусторонних лингвистических связей, и древних заимствований, т.е. односторонних отношений. К этому побуждала постепенно вскрываемая в ходе подготовки Этимологического словаря славянских языков (вышло 18 выпусков) сложность балто-славянских отношений, с одной стороны, и изоглоссные связи праславянского лексического и языкового материала с западными индоевропейскими языками — с другой. Общения древних славян с древними италийцами (т.е. латинянами и родственными им племенами) до миграции последних на Апеннинский полуостров, связи древней славянской металлургической терминологии с соответствующей лексикой не только латинского, но также германских и кельтских языков в рамках предполагаемого нами центральноевропейского культурного района — это древние совместные культурноязыковые переживания, предшествующие более поздним праславянским заимствованиям из германского и кельтского, которые (особенно — кельтские контакты) также уместнее локализовать на более южных и более западных территориях, чем это обычно делалось до сих пор, т.е. по нашей концепции — в Паннонии и Подунавье.

К вышесказанному имеет самое прямое отношение такое положение нашей концепции, как самобытность праславянского как индоевропейского диалекта (группы диалектов) и возможность более глубокой датировки самостоятельного его существования (слово "датировка" применяется здесь с минимальными претензиями на хронологическую абсолютность). Что касается самобытности и самостоятельности славянского языкового типа, то она нуждается в нашей защите не в силу слабости концепции, а, как увидим ниже, по причине неутихающих стремлений подвергнуть именно этот тезис острой дискуссии[1].

Акцентируя западные контакты праславянского, мы не упускаем из виду и контактов восточных, подразумевая раннюю и, возможно, неоднократную инфильтрацию центральноевропейского, придунайского населения на север и северо-восток, на Украину. Об этом говорят и археологические материалы, и лингвистические (этимологические) разыскания славяно-иранских и славяно-индоарийских отношений скифского времени. На основании этого мы говорим о довольно раннем освоении Приднепровья, хотя споры здесь ведутся, причем дискуссионная участь не миновала и славянский статус имени города Киева, к которому мы еще вернемся.

"Возврат Трубачева к теории Шафарика" о наддунайской прародине славян (примерно так звучит это в формулировке чехословацких коллег) мотивирован достижениями теоретического языкознания, индоевропеистики, этимологических исследований. Сюда относится и сатэмный (следовательно, фонетически более продвинутый сравнительно с более архаическим кентумным и, значит, близкий к инновационному центру, а не периферии индоевропейского ареала) статус славянского, далее — возможности социо- и этнолингвистики, позволившие нам истолковать как естественный феномен относительно позднее появление этнонима **славяне** (пресловутое неупоминание классических греческих и римских авторов о славянах), над чем бился еще Шафарик, и многое другое. И все-таки, несмотря на то что почтенный наш предшественник не имел в своем распоряжении нынешних достижений науки, которыми располагаем мы, порой кажется, что и сейчас эти идеи отстаивать не легче, чем в его время. Дело отнюдь не в недостаточной солидности положительной аргументации концепции, а в определенной, так сказать, склонности умов видеть вещи в традиционном свете.

Так, в своих статьях из этой серии я уже не один раз попытался развить и аргументировать тезис о длительном существовании славянского этноса в Европе (так Шафарик) специальными этнолингвистическими доводами о длительной доэтнонимической стадии, когда этнос обходился более элементарной самоидентификацией типа 'мы', 'свои', 'наши' и славянами стал называться не сразу, почему его и "не заметили" греческие и римские авторы ранней эпохи (хотя трудно поручиться, что не славяне скрывались, например, под именем паннонцев первых веков нашей эры в сочинениях античных авторов). Мой западногерманский оппонент Удольф все это прочел и остался при своем убеждении, как явствует из нижеследующей цитаты: "...если бы славяне действительно должны были уже в доисторическое время

населять крупную область к северу или (в последнее время по О.Н.Трубачеву) к югу от Карпат, то тогда нам должно было бы быть сообщено об этом из античных источников"[2]. Все-таки научный диалог иногда, к сожалению, слишком напоминает беседу двоих, каждый из которых слушает только себя.

В современной науке неуклонно прокладывают себе дорогу идеи древней диалектной сложности праславянского языка, однако как трудно бывает лингвистам свыкнутся с этими идеями и притом — вовсе не потому, что нет фактов (факты есть, и их довольно много), а потому, что для этого нужно расстаться с привычными идеями, на которых учились поколения. Югославская лингвистка В.Цветко-Орешник посвятила значительную часть своей диссертации моим славяно-иранским лексическим исследованиям и даже благоприятно оценила выделяемый в них феномен polono-iranica (т.е. когда ряд лексических иранизмов являются очевидно праславянскими, но группируются вокруг польского языка). И все-таки она так и не решила для себя главный вопрос: "Можно ли для времени, когда были предположительно осуществлены эти заимствования (в последнем случае явно еще в древнеиранскую эпоху), считаться с такой сильной или столь четкой географически дифференциацией праславянского языка?"[3]

Тем не менее все яснее делается методологическая, можно сказать — интердисциплинарная, важность понимания древней сложности языка, а возможно также и культуры. Правда, на этом пути уменьшаются надежды на то, что мы получим однозначные археологические подтверждения, но такие подтверждения и раньше встречались редко, что же говорить сейчас, когда сложности (многокомпонентности) внутриязыковой реконструкции по идее может противостоять (хотя может и не противостоять!) сложность результатов реконструкции археологической. Из того положения, что для обеих дисциплин приобретает сомнительность прежний постулат первоначального единства (языка, культуры), можно извлечь положительную информацию. Неоднозначные корреспонденции языкознания и истории культуры также заслуживают того, чтобы к ним специально присмотреться.

Возвращаясь к своей основной — "дунайской" — теме, отмечу, что она иногда квалифицируется как "вызов" археологии: "...это вызов, на который археология должна будет дать ответ — положительный или отрицательный"[4]. Ну, что же, в каждой новой работе, концепции есть элемент вызова, хотя я в данном случае меньше всего думал о вызове археологии. В конце концов, здесь можно усмотреть скорее вызов языкознанию, но не это главное. Мне известны спокойные и заинтересованные высказывания о моей дунайской концепции лингвистов, которые сами занимаются праславянским языком и имеют о нем свои, отличные суждения[5]. Важно, что "ветер перемен" уже коснулся многих — прежде тихих — заводей науки о праславянском языке, и это есть самый неумолимый вызов нам всем — вызов науки. О праславянских диалектах заговорили. Н.И. Толстой обратил внимание на малоизвестную карту праславян-

ских диалектов 1913 года Д.П. Джуровича, причем сделал это лишь сейчас, в восьмидесятые годы, хотя сам этот библиографический раритет попался ему на глаза очень давно[6]. Он отмечает, в частности, что Джурович, как и через полвека после него Трубачев в своей схеме праславянских диалектов 1963 г., говорит о древней близости серболужичан и предков восточных славян. В действительности же лингвистических схем размещения праславянских диалектов сейчас еще больше, чем называет Толстой (он приводит там еще схемы Фурдаля и Шевелева, основанные на сравнительно-исторической фонетике, но не дает "схему возможного диалектного членения позднепраславянского языка до великой миграции славянских племен" Шустер-Шевца 1977 года[7].

Поскольку дунайская концепция означает, естественно, "вызов" концепциям прародины славян к северу от Карпат, в адрес дунайской концепции начали поступать возражения сторонников прикарпатской и приднепровской концепций. Так, по словам моего западногерманского оппонента в вопросах прародины, "О.Кронштайнер и О.Н. Трубачев могли бы уже при беглом осмотре гидронимов древней Паннонии увидеть, что они при сравнении с их современными формами обнаруживают свою позднюю славизацию: так, в названии реки Enns нет никаких признаков нормального славянского развития в форму **Оньsа*,, а *Mur/Mura*, название одной из крупнейших рек этого региона, показывает отсутствие славянской эволюции *-ō- > -a-*"[8]. Что ж, значит, на "вызов" немедленно последовал ответный вызов, поэтому не будем уклоняться. Начнем с того, что река Эннс, впадающая в Дунай справа, к западу от Вены, находится на территории римской провинции Норик, а не в Паннонии. Не в моих намерениях было также оспаривать соседство со славянскими названиями неславянских, таких, скажем, как *Enns* и *Mur*. Теперь перейдем к Паннонии, точнее — к римской провинции Pannonia prima, расположенной вокруг озера Балатон, которая, видимо, дала название остальным римским провинциям к востоку и к югу — Pannonia Valeria, Pannonia Savia, Pannonia Secunda. Название исторической области *Pannonia* давно убедительно объяснено как производное от вероятного местного названия **Pannona*, иллирийского соответствия слову со значением 'болото' в нескольких индоевропейских языках, ср. др.-прус. *pannean* 'болото'[9]. **Pannona* означало, таким образом, по-иллирийски 'Болотный город' и этот город был, надо думать, идентичен славянской княжеской резиденции кирилло-мефодиевских времен — **Блатьнъ градъ*, с точным тогдашним немецким соответствием **Mosa-purc*[10]. Если основной древний город страны назывался 'город при болоте', то скорее всего 'Болотом' назывался сам Балатон (наиболее заболочены берега южного — Малого Балатона, близ которых и находился Блатенград = Мозабург = Залавар). Опуская детали (по-своему тоже интересные, скажем, то, что в венг. *Balaton*, название озера, отражено не столько само древнее славянское название этого озера, которым был, скорее, чистый апеллатив *Болото*, праслав. **bolto*, а уже название Болотного города), остановимся на факте, что Pannonia значило, таким образом, 'страна Болота' (или

'страна Болотного города', названия области по городу не такая редкость в древности) и что эта иллирийская номинация теснейшим образом продолжается в древней местной славянской номинации. Имеем ли мы после этого право говорить о "поздней славизации" Паннонии?

Мой коллега в ГДР, видный ономаст Э.Эйхлер, высказался недавно довольно скептически об обсуждаемой тут дунайскославянской концепции: "...на мой взгляд, в дунайском регионе отсутствуют типично праславянские гидронимы"[11]. При этом осталось не совсем ясным, что он подразумевает под "типично праславянскими гидронимами". Если имеются в виду развитые гидронимические модели, то в такой специфической области, как Среднее Подунавье, заметим, давно переставшее быть славянским, их, возможно, и не имеет смысла ожидать. Но в Подунавье, действительно, представлены славянские гидронимы, которые следует отнести к простейшему (т.е. древнейшему) типу, — это выступающие в роли гидронимов гидрографические термины (то, что Краэ называл "Wasserwörter" и относил, как известно, к древнейшим образованиям в гидронимии): праслав. **struga* 'струя', **bъrzъ* 'быстрый', **bystrica* 'быстрая река', **potokъ* 'поток', **sopotъ* 'источник, родник', **toplica* 'теплая вода', **kaliga* 'грязь, тина', **bolto* 'болото' и другие подобные. Мы наблюдаем при этом нередко практическое тождество гидронимов и соответствующих нарицательных слов, что также нужно считать признаком древней гидронимической номинации. Помимо этого, и к западу и к востоку от Среднего Дуная до сих пор представлены (и отмечены там с начальных веков венгерской письменности) также характерные словообразовательные типы и модели славянской гидронимии: 1) суффиксальные производные (**berzьnica*, **lěšьnica*, **ščavica*, **rěčina*, **niža*, **tьrnava*), 2) префиксальные сложения (**perstegъ*), 3) двуосновные сложения (**konotopa*). Разумеется, серьезного внимания в этой связи заслуживают и достоверные примеры исконнославянских водных названий с примыкающих моравских и словацких территорий дунайского бассейна, ср. словац. *Poprad* < **po-prędъ*[12], чеш. (морав.) *Punkva* < праслав. **ponikъva*, праславянский характер образования которых трудно подвергнуть сомнению.

Думаю, что с развитием концепции праславянской диалектной сложности обострится исследовательский интерес к племенным названиям у славян. Он и сейчас уже заметно оживился, но этнонимы могут дать нам еще гораздо больше информации для раскрытия своего и чужого понимания этих образований, их происхождения и вторичного осмысления. Ярким примером могут служить имя племени ободритов, мнения о нем в литературе и реальные его связи.

Ободриты (Abodriti, Obodriti западных источников) обычно объясняются в связи с названием реки Odra (так раньше думали и мы: **ob-odr-iti* 'по обоим берегам Одера живущие'). Однако наиболее известные западнославянские ободриты локализуются в стороне от Одера — в низовьях Эльбы. Следовать за объяснением, по которому Obodriti — это словообразовательно зафиксированное языком ответвление ободрян (955 г.: Abatareni), якобы изначальных жителей по

Олеру[13], все-таки не представляется убедительным, да и сама связь с Одером — рекой и названием, скорее вторично славянизированными на северо-западе, становится все менее вероятной. Между прочим, франкские анналы начала IX в. знают также ободритов (Abodriti, род. мн. Abodritorum) на Дунае «по соседству с болгарами в Дакии». Последние ободриты снабжаются в анналах эпитетом Praedenecenti, что недвусмысленно значит по-латыни 'грабящие и убивающие, убивающие с грабежом'. Снабжается там этот эпитет пояснениями: Abodriti (в тексте: legatos Abodritorum) qui vulgo Praedencenti vocantur, что можно понять только как "ободриты, называемые в народной речи грабителями" (прочие кривотолки здесь опускаем, см. о них[14]). Вся загвоздка в этом латинском пояснении анналиста — "в народной речи": франкские историографы знали своих беспокойных славянских соседей, из живого племенного языка которых может происходить этот устрашающий этноним-эпитет, по способу образования да и по смыслу напоминающий имя неукротимых лютичей. Не окажется ли тогда постулировавшаяся в литературе связь с западнославянским Одером ученым конструктом? (тем более сомнительна была бы связь с незначительной Одрой в Подунавье, бассейн Савы[15], не говоря уж о речушке Одра в Верхнем Поднепровье). Что касается "народной речи", в которой ободриты понимались как 'грабители', то думать можно только о связи с вариантом славянского глагола **ob(ъ)dьrati* 'ободрать, ограбить' (как думал ещё А. Брюкнер)[16]. Отметим, что при этом убывание этимологической понятности имени ободритов "в народной речи" можно было бы предположить по мере удаления их от Дуная на север, к Балтике.

В число необходимых задач широких этногенетических исследований выдвигается интердисциплинарный аспект **типологии** этногенеза, цель которого — в раскрытии неуникального характера славянской языковой и этнической эволюции и динамики, ибо до тех пор, пока славянский этногенез будет трактоваться как нечто уникальное в своем роде, он рискует оставаться плохо доказуемым явлением. Подробнее у меня написано об этом в последних частях серии "Языкознание и этногенез славян", опубликованных в "Вопросах языкознания" за 1985 г. Там избран аспект типологических германо-славянских аналогий. Так, одна из германских аналогий поучительна тем, что подсказывает неуместность точных хронологических датировок появления славянского этноса. Другая такая аналогия помогает сформулировать мысль об отсутствии следов древнего индоевропейско-неиндоевропейского двуязычия в Европе как на германском, так и на славянском материале. Следующая германо-славянская аналогия касается не только и не столько языка, сколько всей этнической динамики, и выражается в общем для ряда индоевропейских этносов движении на Север с последующими возвратами на Юг. Она вписывается (здесь я целиком доверяюсь консультации археолога[17]) в древнюю экспансию культуры воронковидных кубков на север в результате сильного постгляциального потепления, но и в более поздние эпохи подкрепляется выразительными свидетельствами, указывающими на "приток населения южного происхождения", т.е. конкретно

со Среднего Дуная, в бассейн Одера в бронзовый век. Здесь не все относится к германским параллелям, которые сводятся к лингвистическим доводам о вторичном приходе германцев в Скандинавию с юга, но всегда важно бывает опереться на аналогии. А самое, быть может, важное здесь — это указание польского археолога на четкое различие западной — одерской — зоны и восточной, вислинской, в смысле упомянутого притока с Дуная именно в одерскую зону эпохи бронзы[18], указание, небезразличное для судьбы польских теорий праславянского автохтонизма на Одере и Висле.

Наконец, к числу германо-славянских аналогий принадлежит формирование названий руды и железа и весь эпизод культуры железа. И германцы, и славяне начинали культуру освоения железа с болотного железняка. Об этом говорит не только происхождение славянского слова **ruda*, собственно 'красная' (имеется в виду 'красная земля' — о буром болотном железняке), с этимологическими соответствиями в германском. Об этом же говорит этимологическое тождество *желе́зо* 'металл' и *железа́* 'комочек органический (а первоначально также и неорганический)', опять-таки объяснимое только на фоне культуры комочкообразного болотного железа. На этом же фоне впервые обосновывается культурно-этимологическая изоглосса лат. *ferrum* 'железо' (**dhersom*) — нем. *Druse* 'сросшийся кристалл' (сюда и *Drüse* 'железа', ср. выше *желе́зо* — *железа́*) — русск. *дресва́* и близкие.

Подходя к концу настоящего очередного краткого очерка лингвистических проблем этногенеза, подчеркнем еще раз, что сейчас не имеет смысла спорить в принципе против возможности включения аллоэтнических компонентов в славянский этнос, в праславянский ареал. Это не означает, однако, что надо широко отворить ворота всем и всяким версиям, лишь бы в них утверждалась гетерокомпонентность славян и их языка. Напротив, и перед научной критикой в этой области встают более сложные и ответственные задачи. На IX Международном съезде славистов в Киеве чехословацкий лингвист старшего поколения К. Горалек специально посвятил свой доклад критике теории восточных влияний в праславянском языке[19]. Видимо, он выступил очень своевременно, потому что о таких влияниях пишут в последнее время все более и более охотно, и тут, действительно, нужна критика. Особенно везет здесь славному городу Киеву, под знаком 1500-летия которого проходил последний съезд славистов. Тысячу пятьсот лет назад — это время праславянское, т.е. наша тема, поэтому позволим сказать себе здесь несколько слов также об этом. Упомянем здесь новую попытку вернуться к осмыслению одного из названий Киева у Константина Багрянородного (X в.) — Σαμβατάς в связи с древнееврейским названием субботы и еврейско-хазарскими влияниями[20]. Эта мысль неновая и понятная, хотя и окружена она преувеличениями вроде того, что в Киевской области целый ряд рек носят название того же происхождения ('субботние, стоячие'). Все-таки для появления иноязычной гидронимии нужен соответствующий этнический слой в течение длительного времени, ср. тюркские названия вод на юге Украины ... Но откровенно плохо дело

обстоит тогда, когда правильные, современные идеи и принципы пытаются распространить на собственные оплошности конкретного анализа. Так, совсем недавно один автор, справедливо возражая против мысли о "чистом" этносе славянства, принялся этимологизировать названия города Киева[21]. Очевидную связь **kyjevъ* < **kyjь* он отверг и обратился к иноязычным названиям этого города — др.-исл. *Kænugarðr*, нем. стар. *Chungard*, полагая, что открыл в нем тюркское племенное название *Kun*, из варианта которого якобы и происходит *Кы-евъ*. Автору этому осталось неизвестно, что германское, норманское *Kænugarðr* — это всего лишь отражение славянского **Kyjanъ* (род. мн.) *gordъ* 'город людей Кия'[22]. Окончательно запутывает себя молодой ученый ссылками на средневековые латинские формы *Cygow, Kygiouia*, где *g* — распространенная графема для *j*, и в целом никакого тюркского *kuγu* 'лебедь' здесь нет и в помине. Тем самым рухнуло и построенное ad hoc этногенетическое здание "потомков оставшейся в среднем Поднепровье части венгерской орды", которые "смешались с пришедшим в середине XI в. родственным половецким племенем куев (ковуев)".

Войти в эти детали меня вынудила необходимость развеять заблуждение, а также твердая уверенность, что мелочей не существует.

С Киевом более или менее все ясно, остается пожелать, чтобы такая же ясность установилась с более древними эпохами формирования славянства. Я думаю, что ради этой ясности работаем все мы. Лингвисты, со своей стороны, немало сделали для воссоздания праславянского языка и его словарного состава. Не может поэтому не удивить, когда довольно известный американский славист Х. Лант в коротенькой статье "On Common Slavic" вдруг заявляет, что раннепраславянский, реконструируемый в этимологических словарях, "is entirely hypothetical", протославянский — "a pure abstraction"[23]. Именно так, росчерком пера, без доводов охарактеризованы конкретнейшие труды, основанные на огромном количестве фактов. Посмотрим, какая же у автора собственная положительная программа; возможно, свою реконструкцию он аргументировал солиднее. Увы, нас ждет разочарование, тем более острое, что сейчас в Соединенных Штатах уровень сравнительного языкознания довольно высок. Автор явно путается в диалектной характеристике праславянского: то ратует (с опозданием) против бездиалектной концепции праязыка, то говорит про какую-то "абсолютную однородность до VIII в." Недовольный чужими гипотезами и абстракциями вот какую "доказательную" картину славянского этногенеза (или чего-то другого взамен) рисует он сам: "группа из 500 или 1000 индивидуумов, живущих особняком" или несколько таких групп (охотников, скотоводов), захваченных кочевой аварской империей в качестве "подневольных земледельцев, ставших пограничниками (анты — на востоке, винды — на западе)" или "военными моряками" (склавины); около 550—800 гг. благодаря их успеху и мобильности распространилась единая (homogenized) lingua franca по всей Восточной Европе. Даже о киммерийцах рискованны утверждения, будто они как особый этнос никогда не существовали и это был "подвижный конный отряд", но о киммерийцах мы не знаем

почти ничего, во всяком случае — в сравнении с тем, что мы знаем и что мы способны восстановить с фактами в руках о славянах древности, о которых нам тут пишут похуже, чем о киммерийцах. Остается признать, что мы не так часто встречаемся со случаями, когда, как в данном примере, с безответственностью распоряжаются самобытностью и самостоятельностью славян, что побуждает нас и в чисто научном обсуждении этногенеза и параметров его исследования отвести видное место напоминаниям о научной этике и научной добросовестности.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Чехословацкий индоевропеист А. Эрхарт, сознательно не претендуя на новизну, отдает предпочтение концепции, которую он формулирует как происхождение праславянского из "протобалтийского диалектного континуума", возлагая всю ответственность за праславянские языковые отличия на контакты с иранским. См. *Erhart A.* U kolébky slovanských jazyků//Slavia,ročn. 54. Seš. 4. 1985, 337 и сл.

[2] *Udolph J.* Kritisches und Antikritisches zur Bedeutung slavischer Gewässernamen für die Ethnogenese der Slaven//ZfslPh. XLV. 1. 1985, 49.

[3] *Cvetko-Orešnik Varja.* Zu neuren iranisch-baltoslawischen Isoglossen-Vorschlägen// Linguistica XXIII. Ljubljana, 1983, 242.

[4] *Bialeková Darina.* IX. medzinarodný zjazd slavistov//Slovenská archeológia XXXII. 1. 1984, 241.

[5] *Birnbaum H.* A typological view of Serbo-Croatian: some preliminary considerations//Зборник Матице Српске за филологиjу и лингвистику XXVII—XXVIII. Нови Сад, 1984—1985, 79, сноска 5.

[6] *Толстой Н.И.* Из истории славистики. Опыт карты праславянских диалектов Д.П. Джуровича. 1913 г.//Там же, 789 и сл.

[7] *Schuster-Šewc H.* Zur Bedeutung des Sorbischen und Slowenischen für die slawische historisch-vergleichende Sprachforschung//Slovansko jezikoslovje. Nahtigalov zbornik ob stoletnici rojstva. Ljubljana, 1977, 444.

[8] *Udolph J.* Kritisches ..., 51.

[9] *Vasmer M.* Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Berlin; Wiesbaden, 1971. Bd. II; 892.

[10] См о последних: *Kiss L.* Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1978, 80, s.v. *Balaton.*

[11] *Eichler E.* [Рец.:] *G. Schramm.* Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. Stuttgart, 1981// ZfSl. Bd. 30. H. 2. 1985, 298.

[12] *Ondruš Š.* Meno rieky Poprad je slovansko-slovenské // Slovenská reč 50. 2. 1985, 102 и сл.

[13] *Moszyński L.* Z zagadnień słowotwórstwa prasłowiańskich nazw plemiennych // Etnogeneza i topogeneza Słowian. Warszawa; Poznań, 1980, 65 и сл.

[14] *Boba I.* "Abodriti que vulgo Praedenecenti vocantur"or "Marvani Praedenecenti"? // Palaeobulgarica/Старобългаристика VIII, 2, 1984, 29 и сл.

[15] *Dickenmann E.* Studien zur Hydronymie des Savesystems. II. Heidelberg, 1966, 55.

[16] См. *Kunstmann H.* Zwei Beiträge zur Geschichte der Ostseeslaven. 1. Der Name der Abodriten.// WdS XXVI, 2, 1981, 399. Собственная идея Кунстмана о происхождении славянского племенного названия из греческого апеллатива ἄπατρις, мн. ἀπατρίδες 'безродные' (Там же, 402 и сл.) по меньшей мере сомнительна.

[17] *Сафронов В.А.*, устная консультация 24.1.1985 г.

[18] *Bukowski Z.* Problematyka osadnicza dorzecza Odry, Wisły i Bugu w II i w 1 poł. I tysiąclecia p.n.e. jako jeden z elementów poznawczych dla badań nad topogenezą Słowian//Archeologia Polski, XXIX. 2. 1984, 298.

[19] *Horálek K.* K etnogenezi Slovanů. Příspěvek ke kritice teorie orientálních vlivů v praslovanštině // Československá slavistika 1983 (отд. отт.).

[20] *Архипов А.А.* Об одном древнем названии Киева // Вопросы русского языкознания. V. Изд-во МГУ, 1984, 224 и сл.

[21] *Яйленко В.П.* Тюрки, венгры и Киев: к происхождению названия города // Этногенез, ранняя этническая история и культура славян. М., 1985, 40 и сл.

[22] *Schramm G.* Die normannischen Namen für Kiew und Novgorod // Russia mediaevalis V, 1. München, 1984, 76 и сл.

[23] *Lunt Horace G.* On Common Slavic // Зборник Матице Српске за филологију и лингвистику, XXVII—XXVIII. Нови Сад, 1984—1985, 417 и сл., особенно 420—422.

О.Н. Трубачев

ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН И ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОБЛЕМА

Всем понятен смысл индоевропейской проблемы, центральной и труднейшей проблемы сравнительного языкознания, но сформулировать ее нелегко, и притом каждая эпоха вносит свое в эту формулировку. Образ индоевропейского генеалогического древа с единым стволом и отходящими от него ветвями, очевидно, устарел, хотя на практике служит и по сей день. Более адекватной кажется сумма этногенезов, или образ более или менее близких параллельных стволов, идущих от самой почвы, т.е. подобие куста, а не дерева; этот образ неплохо передает древнюю полидиалектность, но и он не вполне удовлетворителен, поскольку недостаточно выражает то, что придает индоевропейскому характер целого. Это целое не ограничивается корнями, но существует, существовало и в виде объединяющих слоев. Таким образом, мы должны изучать частные этногенезы славян, германцев, балтов, греков, армян, фракийцев, иллирийцев, индоиранцев, анатолийцев и других на индоевропейском фоне, а также эти объединяющие их слои.

Узколингвистический подход к индоевропейской проблеме не выдержал испытания временем; индоевропейцы — это не только имя, глагол, аблаут, синтаксис, это и выраженная в языке культура. Значит, задача не только в том, чтобы сополагать независимые результаты языкознания и археологии, но и в том также, чтобы типологию языкового материала продолжить на типологических аналогиях за пределами языка, т.е. в широкотипологическом подходе к этногенезу и к индоевропейской проблеме. Общеметодологическое значение этих исследований не оставляет сомнений, их результат в перспективе призван стать частью нашего самосознания.

Вместе с тем сложность предмета такова, что сохраняют силу и такие слова, сказанные лингвистом: "Наука — это диалог, и никто из нас не может претендовать на то, что он сказал последнее слово".

Один из недавних обзоров происхождения индоевропейцев по итогам языкознания, археологии и антропологии констатирует, что "истоки индоевропейства еще не уловимы археологически"[1]. Следом идут признания вроде того, что археология одна не может разгадать начало прагерманских этнических групп[2]. Наконец, при всей вероятности соответствующих этнических перемещений, "в археологических материалах, обнаруженных на территории к северу от Альп и относя-

щихся к периоду предполагаемых переселений, нельзя найти следов того, что какие-то племена с этой территории ушли"[3] и т.д. и т.п.

Сторонникам исходного индоевропейского "единства" полезно привести мнение об отсутствии в Центральной Европе единой культуры при эпипалеолите (к которому иногда относят зарождение индоевропейских языков)[4]. Напротив, несравненно ближе к нашему времени, в эпоху поздней бронзы, специалисты находят однородность центральноевропейской культуры[5]. Мы далеки от мысли прямолинейно связывать явления эволюции языка и культурной эволюции, и все-таки факт появления однородности культуры как поздний, иначе — вторичный итог подкрепляет естественную мысль о вторичности выработки, например, единообразной "древнеевропейской" гидронимии.

Напрасно некоторым ригористам-языковедам уже одно признание интеграции языков представляется пережитком марризма[6]. Напротив, очень здраво и сейчас звучит суждение, что образование "ветвей" индоевропейской языковой семьи шло преимущественно через интеграционные процессы[7], как и указание, что образование крупных племен и народов — сравнительно позднее явление[8].

Для нас совершенно естественными представляются поэтому следующие слова: "... Любая концепция или метод, которые принимают во внимание и оперируют исключительно одним из этих процессов (конвергенцией или дивергенцией. — *О.Т.*), то есть, не учитывая также одновременного и/или последующего действия противоположного фактора языкового развития, будут неизбежно узкими и тем самым — нереалистичными. Это, скорее, исказит, чем прояснит действительный диахронический процесс языкового изменения". И дальше, там же: "В действительности языковое изменение характеризуется, конечно, постоянным и тонким взаимодействием (interplay) дивергенции и конвергенции, с преобладанием то одной, то другой из них"[9]. Поскольку вся эта исследовательская процедура прямо подводит нас к проблеме реконструкции праязыков, приведем оттуда же суждения и о праязыках, тем более что автор этих суждений весьма внимательно учитывает в дальнейшем и наши критические наблюдения, направленные против унитаристских концепций праязыка как "непротиворечивой модели". Итак[10]: "Одна из более серьезных ошибок, все еще совершаемых время от времени в ряде областей генетического языкознания и, в частности, связанных с восстановлением утраченных праязыков, состоит в воззрениях на исходный праязык как на нечто чисто абстрактное, статичное, само по себе не подверженное изменению ... Но было бы грубой ошибкой не признавать того, что эта теоретически предельная стадия — частный праязык — сама является всего-навсего результатом, или конечным продуктом, более или менее длительного развития этого же самого праязыка".

Недавняя конференция по индоевропейской проблеме (Институт археологии АН СССР, 18—19.XII.1986 г.) весьма явственно продемонстрировала живучесть многих старых представлений. С одной стороны — очевидное, заметное и для археологов накопление разнородного материала, приурочиваемого к исходной языковой стадии, побуждающее некоторых задать вопрос "Праязык ли это?"; с другой

стороны — продолжающаяся апелляция части лингвистов к "условно унифицированному праязыку", постулирование "исходного единства" этого языка, которое способно лишь усугубить идеально понятые характеристики реконструируемого праязыка и тем самым — лишь затруднить его понимание, состоящее, между прочим, и в продуктивном соотнесении множащихся в ходе исследований потенциальных древних диалектизмов с искомым праязыком. Накопление фактической базы неизбежно влечет за собой потребность в теоретическом переосмыслении. Концепция самого праязыка как продукта развития вменяет идею нивелировки изначальной сложности; считать, что в этом случае "реконструкция теряет смысл", значило бы лишь неоправданно ограничивать возможности реконструкции, у которой в новых условиях возникают новые задачи и новые потенции. Кажется, что новый обмен мнений по индоевропейской проблеме не случайно акцентировал и эту конфронтацию сложного праязыка и более традиционных убеждений в духе "de l'unite a la pluralite" ("слияния допустить невозможно", иначе "невозможно верифицировать" и т.п.).

Выступивший на упомянутой конференции по индоевропейской проблеме О.С. Широков поддержал отстаиваемые мной положения о важности и жизненности конвергенции в истории и развитии языков, сославшись при этом на пример южнославянской группы языков, которые достоверно не представляли исходного единства, но лишь вторично, в ходе консолидации, развили ряд "общеюжнославянских" особенностей. Продолжая размышлять над предметом, я вновь вспомнил Югославию, эту страну типологически интереснейших языковых судеб, и подумал, что пример с южнославянской языковой группой можно в этом смысле сузить и заострить, как то предполагает настоящая серьезная дискуссия. Уж если и сегодня находятся лингвисты, которые полагают, что "без генеалогического древа нам не обойтись", я бы предложил им, вместо ответа, югославский тест, иными словами, попросил бы их — целиком в духе их убеждений — возвести ныне существующие сербохорватские диалекты прямо к прасербохорватскому языковому единству. Специалисты свидетельствуют, что это затея не только трудная, но и практически невозможная и ее сводили бы на нет многократные вторичные слияния и влияния прежде самостоятельных древних диалектов, чему причиной — характерные особенно для сербохорватской языковой территории в средние века переселенческие движения (метанастичка кретања), которые приводили и к таким серьезным результатам, как приращение сербохорватского за счет части словенского языка (проблема кайкавских хорватов; об этом и о других подобных явлениях см. сейчас в компактной и лёгкообозримой форме: П. Ивић. Српски народ и његов језик[2]. Београд, 1986).

Заслуживает внимания предпочтение ряда исследователей говорить скорее о торговле, обмене, распространении моды на те или иные произведения культуры, чем о смене населения, миграциях при неолите и в эпоху бронзы[11]. Дальние пути древности представляются прежде всего торговыми путями, по которым могли следовать и смешанные торгово-военные экспедиции[12]. Естественно вследствие этого

не преувеличивать масштабы древних завоеваний, вообще — этнических передвижений. Для последних, наверное, требовался этнический взрыв вроде того, о котором говорят для эпохи железа[13], раньше же имели место скорее малолюдные инфильтрации (так, к инфильтрации первоначально малочисленных этнических групп сводят сейчас, например, индоевропеизацию Малой Азии).

Как свидетельствуют соответствующие исследования, древний климат не благоприятствовал раннему освоению индоевропейцами Севера Европы, за который упорно цеплялись некоторые исследователи предыдущих поколений: появление человека на южнобалтийском побережье Польши датируется методами палеоботаники около 5500 лет назад, т.е. серединой IV тыс. до н.э.[14] Имеются сведения, что послеледниковое заселение районов на север от Судет и Карпат началось лишь с 4000 г. до н.э.[15], причем, надо полагать, как для индоевропейцев, так и для неиндоевропейцев, если существование последних здесь вообще реально. Области более древнего заселения лежали южнее, в Центральной Европе. С середины V тыс. до н.э. засвидетельствована добыча золота в Трансильвании[16], производившаяся, по-видимому, индоевропейцами, точнее, их частью, что косвенно говорит об их раздельных племенах с раннего времени. Археолог Е.Н. Черных, выдвинувший несколько сложное понятие Циркумпонтийской металлургической провинции IV—II тыс. до н.э., относит к западному флангу этого региона, населявшегося предположительно индоевропейцами, и золотоносную Трансильванию. Так, к этим золотодобывающим центрам были, видимо, близки германцы времен своей этногенетической консолидации, отнюдь не синонимичной и не синхронной появлению "типичных" (пра)германских формально-фонетических особенностей конца I тыс. до н.э. (см. также ниже), ср. общегерманский характер названия золота — **gulpa-* (гот. *gulþ*, нем. *Gold*, англ. *gold*). Очень близко и праславянское название — **zolto* (ст.-слав. **злато**, русск. *золото*, есть во всех славянских языках). Древняя изоглосса золота захватывает, далее, лишь частично балтийский (лтш. *zelts*, общебалтийского названия золота нет), возможно, также фракийский. Исконноиндоевропейская этимология этого названия металла по желтому цвету прозрачна до деталей (сюда, кстати, примыкают некоторые другие родственные, но образованные с другим суффиксом, например, индоиранское название золота **źharanya-* < и.-е. диал. **ĝhel-en-i̯o-*, при **ĝhel-t-o-*/**ĝhl-t-o-* в других упомянутых выше индоевропейских диалектах). Эта лексика не заимствована из языка другой цивилизации, но создана самими индоевропейцами, которые добывали золото в Среднем Подунавье и Трансильвании.

Как интерпретируется пространственный аспект этногенеза, так называемый топогенез? Вероятно, и здесь должен тщательно разрабатываться типологический подход. Имеющие место в исследованиях апелляции к маленькой латинской прародине, Лациуму[17], заметно ослабляются тем, что в Италии индоевропейские диалекты оказались в чужих, средиземноморских, отчасти навеянных ближневосточными культурными влияниями (наличие их в Этрурии известно) условиях,

в которых пришлые индоевропейцы-италики развивались и дальше, — в условиях города-государства. Думается, что более перспективна лингвистическая концепция пространного индоевропейского диалектного континуума, кстати, лучше согласующаяся с изложенными выше представлениями о взаимодействии дивергенции и (особенно на ранних стадиях развития) конвергенции.

Положение о сходстве индоевропейской цивилизации и древневосточных цивилизаций[18] вызывает различные ответные соображения и прямые сомнения. Археология и лексика свидетельствуют о наличии у индоевропейцев земляночных и малых срубных наземных жилищ, а также об отсутствии храмов, что существенно отличается от ближневосточной модели с ее храмами и храмовыми городами-государствами.

Как и следовало ожидать, четкие элементы ближневосточного устройства находим только у тех индоевропейских и неиндоевропейских обществ, которые оказались далее других углублены в Восточное Средиземноморье, как микенское и минойское бюрократические общества с их централизацией вокруг дворца и храма[19] и этруски с их городами-государствами и другими культурными особенностями, идущими из Малой Азии[20].

Нетрудно заметить уже из предыдущего, правда, крайне сжатого изложения, что мы придерживаемся дунайско-севернобалканской концепции индоевропейского протоэтнического ареала, которая уже давно имеет своих сторонников в нашей и зарубежной литературе[21]. Между прочим, переднеазиатские культурные влияния на индоевропейский могут находить удовлетворительное объяснение при локализации индоевропейского очага в севернобалканских и придунайских районах через природный мост между Европой и Малой Азией[22].

Два слова о методе. Современная индоевропеистика имеет возможность опереться на интегрированный сравнительный метод, включающий, кроме уже упомянутой т и п о л о г и и, прежде всего с р а в н е н и е (э т и м о л о г и ю) и в н у т р е н н ю ю р е к о н с т р у к ц и ю. Незаменимым резервом лексико-семантической реконструкции служат собственные имена, ономастика, за которыми стоят утраченные лексемы сплошь и рядом забытых языков, что все вместе сопряжено с немалыми трудностями атрибуции (я говорю это, потому что иногда раздавались голоса, призывавшие не включать ономастику в аппарат индоевропейской проблемы ввиду описанных трудностей интерпретации; но, при всех трудностях, обойтись в праязыковых исследованиях без ономастики невозможно, и мы также приводим примеры важности ее свидетельств). В исследованиях формальной структуры индоевропейского корня — пусть медленно и непоследовательно — всё же наметился прогресс, выразившийся в том, что не остановились на Бенвенисте, на его трехбуквенной теории индоевропейского корня (при этом, правда, многие не идут дальше этой "канонической" модели), которая опиралась на аналогию семитского трехбуквенного корня и подкупала своей стройностью на определенной стадии, но не охватывала все разнообразие индоевропейской корневой структуры от двухбуквенных до пятибуквенных корней типа **spend-*

'совершать жертвенное возлияние', кроме того, эта теория статична и не объясняет раннеиндоевропейское состояние с двухсогласными корневыми словами до появления развитого чередования гласных[23]. Что же касается реально-семантической и культурной реконструкции, то должен признать, что тут дело обстоит гораздо менее удовлетворительно, здесь давно остановились на Дюмезиле, на его теории трехчастной картины (структуры) мира людей и мира богов, остановились, явно не желая замечать статичность и неадекватность этой теории.

А между тем сама реальность восстановимой картины мира подсказывает другое — то, что можно назвать диалектологией индоевропейской социальной организации и культуры, имея в виду неравномерность ее развития. Ведь не только сакраментальные три класса (жрецы — воины — скотоводы/земледельцы), но и наличие классов вообще маловероятно у ранних индоевропейцев, зато, с другой стороны, бывает рано представлен четвертый класс (ремесленники), у анатолийских же индоевропейцев трехфункциональная модель полностью отсутствует, а у германцев вплоть до римской эпохи были святые женщины-жрицы. Хотелось бы, чтобы наши ученые не так послушно следовали западным шаблонам, неудовлетворительность которых сознается и критикой на Западе. Постулируемое нередко в современных трудах по индоевропеистике наличие развитой социальной иерархии и в целом высокого уровня культуры праиндоевропейского этноса производит стойкое впечатление статичности. Невозможно говорить об адекватности этого "развитого" и "высокого" уровня не только ностратическим — дальним предпраязыковым связям индоевропейского, обычно также постулируемым при этом, но и — собственно раннепраиндоевропейской ретроспективе, с которой уместно ассоциировать все же более примитивное состояние культуры и общества. Всё сказанное вынуждает думать об известном отставании теории индоевропейской культурной реконструкции подобно тому, как это выше пришлось констатировать и относительно теорий индоевропейского топогенеза (— пространственно-географического аспекта этногенеза), констатируя и в этом случае торможение теоретической мысли модернизирующими или схематизирующими построениями. Диспропорция такого отставания становится особенно явной, если вспомнить, что в области наиболее продвинувшейся — формально-фонетической реконструкции — индоевропейская теоретическая мысль ушла рискованно далеко, ища, например, истоки индоевропейского звонкого консонантизма в типологически неиндоевропейских звукотипах (глоттальная теория).

Верно, что лингвистика не имеет аналога радиоуглеродной датировке археологии (к последней пытаются иногда приравнять глоттохронологию, или лексикостатистику Сводеша, но и она, и ее усовершенствованные варианты не могут серьезно приниматься в расчет, поскольку исходят из равномерности темпов убывания лексики, что не доказано и неприемлемо для разных языков), но лингвистов тоже постоянно занимает глубина реконструкции языкового состояния. Типологически небезынтересно, что, например, достижимая глу-

бина тюркского реконструируемого состояния — всего 550—560 годы н.э.[24] Не берусь судить о тюркском, но когда один славист заявляет, что и в славянском глубина реконструкции такая же, приходится возразить, что при этом, видимо, не учитывается лексическая (этимологическая) реконструкция; в осуществляемой через последнюю реконструкции индоевропейского времени разной глубины славянский выступает, напротив, как равноправный индоевропейский партнер. Это можно видеть в случае с праслав. **ognь* как самостоятельным рефлексом и.-е. **n̥gnis*, название огня, известное не во всех индоевропейских языках (нет в германском, греческом) и представляющее собой вероятное новообразование языка и культуры, связанное с древним нововведением обряда кремации (**n̥-gnis* 'не гниющий'?). Праслав. **berza*, русск. *береза,* может быть, еще более яркий пример сохранения современным живым словом восстановимых примет индоевропейского слова (место ударения, количество гласного) и индоевропейского времени, ибо с того момента, как известное дерево стало называться в ряде древних диалектов за свою уникальную кору 'яркая, ослепительно белая' (**bherəĝos, *bherəĝā*), счет времени ведется на многие тысячелетия. Вообще о березе сказано много, но далеко не все, в том числе как об аргументе при определении праиндоевропейского ареала: она распространена широко, но с неизменным нарастанием признаков рецессивности, деградации с севера на юг[25], с фактами перерождения, или подмены наименования именно на Юге ('береза' → 'тополь' на Армянском нагорье[26]) и при неизменной высокой роли березы в поэзии Северной Европы — в широких пределах[27], а последнее — явный архаизм культуры. В различных индоевропейских диалектах, в том числе в славянском, наблюдается живое и активное употребление лексического гнезда **u̯ei-* 'вить' и его производных **u̯ei̯-n-, *u̯oi̯-n-, *u̯ei̯-t-, *u̯oi-t-,* обозначающих что-то вьющееся, витое — 'ветвь', 'лозу', 'иву', 'венок' и лишь вторично — виноградную лозу, постепенно уже в глубокой древности распространившуюся вплоть до Центральной Европы из своего первоначального южнопонтийско-южнокаспийского ареала.

Основная терминология лошади в индоевропейском исконная. Это относится к и.-е. **ek̑u̯os* 'лошадь', которое вместе с и.-е. **ak̑u̯a*'вода', очевидно, родственно и.-е. **ōk̑us* 'быстрый', как указал еще Розвадовский (в воззрениях массагетов, лошадь — "быстрейшее из всех смертных животных", Herod. I, 216). Кельто-германская изоглосса одного из названий лошади — **markos, *markā* также лишена приписываемых ей неиндоевропейских ассоциаций (с монгольским, локализуемым в древности в Забайкалье, т.е. в немыслимой дали от индоевропейского,во всяком случае — от индоевропейских языков Европы). Более оправданно видеть и здесь древнюю инновацию европейского очага коневодства (возможно, конкретно фракийско-карпатского? Ср. царское имя *Thia-marcus* у агафирсов, явно включающее также упомянутый конский термин), ср., с другим суффиксом, др.-инд. вед. *márya-* 'жеребец'[28]. То, что, например, славянский участвует не во всех этих изоглоссах, говорит лишь о древней диалектности индоевропейского. Напротив, и.-е. **su-s* 'свинья' хорошо представлено

в славянском, как и в других диалектах, и подтверждает наличие развитого свиноводства у индоевропейцев, причем данные о сокращении его у индоевропейцев на Ближнем Востоке[29] уже сами по себе (наряду, разумеется, с другими фактами) указывают на исходный очаг как свиноводства, так и свиноводов-индоевропейцев в другом месте, в умеренных широтах (этому тезису пытаются противопоставить контраргумент, осмысливающий сокращение свиноводства как стадию культуры, замыкая при этом и начало, и конец свиноводства переднеазиатским ареалом, но основания для подобной универсализации отсутствуют, — вспомним популярность разведения свиней в высокоразвитой земледельческой культуре Китая).

Я и раньше поднимал вопрос о необходимости типологии этногенеза. Сейчас кажется своевременным поставить интереснейший вопрос о взаимной типологии частных индоевропейских этногенезов в свете существующих популярных концепций, ибо, поступив так, мы получим уже хотя бы ту выгоду, что при этом в совокупной картине проступает сразу некая монотонность или шаблонность затронутых концепций, едва ли способствующая раскрытию своеобразия явления. Дело в том, что предыдущие поколения исследователей, отправляясь в своих суждениях от модели "единого" праязыка, нуждались в объяснении реального своеобразия индоевропейских языков или ветвей и находили его во внешнем воздействии субстрата или суперстрата. Так, весьма распространенной является теория германского этногенеза как напластования индоевропейской шнуровой керамики на доиндоевропейскую мегалитическую культуру. Соответственно популярна теория славянского этногенеза как наслоения индоевропейской лужицкой культуры с запада на часть балтийского языкового ареала.

Что нам мешает в таком случае распространить эту схему и на балтийский этногенез, интерпретировав его как приход с юга индоевропейских племен и наслоения их на восточноевропейскую финноугорскую культуру гребенчатой керамики? Как известно, очень аналогичная концепция прихода фракийцев-фригийцев в Литву Басанавичуса была давно отвергнута за дилетантские этимологии, но ведь в последние десятилетия на материале вполне научных соответствий вновь обосновываются фракийско-дакско-балтийские связи не позднее III тыс. до н.э. (причем, кстати, и в массе безнадежно дилетантских сближений Басанавичуса находятся такие, которые пришла пора реабилитировать, например, названий литовских городов Каунас, Приены и их этимологических дублетов в античной Малой Азии). Осуществляться эти связи могли лишь в относительной близости к восточной части Балканского полуострова (ареал фракийских и дакских племен), и только после этого протобалтийские диалекты могли начать перемещаться на север.

Мы исходим из постулата древней диалектной множественности и поэтому не ищем ответа на все вопросы в субстрате-суперстрате. Поучительная пестрота мнений, например, о субстрате германского говорит о зыбкости этого понятия, причем одни просто признают этот субстрат, другие относят к нему 30% германской лексики[30],

третьи считают, что он огромен[31], тогда как четвертые уверены, что он вообще маловероятен[32]. В одном западном варианте ответа на вопрос "Кто такие германцы?"[33], помимо различных археологических аргументов, о которых бегло см. выше, делается упор на "архаическую лексику неиндоевропейского происхождения", куда автор относит герм. **hrugna-* 'икра (рыбья)', **dūbōn-* 'голубь' и ряд других слов. Однако давно известно родство первого из них с такими названиями лягушачьей икры из первоначального обозначения крика этих земноводных в брачный период, как русск. диал. *крек, крёк* 'лягушачья икра', лит. *kurkulaĩ* то же, т.е. это исконная лексика повседневных понятий, которую не было надобности брать из субстрата, как равным образом и германское название голубя (**dūbōn-*, нем. *Taube*), давно объясненное из первоначального названия темного цвета (подобный принцип называния голубя также известен в разных языках). Необходимость этимологической проверки этих утверждений, таким образом, очевидна. Проверка этимологий тем более важна, что сейчас все больше признается этногенетическая важность лексических свидетельств, сравнительно с фонетическими различиями, которые конституировались относительно поздно, в славянском — начиная с I тысячелетия нашей эры, в германском — не ранее середины I тыс. до н.э., тогда как лексические изоглоссы 'золото', 'серебро', 'рожь', 'свинья', 'поросенок', 'рало', 'сеять', 'серп' и многие другие насчитывают к этому времени не одно тысячелетие, а с ними и языковая, и культурная самобытность соответствующих индоевропейских племен.

По этой линии — наличие или отсутствие лексических связей, общих новообразований — идет изучение древнеиндоевропеских диалектов. Констатируется, например, отсутствие соседства древних германцев и древних греков[34]. Греки — это особая глава индоевропейской проблемы. Утверждения, что греки направлялись в Эгеиду из Малой Азии[35], кажутся сомнительными ввиду стойкой античной традиции ионической миграции, наоборот, в Малую Азию из Аттики XI—X вв. до н.э., которая подтверждается археологически[36] и, возможно, лингвистически, ср. Ἀττική (γῆ) — 'Отцовская (земля)', если от ἄττα 'отец' (любопытен фамильярный статус производящего и производного)[37]; аналогично μητρόπολις — 'главный город, город-мать' (тоже в отношении колонии). Греки пришли в Грецию, очевидно, с севера, одно из их полулегендарных названий — Δαναοί 'данайцы' — указывает прямо на Дунай, сохраняя архаичную форму названия среднего течения этой реки[38]. Есть мнение, что традиция о походе аргонавтов на север — это ранняя традиция о "возврате греков"[39]. Археологические следы важной проблемы прихода греков в Грецию и Эгеиду, конечно, еще предстоит изучать специалистам.

Армяне — столь же обособленная индоевропейская ветвь, как и греки, но их пути и контакты затрагивают многие другие индоевропейские группы. И в данном случае мнение, что протоармянский лишь незначительно перемещался внутри Малой Азии, наталкивается на лингвистические противоречия. Даже если оставить пока в стороне крайние концепции — о встрече праславян и праармян на

Украине[40] или о соседстве армян с индийцами к северу от Черного моря[41], не говоря уже о киммерийской теории генезиса армянского[42], то палеобалканские связи и истоки армянского до его появления в Малой Азии и на Армянском нагорье остаются вне всяких сомнений. Достаточно сослаться на известную традицию Геродота о том, что "армяне — фригийские колонисты". Сами фригийцы, бывшие, видимо, следующей волной балканских переселенцев, известны в Малой Азии уже со II тыс. до н.э. Все это население имеет прочные корни среди балканских индоевропейцев, где оставались близко родственные бригийцы и пеоны. Для предыстории армян особенно интересны последние, чей этноним Παίονες, продолжающий древнее **paį(u̯)es* 'луговые (жители)', ср. более краткую старую форму в составе близкого этнонима Παιό-πλαι[43], проливает новый свет на самоназвание армян *Hayk*ʿ < **paįes*, в результате чего армяне, эти записные жители гор, тоже оказываются первоначально 'луговыми, долинными' (связь с названием страны *Haįasa* менее вероятна, как, впрочем, и с этнонимом *Hatti*, что побуждает некоторых вообще признавать этноним *Hayk*ʿ неясным). Пеоны, мизийско-фригийское племя, владели речными долинами Фракии[44], они сидели и на реке 'Ερίγων (современная *Црна река*, т.е. 'черная река', в Македонии, бассейн Вардара), что этимологически тождественно ('Ερίγων) арм. *erek* 'вечер' (т.е. 'темнота')[45]. От рек Вардара и Струмы следы протоармян восходят еще дальше на север, где в Дунай в Румынии впадает река Vedea, этимологически — 'вода', в своей огласовке взаимно покрывающаяся с фриг βέδυ и арм. *get* 'река'. Ареной известных науке сепаратных изоглосс армянского с греческим и с древнеиндийским реально могло быть древнее Подунавье с примыкающими районами.

Значительное количество общих изоглосс обнаруживают также армянско-славянские языковые связи. Из них мы выделим соответствие названий железы: арм. *gełj* — слав. **žeľeza*[46]. Если из этого же этимологического материала славянские и балтийские языки развили общее новообразование — название железа, что позволяет датировать интенсивные балто-славянские контакты с эпохи железа, т.е. около 500 г. до н.э., то армянско-славянские контакты фиксируют лишь дометаллическую семантику этого корня — 'комочкообразная субстанция, железá', что свидетельствует о времени до появления болотного железа — эпоха бронзы или неолит (II тыс. — начало I тыс. до н.э.).

Западнобалканские индоевропейские племена — иллирийцы — простирались довольно далеко на Север — до Силезии, временами — до Балтийского моря. Концом II тыс. до н.э. датируют их перемещение (обратное?) к Югу[47]. Возможно, что это как-то сказалось и на уходе италийских племен в Италию из относительно более северных мест в Центре Европы. Наверное, именно северные иллирийцы, или иллиро-венеты, причастны к созданию лужицкой культуры. Именно эти племена с такой особой лексикой, как **delm-* 'овца' (апеллятивно сохранилось в албанском, а в ономастике — *Dalmatia* и близкие названия — от собственно Далмации на юге до следов в Восточ-

ной Германии), **daksā* 'море' (от Эпира на юге и Адриатики до следов в Германии и Чехии), племенными названиями типа *Liccavici* (сохранилось до средневековья на западнопольских землях), местными и водными названиями типа **arson-*, **serm-*, **tarā,* оставили следы так называемого третьего этноса на позднейшей границе германцев и славян. Ясно одно, что носителями ископаемой лужицкой культуры не были ни кельты, ни италийские племена. Ввиду присутствия северных иллирийцев (венетов) в роли упомянутого пограничного "третьего этноса" их участие одновременно в славянском этнообразовании трудно вообразимо. Еще менее реален "лужицкий" суперстрат иной этнической принадлежности (например, италийской), принимаемый некоторыми учеными для объяснения славянского этногенеза, поскольку уже во II тысячелетии вероятно продвижение италийских племен из Центральной Европы в Италию (см. выше).

Начиная с Лер-Сплавинского, существует теория этногенеза славян как результата наслаивания этих загадочных археологических "лужичан" на протобалтов. Лингвистически здесь многое спорно, вплоть до позиции самого балтийского (не центральная, а, видимо, относительно периферийная). Чистота и бессубстратность балтийского мнима, ср. указание на финноугорский как древний субстрат балтийского[48]. Противоречия протобалтийской концепции возникновения праславянского обозначились еще у Лер-Сплавинского, который указал на более тесные западно-индоевропейские связи славян, чем балтов[49]. Последующие разыскания углубили этот аспект, что вызвало необходимость "развести" балтов и славян в том, что касается их этнообразования.

Таковы, в самых скупых чертах, предпосылки современной дунайской теории праистории славян[50]. Ее обоснований — этимологических, конкретно-лингвистических — в действительности много больше, чем можно представить здесь, поэтому приходится ограничиться самыми общими и выборочными. Возражения против дунайской теории славянского этнообразования необходимо и дальше изучать, однако вряд ли прав В.В. Седов (устное высказывание), датирующий инфильтрации с Дуная на север от Карпат не древнее IV в. до н.э. и полагающий при этом, что эти инфильтрации уже застали славян на польских землях, чему там противоречит уже одно наличие неславянской индоевропейской номенклатуры (гидронимии), очевидно, более древней, чем появление на этих же землях славян.

Мы разделяем мнение, что "проблема прародины славян самым тесным образом связана с теориями о прародине индоевропейцев"[51], хотя существуют и прямо противоположные суждения[52]. Будучи языками-сатэм, и славянские, и балтийские языки развили инновацию в виде ассибиляции палатальных задненебных согласных. Судя по этой иновационной особенности, они находились внутри индоевропейского ареала. Однако и здесь серьезные различия: слав. $s < *ts < *\acute{k}$; балт. $\check{s} < *t\check{s} < *\acute{k}$ (попытки примирить и объединить обе линии развития следует признать неудачными).

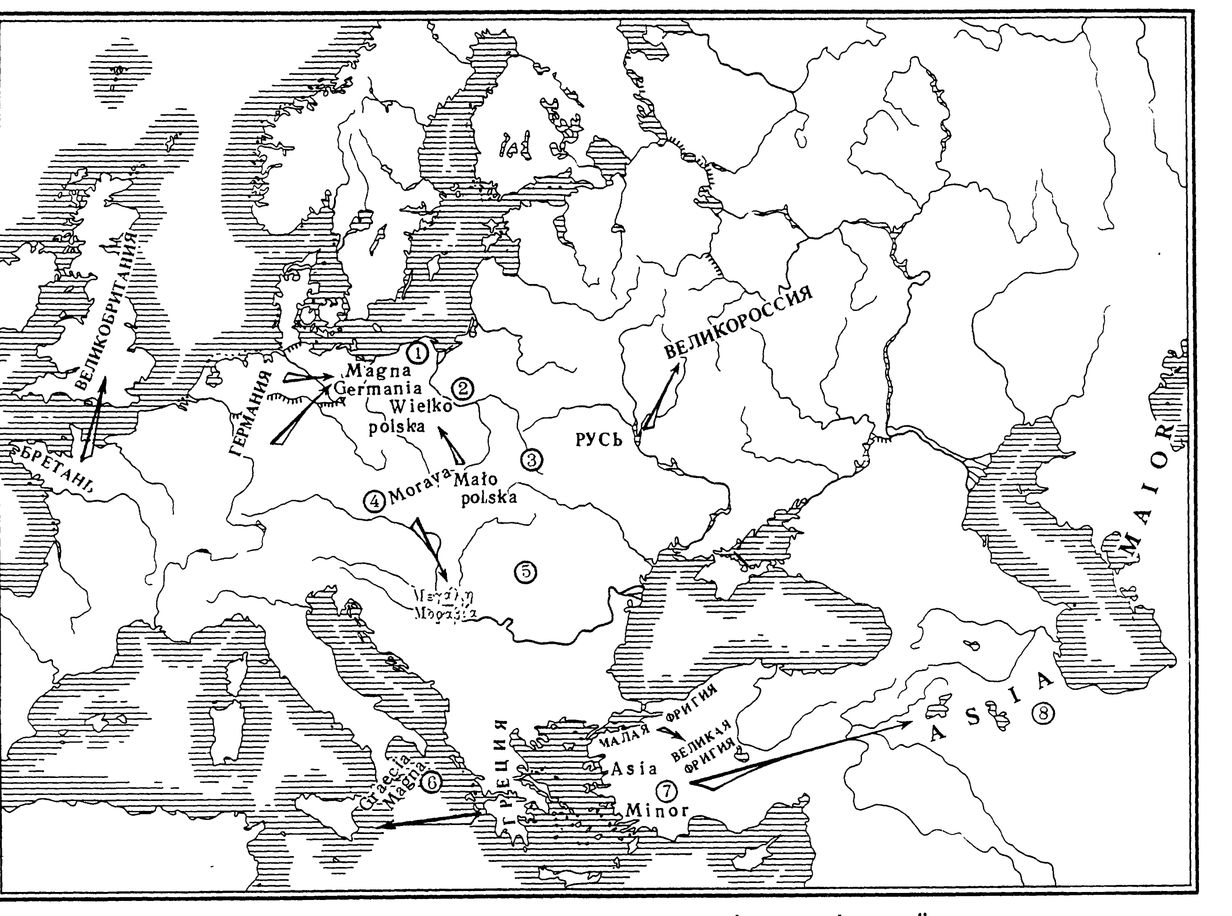
Балты позднее стали распространяться на Запад и вышли на Янтарный путь. О Дунае они узнали от славян еще позже. Славяне рано

стали пользоваться известным кельтско-германским названием **dunaj/*dunavь*, относившимся к Среднему и Верхнему Дунаю, однако замечательно, что они не знали древних названий Нижнего Дуная, например Ἴστρος. Из поля зрения древних славян выпал, таким образом, фракийский сектор реки. Это соответствует уже отмечавшимся преимущественным древним связям между фракийским, дакским и балтийским[53]. Славяне ориентировались с древности на связи с германцами, кельтами, италиками, иллирийцами, т.е. с западными индоевропейцами. В последние десятилетия удалось выявить важные свидетельства древних латинско-славянских связей в названиях окружающей природы типа *paludem* — **polovodьje* и др. и названиях культуры[54].

В отличие от западных связей праславян, их связи с восточными индоевропейцами как бы постэтногоничны, взять хотя бы известные славяно-иранские отношения (не древнее середины I тыс. до н.э.), которые отражают религиозное влияние на славян, но совершенно не затрагивают элементарные понятия и природу. Есть признаки аналогичного индоарийского влияния на славян. Распад индоиранцев на две ветви носит в Северном Причерноморье окончательный характер, хотя каждый "распад" лишь закрепляет и старое диалектное членение и новую консолидацию. Любопытно, что некоторые индоарийские (праиндийские) изоглоссы, возможно, выступают еще в Карпатском регионе. Так, уже Соболевский связал название притока Тисы *Hornád* с др.-инд. *nadī* 'река'[55]; мы можем добавить ряд местных названий с элементом *-nad*, известных исключительно в Трансильвании и Банате: *Pănade, Tăşnad, Tuşnad, Cenad*[56]. Известная *Nitra* в Словакии находит теперь объяснение как связанная с древней формой (**neitrā*) др.-инд. *netrá-* 'проход'[57].

Реальнее всего было бы при этом представлять себе распространение этих этносов из Карпатского бассейна на Восток, т.е. как ц е н т р о б е ж н о е. Ярчайшим примером такого центробежного ухода на Восток из Центральной Европы служат, очевидно, индоевропейские носители фатьяновской культуры междуречья Волги и Оки. Время, место и направление их ухода, а также контакт с финноугорскими культурами делают заманчивым предположение в фатьяновцах крайневосточных кентумных индоевропейцев — тохаров. Это оправдывалось бы и наблюдениями лингвистов об особо длительных сношениях именно тохаров с финноуграми, наложивших отпечаток на тохарский консонантизм; эти контакты, будучи древними и долгими, следует локализовать к западу от Урала, вблизи от древнего финно-угорского ареала (предположительно — Волго-Камье). Другие индоевропейцы в роли фатьяновцев, например балты, маловероятны ввиду связей фатьяновцев с Центральной Европой и территорией Польши, тогда как протобалты до II тыс. до н.э. ориентировались на связи с древними племенами Восточных Балкан (см. выше).

В то время как ряд исследователей разделяет мнение о движении с Востока на Запад как основном направлении индоевропейских племен, мы бы выделили мысль о характерности центробежных распространений из некоторого центральноевропейского ареала. Осо-



Карта. Отражения центробежной модели 'Великая страна' в географической номенклатуре

бенно показательны здесь разнонаправленные движения приблизительно из одного и того же центра: италики — на Юг, упомянутые безымянные археологические фатьяновцы — на Восток (и те, и другие предположительно — во II тыс. до н.э.). Эта древняя тенденция жила долго и даже породила любопытную в плане культурно-лингвистической типологии этнонимическую модель, которую мы назовем 'Великая страна'. Эта модель никакой великодержавности и шовинизма в себе не таит, хотя так подчас думают, начиная с Плиния, который связывал название *Magna Graecia* с "кичливостью" греков, пришедших якобы в восторг по поводу красот вновь освоенной страны. На самом деле *Magna Graecia* выражает ориентацию "новой" Греции (Нижней Италии) относительно старой метрополии, Эллады. Равным образом Великобритания названа так относительно материковой Бретани, Великороссия — относительно Руси изначальной, лишь под воздействием своего коррелята ставшей Малороссией, далее ср. Великопольша и ее оппозит — более южная (и раньше освоенная) Малопольша; закончим довольно древней и потому интересной для нас парой Малая Фригия — на ближайшем к Европе малоазиатском берегу Пропонтиды — и Великая Фригия — дальше на юго-восток вглубь Малой Азии (да и сама Малая Азия, Asia Minor, Μικρὰ 'Ασία разумеется, представляет собой вторичное название страны, за освоением которой последовало расселение по Азии дальнейшей, иногда действительно называемой — гл. обр. в ученых трудах — Asia Maior, Великая Азия). В глазах искушенного читателя эти названия — неплохие дорожные указатели миграций из мысленного центра Европы (см. карту).

Что же еще дает индоевропейская проблема, особенно — такого, что может интересовать не одну только индоевропейскую проблему? Индоевропейская проблема — это также индоевропейская диалектология, что, впрочем, мы старались показать с самого начала, и, кажется, из всех диалектологий индоевропейская диалектология первой столкнулась наиболее явственно с непреодолимостью феномена изначального диалектного членения. Можно, конечно, проглядеть и этот урок, но лучше — усвоить его с вниманием и пользой. Я имею в виду по-прежнему ощутимый вред унитаристской исходной концепции всякого, особенно — древнего языка. Когда крепко верится в исходное единство, любое накопление фактов известной самобытности диалекта, скажем, древненовгородского диалекта, способно вызвать, говоря кратко, две реакции (обе, заметим, в общем неправильные): одна из них, с легкостью зачисляемая в ретроградные настроения, — это если усматривать здесь посягательство на единство древнерусского языка; и вторая, тоже неоправданная — с ее готовностью относить феномен ко "всему прогрессивному", — это когда оживляются толки о "гетерогенном" образовании русского языка вообще или о "двух" слившихся в нем языках (такие утверждения, кстати, уже проникли в широкую печать). Язык не бывает бездиалектным, самобытность древних диалектов может быть и большей, а язык существует — один, если пространственный континуум диалектов перекрывается выработанным ими же междиалектным и над-

диалектным объединяющим слоем, с постулата которого мы и начинали свое изложение.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Kilian L.* Zum Ursprung der Indogermanen. Forschungen aus Linguistik, Prähistorie und Anthropologie. Bonn, 1983, 111.
[2] *Polomé E.* Methodological approaches to the ethno- and glottogenesis of the Germanic peaple // Mannheim Symposium 1984: Entstehung von Sprachen und Völkern, 16.
[3] *Порциг В.* Членение индоевропейской языковой области. М., 1964, 96.
[4] *Polomé E.* Op. cit., 156.
[5] *Coles I.M., Harding A.F.* The Bronze Age in Europe. An introduction to the prehistory of Europe c. 2000—700 BC. London, 1979, 336.
[6] *Mańczak W.* W sprawie czasu i miejsca zapożyczeń germańskich w prasłowiańskim // International journal of Slavic linguistics and poetics, vol. XXIX, 1984, 13.
[7] *Горнунг Б.В.* Из предыстории образования общеславянского языкового единства // V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963, 11.
[8] *Pisani V.* Baltisch, Slavisch, Iranisch. // Baltistica V(2), 1969, 135.
[9] *Birnbaum H.* Divergence and convergence in linguistic evolution // ICHL 6 (отд. отт.), 2, 3.
[10] Там же, 3.
[11] *Thomas H.* The Indo-Europeans in the IV and III millennia. Ed. by E. *Polomé.* Ann Arbor, 1982. 63; *Coles I.M., Harding A.F.* Op. cit., 16; *Häusler A.* Kulturbeziehungen zwischen Ost- und Mitteleuropa im Neolithikum? // Inschr. mitteldt. Vorgesch. 68, 1985, 41.
[12] *Ožďáni O.* Zur Problematik der Entwicklung der Hügelgräberkulturen in der Südwestslowakei // Slovenská archeológia XXXIV, 1, 1986, 50.
[13] *Polomé E.* Op cit., 4.
[14] *Latałowa M.* Warunki przyrodnicze osadnictwa prahistorycznego w okolicach jeziora Żarnowieckiego w swietle badań paleobotanicznych // Archeologia Polski. T. XXX. Sesz. 2. 1985, 261 и сл.
[15] *Nalepa I.* Miejsce uformowania się Prasłowiańszczyzny // Slavica Lundensia I. Lund, 1973, 60.
[16] *Polomé E.C.* Who are the Germanic people? // Festschrift M. Gimbutas.
[17] *Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* К проблеме прародины носителей родственных диалектов и методам ее установления (По поводу статей И.М. Дьяконова в ВДИ, № 3 и 4) // ВДИ, 1984, № 2, 108, сн. 8.
[18] *Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. II, Тбилиси, 1984, 884—885.
[19] *Ilievski P. Hr.* Pisani podaci o zemljoposedničkim odnosima na Balkanu iz kasne bronzane epohe // Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. God. XXIV (Centar za balkanološka ispitivanja. Kn. 22). Sarajevo, 1986, passim.
[20] *Socha I.* /Рец. на кн.:/ А.И. Немировский. Этруски. М., 1983 // Eos. Vol. LXXIII. Fasc. 2, 1985, 372.
[21] *Горнунг Б.В.* Указ. соч., 11; *Nalepa J.* Op. cit., 58—59; *Горнунг Б.В* К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности (Протоиндоевропейские компоненты или иноязычные субстраты?). М., 1964, 19; *Дьяконов И.М.* О прародине носителей индоевропейских диалектов I // ВДИ 1982, № 3, 12.
[22] *Горнунг Б.В.* Указ. соч., 12.
[23] *Андреев Н.Д.* Раннеиндоевропейский праязык. Л., 1986, 35—36.
[24] *Pritsak O.* The Slavs and the Avars. Estratto da: Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo XXX. Spoleto, 1983, 385.
[25] Atlas linguarum Europae. Vol. I, 2-ième fascicule. Assen/Maastricht, 1986, Carte 24: *bouleau.*
[26] *Сараджева Л.А.* Армяно-славянские лексико-семантические параллели. Ереван, 1986, 351.
[27] *Friedrich P.* Proto-Indo-European trees. The arboreal system of a prehistoric people. Chicago; London, 1970, 27.
[28] *Grassmann H.* Wörterbuch zum Rig-Veda[5]. Wiesbaden, 1976. Sp. 1010.

[29] *Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* Указ. соч., II, 595—596.

[30] *Milewski T.* Dyferencjacja języków indoeuropejskich // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa. 1965. Wrocław etc., 1968, 67.

[31] *Gimbutas M.* Primary and secondary homeland of the Indo-European studies, vol. 13, Nos. 1—2, 1985, 200.

[32] *Polomé E* Op. cit., 60.

[33] *Polomé E.C.* Who are the Germanic people? // Festschrift M. Gimbutas, passim.

[34] *Polomé E C.* Some comments on Germano-Hellenic lexical correspondences // Festschrift Alinei, passim.

[35] *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Б.В.* Указ. соч., II. 899.

[36] Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. München, 1979, Bd. 2, Sp. 1436—1437.

[37] См. еще: *Трубачев О.Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959, 25. Прочие объяснения 'Αττική — из 'Αθηναική 'афинский, -ая' или от 'ακτή 'берег' (?) — просто кажутся малоубедительными.

[38] *Schmid W.P.* Griechenland und Alteuropa im Blickfeld des Sprachhistorikers. Θεσσαλονικη 1983 (Ανατυπο απο την Επιστημονικη επετηριδα της Φιλοσοφικης σχολης...), 408.

[39] *Bačić J.* The emergence of the Sklabenoi (Slavs), their arrival on the Balkan peninsula, and the role of the Avars in these events: revised concepts in a new perspective, Columbia university Ph. D. 1983. University microfilms International. Ann Arbor; Michigan, 1984, 65.

[40] *Goląb Z.* The ethnogenesis of the Slavs in the light of linguistics (отд. отт.).

[41] *Порциг В.* Указ. соч., 239.

[42] *Schramm G.* Nordpontische Ströme. Namenphilologische Zugünge zur Frühzeit des europäischen Ostens. Göttingen, 1973, 165, 204, 217.

[43] *Mayer A.* Die Sprache der alten Illyrier. Bd. II. Wien, 1959, 85.

[44] *Tomaschek W.* Die alten Thraker. Nachdruck. Wien, 1980, 8.

[45] *Duridanow I.* Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle. Köln; Wien, 1975, 26-27; *Katičić R.* Ancient languages of the Balkans. Part. I. Mouton, The Hague; Paris, 1976, 147.

[46] *Сараджева Л.А.* Указ. соч., 132.

[47] *Порціг В.* Указ. соч., 131.

[48] *Ванагас А.* Хронологические пласты иноязычных топонимов Литвы // ZfS 30, 6, 1985, 869.

[49] *Lehr-Spławiński T.* O pochodzeniu i praojczyznie Słowian. Poznań, 1946, 38, 42.

[50] *Трубачев О.Н.* Языкознание и этногенез славян (I—VI) // ВЯ 1982. № 4—5; 1984. № 2—3; 1985. № 4 - 5; *Birnbaum H., Merill P.T.* Recent advances in the reconstruction of Common Slavic (1971—1982). Slavica publischers, Columbus, Ohio, 1985, 78 и сл.; *Birnbaum H.* Indo-Europeans between the Baltic Sea and the Black Sea // The Journal of Indo-European studies. Vol. 12. N 3—4, 1984, 253-255; *Birnbaum H.* Noch einmal zu den slavischen Milingen auf der Peloponnes // Festschrift für H. Bräuer. Köln; Wien, 1986, 24—25; *Kunstmann H.* Die Namen der ostslavischen Derevljane, Polocane und Vylynjane // Die Welt der Slaven, Jg. XXX, 2. München, 1985, 235.

[51] *Rysiewicz Z.* O praojczyznie Slowian // Z. Rysiewicz. Studia językoznawcze. Wrocław, 1956, 92.

[52] *Walczak B.* / Рец. на кн.:/ W. Mańczak. Praojczyzna Słowian. Wrocław etc., 1981 // Lingua posnaniensis XXVII, 1984.

[53] *Duridanov I.* Thrakisch-dakische Studien. I. Die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen. Sofia, 1969, passim, особенно с. 100.

[54] *Трубачев О.Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966, 392—393; *Goląb Z.* Kiedy nastąpiło rozczczepienie językowe Bałtów i Słowian? // Acta Baltico-Slavica XIV, 1981, 123—124; *Friedrich P.* Op. cit., 173—174; *Schelesniker H.* Die Schichten des urslavischen Wortschatzes // Anzeiger für slavische Philologie, Bd. XV/XVI, 1984—1985, 77 и сл..

[55] *Соболевский А.* Славяно-скифские этюды. XVII // ИРЯС, т. I, кн. 2, 173.

[56] *Трубачев О.Н.* Indoarica в Скифии и Дакии // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984, 152.

[57] *Трубачев О.Н.* "Старая Скифия" (Αρχαίη Σκυθίη) Геродота (IV, 99) и славяне. Лингвистический аспект // ВЯ. 1979. № 4, 44.

К.Т. Витчак

ИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ДРЕВНИХ СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН. 1. ЭТНОНИМ *FRESITI* У БАВАРСКОГО ГЕОГРАФА И ЕГО ЛОКАЛИЗАЦИЯ

1. Вступительные замечания

Сочинение "Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii", в широком научном обиходе известное под названием Баварский географ, бесспорно представляет собой фундаментальный и все еще не полностью исчерпанный источник для исследований по славянской этнонимии и расселению раннесредневекового славянства. Несмотря на то что исследования сосредоточивались, как правило, вокруг проблем идентификации имен у Баварского географа (далее — БГ), в этом отношении по-прежнему царит хаос и беспомощность, и по-прежнему сохраняет свою актуальность анализ Х. Ловмянского[1].

Из числа этнической номенклатуры БГ не получил приемлемой интерпретации также в высшей степени спорный этноним *Fresiti*. В литературе преобладали мнения, априори отрицающие славянский характер этого племени, и даже панславист М. Рудницкий[2] признавал, что название производит впечатление неславянского образования.

Ставя в настоящей работе вопрос о славянском, как я полагаю, происхождении племени под названием *Fresiti*, я попытаюсь решить три главные задачи: 1) собственное звучание соответствующего праславянского племенного названия, 2) его этимология, 3) приблизительная локализация племени в границах раннесредневекового славянства.

2. Собственное звучание этнонима *Fresiti* (= праслав. **bьrzьti*)

Племенное название *Fresiti* (в случае его славянского происхождения) неясно в отношении структуры, поскольку элемент *-iti* ни в коем случае не представляет собой праславянского патронимического суффикса *-itji*. Этот последний суффикс в вышеназванном памятнике фигурирует исключительно в палатализованной форме, отсюда записи *-ici-*, *-izi* и *-ezi*, например *Sittici* = *Zycicy* (праслав. **žititji*), *Lunsizi* = *Łężycy* (праслав. **lǫžitji; *lužitji*), *Abtrezi* = *Obodrzycy* (праслав. **obodritji*).

С другой стороны, эволюция *-iti*, не типичная для славянской этнонимии[3], указывает на древность этнонима *Fresiti*, родословная которого, бесспорно, гораздо более давняя, чем эпоха, которой датируется БГ (серелина IX в.). Древность этого племени находит как бы источниковедческое подтверждение. Так, в "Чудесах св. Димитрия Солунского" (Miracula s. Demetrii, lib. 2, cap. 1) отмечается, что в так называемой долгой осаде Солуни (Салоник) в начале VII в. (около 620 г.) участвовало, кроме дрогувитов, сагудатов, велегезитов, ваюнитов, племя берзитов (βερζῆται). Это последнее

южнославянское племя в дальнейший период истории появляется в глубине Македонии, где оно заселяет область под названием Берзития (βερζίτια, βερζητία, βερζετία), упоминаемую, например, в описании нападения болгарского хана Телерига. Потомками берзитов считают население окрестностей Охрида, Битоля, Прилепа, Кичева, Крушева и Велеса, носящее название **бързяци** или **бърсяци**[4]. Оба этнонима — βερζῆται (начало VII в.) и *Fresiti* (середина IX в.) — тождественны фонетически и структурно, хотя и относятся к особым племенам, поскольку племя македонских берзитов, занимающее территорию на юг от Дуная, не могло попасть в перечень БГ.

Название балканского племени βερζῖται, βερζῆται (визант. η = *i*) может, согласно В. Георгиеву[5], продолжать праслав. **bьrzitji* или **bьrzьti*. В решении дилеммы помогает сохранившееся современное название *бързяци* (чаще выступает вторичная форма *бърсяци* с регрессивной ассимиляцией *z* — *c* > *s* — *c*). Оно дает право предпочесть второй вариант, потому что *-itji* дало бы болг.-макед. *-išti*, тогда как праслав. *-ьti* там переходит в *-eci*. Единственное затруднение при настоящем толковании (форма *бързяци*, вместо ожидавшейся **бързеци* < праслав. **bьrzьti*) Георгиев убедительно разрешает влиянием образований типа *поляци* и т.п. Это представляется тем более вероятным, что в пользу реконструкции **bьrzьti* говорит независимый графический вариант *Fresiti* (середина IX в.), абсолютно исключающий наличие суффикса *-itji* в этнониме.

3. Этимология этнонима

Праслав. **bьrzьti* явно выпадает из структурного типа славянской этнонимии, так как постулировавшееся прежде сближение с праславянским прилагательным **bьrzъ* 'быстрый'[6] неубедительно, если иметь в виду, что при этом остается совершенно необъясненной эволюция *-ъt-*. Вышеупомянутый этноним имеет вид скорее субстратного образования или реликта, унаследованного от индоевропейского праязыка. Но трудно подозревать иноязычное происхождение, поскольку нет возможности указать предполагаемый источник заимствования, а допущение здесь остатка дославянского субстрата не может быть, в свою очередь, подкреплено никакими аргументами. В итоге представляется методологически обоснованным как возможный вариант предположение, что это исконный славянский этноним, сохранившийся в качестве реликта эпохи индоевропейской общности. При этом целесообразно помнить, что праславянская этнонимическая номенклатура, обнаруживающая, как правило, исконное происхождение, нередко оказывается унаследованной прямо от индоевропейской общности. Так, например, этноним и.-е. **wenH̥tói* (ср. прилагательное др.-инд. *vanitáḥ* 'любимый') сохранился у славян в виде праслав. **vęti* (герм. **Winđāz* 'славянин', фин. *venäjä* 'русский', в античных источниках — в форме *Veneti, Venedi, Venadi* и т.д., в византийских источниках V—VII вв. — Ἄντες, Ἄνται). Далее, от предшествующего этнонима берет свое начало вторичное, патронимическое образование — праслав. **vetitji* (др.-русск. *вятичи*, XII в., в хазарских

и арабских источниках IX—X вв. — *Vantit, Venantit*), понимавшееся первоначально как 'потомки *vęt*' ов (= антов), расселившиеся за пределы прежнего обитания'.

На славянской почве не удается объяснить структуру этнонима праслав. **bьrzьti*, следовательно, попытка его истолкования как исконного слова должна исходить из положения, что он продолжает какой-то сложившийся индоевропейский этноним. Представляется, что учет данных других индоевропейских языков позволит воссоздать предполагаемую индоевропейскую праформу этнонима и объяснить его строение.

Единственной словообразовательно доказуемой индоевропейской праформой, из которой можно было бы вывести праславянский этноним **bьrzьti*, является **bhr̥ĝhń̥t-*, а точнее — тематизированная форма **bhr̥ĝhn̥t-ó-*. Следует отметить в интересах полноты освещения проблемы, что в других языках индоевропейской семьи засвидетельствованы племенные названия, продолжающие тот же самый архетип им. мн. **bhr̥ĝhń̥t-es*, вар. **bhr̥ĝhn̥t-ó-i* 'высокие, великие, высоко вознесенные': кельт. *Brigantes*, племя в Британии, и *Brigantii*, племя в Реции (вблизи Боденского озера, называвшегося в античной древности *Brigantinus lacus*), = балкан. *Barzantes*, предположительно иллирийское племя , = герм. *Burgundai*, бургунды, бродячее племя, осевшее также на острове Борнхольм. Приведенные выше этнонимы имеют очевидно праязыковое происхождение, поскольку лексема **bhr̥ĝhn̥t-* (им. ед. **bhr̥ĝhént-*), прилаг. 'высокий, большой' представлена в апеллативном употреблении только на индоиранской почве (др.-инд. *br̥hánt-* 'высокий, большой, достойный, толстый', авест. — *bərəzant-* 'высокий'). Она является развитием выступающего здесь в нулевой ступени корня и.-е. **bherĝh-* 'быть высоким, превышать' (Pokorny I, 140—141) с помощью суф. *-nt-*. Независимое сохранение этих этнонимов в отдельных языках индоевропейской семьи доказывается также дифференциацией продолжений архетипа и.-е. **bhr̥ĝhn̥t-*, ср. сопоставление соответствий:

и.-е. **bh-r̥-ĝh-n̥-t-*

др.-инд.	*b-r̥-h-a-t*	герм.	*b-ur-g-un-đ-*
кельт.	*b-ri-g-an-t-*	слав.	*b-ьr-z-ь-t-*
балкан.	*b-ar-z-an-t-*		

Этнически ориентированное развитие отдельных индоевропейских фонем племенного названия **bhr̥ĝhn̥t-* с необходимостью предполагает праязыковой генезис данного этнонима. При таком положении вещей выдвинутый выше тезис о реликтовом характере значительно выигрывает в правдоподобии. Следовало бы еще прокомментировать славянское продолжение индоевропейской фонемы **n̥* в данном названии. Как известно, продолжение этой фонемы в праславянском языке является двояким: *ę/ǫ* или *ь/ъ*, причем тот или иной рефлекс несомненно зависит от акцентуационных условий, ср. (1) праслав. **sъto* '100' < и.-е. **k̑m̥tóm* 'сто', окситоническая акцентная парадигма (греч. ἑκατόν, др.-инд. *śatám*, лит. *šim̃tas*, 4-я акцентная парадигма, вторично — 2-я акцентная парадигма) в противоположность (2) праслав. **desętь* 'десятый' < и.-е. **dék̑m̥tos* 'десятый' (греч. δέκατος, лит.

dĕšimtas, 2-я акцентная парадигма), баритоническая акцентная парадигма. Чтобы окончательно оправдать наличие праслав. *ь в названии, следует принять окситонезу в варианте названия (и.-е. **bhr̂ghn̥t-ó-*), фактически засвидетельствованную в германском (**Burgundá-*), что дополнительно доказывает правильность постулируемого объяснения.

Конечно, представленная попытка этимологии этнонима *Fresiti* (= праслав. **bьrzьti*) имеет в сущности характер гипотезы, но при современном знании славянской лексики было бы трудно привести другое, столь же вероятное объяснение[8].

4. Локализация племени

В литературе выдвинуто конкретное наблюдение, что конечная часть памятника обязана своим возникновением торговым надобностям на основе сведений, собранных купцами, которые путешествуя по дорогам, отмечали встреченные племена. Дорога, вдоль которой жили племена начиная с *Caziri* (40) вплоть до *Besunzane* (53), можно реконструировать благодаря тому, что большинство названий с этой дороги было убедительно идентифицировано. Она ведет из Хазарии (*Caziri* 40, ср. др.-русск. *Козари*) через Русь (*Ruzzi* 41, ср. др.-русск. *Русь*), неидентифицированные пространства (*Forsderen* 42, *Liudi* 43, *Fresiti* 44, *Serauici* 45, *Lucolane* 46), отмечает венгров (*Ungare* 47, ср. др.-русск *угъри*), а следом за этим проходит по Малопольше (*Uuislane* 48 = польск. *Wiślanie* 'висляне'), Силезии (*Sleenzane* 49 = польск. *Ślęžanie*) и Лужице (*Lunsizi* 50, 'лужичане', *Dadosesani* 51 'дедошане', *Milzane* 52 'мильчане', *Besunzane* 53 'бежунчане'). Взаимное расположение племен неуклонно показывает, что мы имеем дело с широтной дорогой, ведущей из Хазарии через Киев, Краков, Вроцлав, Бесниц (= *Bieżuniec*) в Мерзербург и дальше, в глубь франкского государства. Описание оканчивается в момент вступления в области (племенные территории), упомянутые ранее, в первой части памятника (племена БГ 1 — 13). На этой дороге мы должны искать места обитания не идентифицированных ранее племен, в том числе *Fresiti*[9].

Из контекста явствует, что племена 42—46 следует локализовать где-то между Киевом и Краковом и причем по соседству с территориями, контролировавшимися кочевыми венграми. Область, занимавшаяся венграми в эпоху возникновения памятника (середина IX в.), определена Константином Багрянородным (гл. 37—40) как Ателькузу (Ἀτελκούζον), что получает толкование как венг. *Etel-köz* 'речной край'[10]. В сущности византийский император привел пять рек, пересекающих Ателькузу и идентифицируемых[11] как Днепр (βαρούχ = *Вар*, тюркское название, преобразованное из античного названия реки *Borysthęnes*), *Буг* (Южный) (κουβοῦ, метатеза названия *Буга*), *Днестр* (Τροῦλλος, тюркское название *Turla*), Прут (βροῦτος), а также Серет (Σέρετος). Огромный ареал обитания объясняется тем, что венгры были тогда кочевниками, перемещающимися с одного места на другое и преодолевающими таким образом значительные пространства. Разумеется, область Ателькузу населяли также многочисленные славянские

племена. Хотя Константин Багрянородный не определяет, как далеко на север простиралась область Ателькузу, следует считаться с возможностью появления венгров на дороге Киев — Краков, в частности, если мы примем южный вариант направления этой дороги, а именно трассу, проходящую через Перемышль, а не через Червенские города.

Такое направление коммуникационной артерии (через Перемышль) получает сильную поддержку в факте открытия в 1976 г. обширного венгерского кладбища Пшемышль—Засане, датируемого IX—X вв. В ходе археологических исследований были обнаружены не только могилы воинов-всадников, но также и женщин и детей, что могло бы свидетельствовать о том, что пребывание венгров на реке Сан не носило кратковременного характера[12]. В пользу локализации упомянутых *Ungare* в окрестностях Перемышля говорит также порядок перечисления племен в списке БГ, указывающий на тесное соседство венгров (47) и вислян (48)[13].

Уточнение трассы торгового пути Киев — Краков (в его южной версии) позволяет ограничить район поисков севером Украины. Этот район полностью отвечает географическим критериям идентификации названий, то есть лежит к северу Дуная и к востоку от границ франкского государства.

Племя *Fresiti* имеет, как известно, формальное соответствие в форме названий македонских *берзитов*, представляющих другую ветвь того же праславянского племени, которая некогда покинула первоначальный ареал и в период великой экспансии славян проникла на Балканы. Поскольку племя берзитов не могло попасть в перечень БГ по той причине, что оно занимало территорию, расположенную к югу от Дуная, название *Fresiti* обязательно должно обозначать ту ветвь племени, которая осталась в своих первоначальных пределах.

Встает вопрос, можем ли мы определить, хотя бы приблизительно, ареал этого племени в период, предшествующий миграциям, на базе общих направлений экспансии славян на Балканы.

В несомненной связи с поставленным здесь вопросом находится факт появления берзитов вместе с племенем дрогувитов (Δρογουβῖται), которые происходят несомненно от того же этнического корня, что и русские дреговичи, зафиксированные как Δρουγουβῖται у Константина Багрянородного[14]. Имеетсязначительное вероятие, если не уверенность, что берзиты и дрогувиты составляли одну и ту же волну миграции. Это позволяет склониться к мнению, что племя берзитов происходит с территорий по соседству с первоначальным ареалом дреговичей. Г. Ловмянский[15] убедительно локализует первоначальный ареал дреговичей на юг от Припяти, на племенной территории позднейших древлян. Он подкрепляет свой вывод этимологией названия дреговичей как "жителей полесских болот", связывая ее с белорусским словом *дрэгвá* 'трясина, топь, болото' (праслав. **drьgъva*). Принимая это мнение, лингвист Л. Мошинский допускает, что племенное название *древляне* (возможно, что другая форма, фигурирующая у Нестора — *деревляне*, имеет вторичное происхождение) — это деформация белорусского названия **дрегвляне*,

продолжающего праслав. **drьgъvjane*[16]. От этой последней праславянской формы происходит, по мнению автора, патронимическое образование **drьgъvitji*, понимаемое как 'потомки "дрегвян" (= *древлян*), удалившиеся за пределы первоначальных мест обитания'[17]. Это сопоставление подтверждает генетическое родство дреговичей и древлян.

Локализуя племя праслав. **bьrzьti* по соседству с территорией праславянского племени **drьgъvjane* (= *древляне*), мы получаем подтверждение локализации *Fresiti* на Севере Украины.

С вопросом локализации племени *Fresiti* связано также византийско-греческое название рыбы βερζίτικον 'Huso huso maeoticus', ловившейся в Меотиде. Д. Георгакас[18] подвергает сомнению какую бы то ни было связь между названием рыбы и названием македонского племени βερζῖται на том основании, что эту рыбу привозили (X—XII вв.) в Константинополь с территории нынешней Украины. Поэтому автор предлагает эмендацию *βελουζίτικον вместо βερζίτικον, производя название рыбы от укр. *білуга* (праслав. **běluga*, название вида рыб). Я.Б. Рудницкий[19] в своей рецензии принимает этот вывод, хотя и считает суффикс = *itikon* необъяснимым. Позицию обоих исследователей критикует О.Н. Трубачев[20], толкуя название рыбы как производное от имени народа или страны. Он предпринимает попытку сближения с названием страны βερζελία, или βαρζήλῖ, расположенной в северном Дагестане и связанной с хазарами. Согласно Трубачеву, βερζίτικον — это 'берзильская, или хазарская рыба'.

Трубачев наверняка прав, отказываясь от эмендации и объясняя название рыбы как производное от названия народа, но конкретное сближение с Дагестаном неприемлемо, поскольку византийские авторы единогласно указывают на территорию Украины как на район, откуда вывозилась рыба Huso huso maeoticus. В данном контексте я считаю целиком убедительной только связь названия рыбы βερζίτικον и племенного названия **bьrzьti* (по отношению к восточнославянской ветви), что позволяет обосновать предложенную ранее локализацию племени *Fresiti* на Украине.

5. Заключение

Лингвистическая интерпретация имени *Fresiti*, при поддержке детального микрофилологического и палеографического анализа, дала возможность сблизить его с этнонимом *Berzitai* (современное *бързяци*) и реконструировать собственно праславянскую форму **bьrzьti*. Непрозрачность морфологической структуры данного названия на славянской почве создает условия для положения о его индоевропейском происхождении (возможно, из праформы и.-е. **bhr̥ĝhn̥t-ó-i*).

Идентификацию названия *Fresiti* довершает попытка локализации племени, основанная на таких предпосылках, как: 1. нахождение племени *Fresiti* на торговом пути Киев — Перемышль (критерий географической очередности); 2. вероятность общего происхождения южнославянских племен *дрогувитов* и *берзитов* (ретроспективный

критерий); 3. появление названия рыбы, добываемой на территории нынешней Украины (*berzitikon* 'Huso huso maeoticus'), производного от имени *Fresiti*.

Полученная локализация, при всей своей приблизительности (Северная Украина), представляется важным шагом вперед в направлении конкретизации проблемы, окончательное решение которой будет возможно лишь при взаимодействии специалистов — представителей разных наук: археолога, определяющего границы поселений, (до)историка, восстанавливающего трассу коммуникационной артерии Киев — Перемышль в IX в., а также палеобиолога, исследующего распространение рыбы Huso huso maeoticus в прошлом.

ПРИМЕЧАНИЕ

[1] *Łowmiański H.* O identyfikacji nazw geografa bawarskiego // Studia źródłoznawcze. T. 3, 1958, 1—21.

[2] *Rudnicki M.* Geograf Bawarski w oświetleniu językoznawczym // Z polskich studiów slawistycznych. T. 1. 1958. 197.

[3] Наличие форманта *-it* в славянской этнонимии пытался выявить Э. Мосько (*Mośko E.* Przyrostek *-it* w niektórych nazwiskach polskich i słowiańskich nazwach etnicznych // Lingua Posnaniensis, t. 17, 1973, 49—72). Автор реконструирует название племени *Fresiti* в форме **Brež-it-i* (из предшествующего **Berg-īto-i*), но такая концепция не поддается проверке. Мосько не приводит, кроме того, достаточных доказательств существования праславянского суффикса **itъ* помимо **itjь*, поскольку мнимые аналогии *Abodriti* и Ἐζερῖται объясняются ошибочной интерпретацией графики, представляющей собой не что иное, как субституцию продолжений суффикса **itjo-i* (*Moszyński L.* Głos w dyskusji nad pochodzeniem nazwy plemiennej Obodrzyców // Opuscula Polonoslavica. Wrocław etc., 1979, 233—240). В случае с *Abodriti* запись у Баварского географа (*North-abtrezi, Oster-abtrezi)* недвусмысленно подтверждает правильность реконструкции формы **ob-odr-itji* (польск. *Obodrzyce)*.

В палеографическом отношении тождество названий *F-re-s-i-t-i* = β-ερ-ζ-ῑ-τ-αι = *б-ър-з-я-ц-и* представляется совершенно четким, в частности, когда в связи с названием *Fresiti* мы приводим производное βερζίτικον 'вид рыбы Huso huso maeoticus' (см. п. 4). Передача губного *в* также губным германским *f* встречается исключительно часто (*Nalepa J.* Z badań nad nazwami plemiennymi u Słowian zachodnich, Thafnezi Geografa bawarskiego — Dobnicy // Årsbok. V. 6, 1957—1958, 71—72 с иллюстрациями), как и передача слав. *z* с помощью графемы *s*. Колебание *er: re* при передаче рефлекса слогообразующего *r* (*-ьr* < *ṛ*) тоже не должно вызывать недоумения.

[4] *Lewicki T.* Berzetowie // Słownik starożytności słowianskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII. T. 1. Cz. 1. 1961. 108—109.

[5] *Георгиев В.И.* Вокалната система в развоя на славянските езици. С., 1964. 83.

[6] *Niederle L.* Slovanské starožithnosti, t. 2; Původ a počátky Slovanů jižních. Pr. 1906. 12—13; *Георгиев В.И.* Указ. соч. 83.

[7] Племенное название, записанное со вставным гласным в группе согласных *nt* — *Barzanites*, выводит из архетипа и.-е. *Bhṛĝṇt-* (мн. *bhṛĝṇtes*) В. Чимоховский (*Cimochowski W.* Die sprachliche Stellung des Balkan-illyrischen im Kreise der indogermanischen Sprachen // Studia Albanica. T. 1, 1973. 145 = 1975, 17), следуя за Майером (*Mayer A.* Die Sprache der alten Illyrien. Wien, 1957—1959. Bd. 1—2).

Я определяю этническую принадлежность племени в целом как балканскую, так как иллирийское происхождение не представляется достаточно мотивированным, поскольку В. Паенковский (*Pająkowski W.* Ilirowie ='Ιλλυριοί = Illyrii proprie dicti: siedziby i historia, próba rekonstrukcji. Poznań, 1981) не учитывает этого племени в числе иллирийских племен.

[8] В свете толкования этнонима праслав. **bьrzьti* из праформы и.-е. **bhṛĝhṇt-* выигрывает в правдоподобии этимология прилагательного **bьrzъ* 'быстрый, скорый' как производного от корня и.-е. **bherĝh-*, т.е. толкование из праформы **bhṛĝhos* прилаг. 'высокий,

большой' (*Rozwadowski J.* Wybór pism, t. 1.: Językoznawstwo indoeuropejskie. W-wa, 1961, 172). Семантическое изменение должно было бы протекать следующим путем: 'высокий' > 'широко шагающий' > 'быстро передвигающийся' > 'быстрый'. Эта этимология кажется тем более вероятной, что она объясняет факт неясной депалатализации в лексеме и.-е. **bherĝhos* в праслав. **bergъ* 'берег, возвышенность'. Семантические преобразования корня **bherĝh-* 'высокий, большой (как гора)', произошедшие в отдаленном прошлом на основе тех индоевропейских диалектов, из которых развились славяне, повлекли за собой забвение семантической мотивации лексемы **bherĝhos* 'гора', причем последнюю начали ассоциировать с корнем и.-е. **bhergh-* 'беречь, стеречь, охранять': праслав. **bergti, *bergǫ* (Pokorny I, 145) и вместе с тем понимать ее как 'то, что ограждает водный поток или водоем' > 'берег'. Сближение настоящего этнонима с прилаг. **bьrzъ* отнюдь не лишено оснований, хотя фигурирующее здесь различие в продолжении и.-е. **r* (аналогичное оппозиции праслав. **žьrǫ* — **žerti* 'жрать, пожирать' и **gъrdlo* 'горло' < и.-е. **gʷerH-* 'поглощать, пожирать') и противоречит непосредственной деривации.

[9]В целях определения локализации племени *Fresiti* мы использовали критерий географической очередности при перечислении названий, который Ловмянский (*Łowmiański H.* O identyfikacji nazw Geografa bawarskiego // Studia źródłoznawcze. T. 3, 1958, 8—10) признал ложным. В подобном заключении повинны прежде всего произвольные построения и взгляды других исследователей, злоупотреблявших этим критерием без всякой меры. Ловмянский признает, правда, что географический порядок расположения названий имеет место в первой части сочинения, где племена 1—13 согласно нумерации в опубликованном Ловмянским (*Łowmiański H.* O pochodzeniu Geografa bawarskiego // Roczniki historyczne. T. 20, 1951—1952, 16—18) тексте источника перечислено поочередно в направлении с севера на юг, но он не соглашается с действенностью аналогичного критерия для прочих частей сочинения. Относительно отрезка от *Ungare* (47) до *Besunzane* (53) он констатирует тенденцию к очередности названий, впрочем крайне непоследовательную: "группа обнаруживает в своем географическом составе следующие направления — северо-западное (*Ungare — Uuislane — Sleenzane — Lunsizi*), восточное (*Dadosesani*), юго-западное (*Milzane*), восточное (*Besunzane*)". Кроме того, он наблюдает значительные перескакивания в пространстве, что будто происходит "из-за соседства в записке венгров, которые в середине IX в. находились где-то в причерноморской полосе, и вислян". Оба замечания недостаточно обоснованы. Я предложил строго широтное направление перечисления названий в тексте: Перемышльская земля (47) — Краковская земля (48) — Силезия (49) — Лужица (50—53). Более пространное описание последнего района является отчасти результатом политического расчленения Лужицы, отчасти — следствием его близости к границам франкского государства и потенциальной торговой важности для франкских купцов. При изложенной в тексте локализации венгров в Перемышле не наблюдается никакого перескакивания, потому что соседство венгров и вислян остается тогда вне всякого подозрения. Вопреки мнению Ловмянского, применение критерия географической очередности я считаю допустимым, особенно когда отказывает, как в данном случае, топонимический критерий идентификации названий. В то же время я согласен с этим исследователем в том, что касается строгости его применения. Исходя из этих мотивов, я осуществил контроль правильности критерия географической очередности в случае с *Fresiti* с помощью двух других методов локализации этого племени (П. 4).

[10]*Macartney C.A.* The Magyars in the Ninth century. Cambridge, 1968, 96.

[11]*Macartney C.A.* Op. cit., 94; *Marquart J.* Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Etnologisch und historisch = topographische Studien zur Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts. Leipzig, 1903, 35; *Łowmiański H.* Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e.t. V. W-wa, 59.

[12]*Szymański W. — Dąbrowska E.* Awarzy, Węgrzy. Kultura Europy wczesnośredniowiecznej, Z. 5. Wrocław etc. 1979. 235—236.

[13]Локализация венгров в окрестностях Перемышля полностью согласуется с показаниями других источников. Прапольское племя лендзан, фигурирующее в сочинении Константина Багрянородного в виде Λενζανῆνοι и Λενζενίνοι как племя, платящее дань Киевской Руси, обитало „несомненно" где-то на польско-русской границе. Поскольку венгры сделали из имени этого племени (праслав. **lędjane*) общее название для

поляков: ст.-венг. *lengyen* > венг. *lengyel*, само это племя должно было занимать наиболее южные районы упомянутой пограничной полосы, так как только тогда оно могло, с точки зрения венгров, представлять всю совокупность прапольских племен. Помимо этого, венгры, за время пребывания в Перемышльской земле сосуществовали с тамошним славянским племенем, от которого без сомнения переняли различие между восточными и западными славянами. Не оно ли способствовало появлению венгерского названия поляков? Намеченную здесь проблему прапольских племен на восточной периферии их расселения я оставляю для рассмотрения в очередной статье этой серии.

[14]*Łowmiański H.* Początki Polski. t. II. 96—99.

[15]Там же.

[16]Аналогичное искажение можно допустить для написания *уличи* у Нестора, если оно представляет форму **uhliči* из *угличи* (параллельное написание, засвидетельствованное в Повести временных лет). Но не исключены и другие объяснения этой дублетности, например мысль о заимствовании иноязычного субстрата или суперстрата (*Трубачев О.Н.* О племенном названии *уличи* // ВСЯ. 1961, 186—190) или выведение из праформы праслав. **ǫdlitji* (ср. запись Баварского географа середины IX в.: *Unlizi*, фиксирующую носовой звук, а возможно, также упрощение группы согласных **dl*), причем распространенная форма *угличи* могла происходить из Новгорода, поскольку как раз Северная Русь сохраняет праслав. **dl* в форме *gl*. Недостатком этой последней гипотезы является неясная основа деривации, что совсем не удивительно, поскольку в свете праславянской системы словообразования этноним **ǫdlitji* следует понимать как потомков племени **ǫdljane*, переместившихся за пределы первоначального ареала (*Moszyński L.* Głos w dyskusji nad pochodzeniem nazwy plemiennej Obodrzyców 1979; Z zagadnień słowotwórstwa prasłowiańskich nazw plemiennych // Etnogeneza i topogeneza Słowian. W-wa, 1980. 71—72.

[17]*Moszyński L.* Głos w dyskusji nad pochodzeniem nazwy plemiennej Obodrzyców// Opuscula Polono-slavica. Wrocław etc. 1979. 242—243; *Idem.* Z zagadnień słowotwórstwa prasłowiańskich nazw plemiennych. // Etnogeneza i topogeneza Słowian. W-wa, 1980. 71—72.

[18]*Georgakas D.J.* Ichthyological terms for the sturgeon and etymology of the international terms Botargo, Caviars and congeners. A linguistic-philological and cultural-historical study // Pragmateiai tes Akademias Athenon, t. 13. Athens, 1978, 124—125.

[19]*Рудницкий Я.Б.* [Рец.:], *Georgakas D.J.* Ichthyological terms ... // Этимология 1980. М., 1982, 177—179.

[20]Там же, 178. Примечание О.Н. Трубачева.

Перевод с польского *О.Н. Трубачева*

Т.В. Горячева

К СЕМАНТИКЕ И ЭТИМОЛОГИИ СЛАВЯНСКИХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И АСТРОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

В данной статье речь пойдет об этимологии и некоторых семантических моделях названий пасмурного неба, дождя, а также лунных фаз.

Еще А. Афанасьев в своих "Поэтических воззрениях славян на природу" писал: "В древнейших поэтических представлениях облака уподоблялись небесным покровам (тканям), волосам, шерсти, пряже..."[1]. Это находит свое подтверждение в лексике, относящейся к сфере метеорологии в славянских языках. Так, в русских (архангельских) говорах слово *волоса́н* значит 'туча, облако удлиненной формы'. "На не́бе дожли́вы волоса́ны, до́лги таки́ по́лосы" (Арханг. словарь 5,

52); там же записан такой контекст: "*Волосатыйе* облакá идýт г дожджý" (Там же, 53). В кашубско-словинском языке записано слово *povłosòvka* в значении 'облака, разорванные на полосы, похожие на волосы' (Sychta IV, 151), а также глагол *vłosovac* — об облаках 'разрываться на полосы' "To ʒis *vlosëje*" (Там же, VI, 92). В самоковском говоре болгарского языка глагол *бучàвим се* значит 'спутываться о волосах', *бучàви се* — 'покрываться облаками, портиться (о погоде)'[2]. Ср. также словен. *kundravo vreme* 'пасмурная погода' (Pleteršnik I, 487), у С. Есенина — "Пойду по белым кудрям дня..."

Облака могут быть сравнимы также с ворсом, бархатом, шерстью; в украинском языке есть глагол *завóрсити*: "*Завóрсилося* на дворе" — 'Небо в тучах' (Гринченко II, 22). В ярославских говорах записано слово *бархаточка* в значении 'облачко' (Филин 2, 123). На связь обозначений в индоевропейских языках облачного неба с шерстью, пухом указывает лат. *lāna*, имеющее значения 'шерсть (преимущественно овечья), пряжа; растительный пух, хлопок; легкие облака "барашки"'[3]. Ср русское *барашки* 'облака'. Пасмурное небо может не только быть покрытым волосами, ворсом, но и может порастать травой. Так, в русских говорах на территории Мордовской АССР есть глагол *замурáвливать* 'покрываться тучами, облаками (о небе)' (Мордов. словарь Д-И, 85—86), образованный от *мурава* 'трава'. Ср. кашуб.-словин. *kv̑itnǫc* 'собираться (о дожде)': Dešč *kv̑itńe*, bo są b'aranḱi r'ozχoʒǫ. Xmurë *kvitnǫ*, mʒe dešč (Sychta II, 316). В словенском языке *nebȍ cvetè* — 'небо покрыто барашками' (Хостник, 140). Интересно, что кашубы приписывали воде свойства растений, так, например, они верили, что перед праздником святого Яна вода цветет не только в прудах, реках и озерах, но даже море цветет (Sychta VI, 94). Ср. также название первого снега — *первая роща* (записано мною в Подмосковье).

Дождь также может уподобляться семенам растений, например, кашуб.-словин. *vřosëc* значит 'моросить'. Сыхта отмечает, что, согласно народной этимологии, это намек (аллюзия) на легкие семена вереска, переносимые ветром (Sychta VI, 112).

В русском языке некоторые обозначения пасмурного неба, дождя, росы, измороси восходят к праслав. **mъхъ* 'мох'. Так, в архангельских говорах записано слово *мухóриться* в значении 'пасмурнеть' (Подвысоцкий, 94) которое М. Фасмер связывает с *мох* (Фасмер III, 19); сюда же читин. *мухриться* 'хмуриться (о небе)' (Филин 19, 39). К праслав. **mъхъ* в русском языке восходят: костр. *мохá* 'мелкий дождь' (Картотека СТЭ), белозер. *пáмха* 'изморось'[4], *пóмоха* 'мгла, туман, горькая роса или пар, вредящий хлебу' (Даль[2] III, 275), сюда же блр. (гомел. *імшэ́ль* 'дождь (мелкий)' и забайк. *замшáльничать* 'начаться осени, листопаду' (Элиасов 125), а также подмоск. *замшúть* 'засыпать, замести снегом' (Иванова. Подмоск. 156).

Здесь следует отметить наблюдающийся в индоевропейских языках семантический переход 'влага' → 'плесень, мох'. Ср., например, с.-хорв. *вŷга* 'плесень' (< праслав. **vьlga* 'влага') (РСА III, 114), а также восходящие к и.-е. *meu-*, *meu̯ə-*, *mū̆* 'влажный, гнилой, нечистая жидкость и т.д.' (с гуттуральным формантом) норв. диал. *musk*

'пыль, мелкий дождь' и дат. диал. *musk* 'плесень', лат. *muscus* 'мох' (Pokorny I, 742). К и.-е. *meus-, musos* (< и.-е. *meu-, meu̯ə-, mū̆* 'влажный, гнилой и т.д.') восходит и праслав. **mъхъ* 'мох' (Там же).

В родопских говорах болгарского языка записан глагол *му́ши* 'идти (о дожде, снеге)'[6], который, по мнению Ж.Ж. Варбот, вместе с чеш. морав. *zamoušeno na dejšč* 'пасмурно к дождю', *smouši se* 'темнеет' (сюда также *zasmoušely den*) восходит к праслав. **mušiti* с исходным значением 'колоть, бодать, пихать, совать' и вторичными значениями, распределенными по диалектам: 'затыкать; прикрывать; стаскивать; моросить; хмуриться', от которого образованы также болг. литер. *му́ша* 'колоть, бодать, совать', родоп. *смýшва са* 'стаскиваться и т.д.'[7] Однако, можно предположить, что перечисленные выше чешские (моравские) лексемы, а также родоп. *му́ши* 'идти (о дожде, снеге)' родственны праслав. **mъхъ* 'мох', и их корневой вокализм *-u-* представляет собой ступень чередования по отношению к его корневому гласному -ъ-. Приведенный выше глагол *мухориться* 'пасмурнеть', предположительно связываемый Фасмером с *мох*, позволяет установить семантическую модель 'покрываться, порастать мохом, космами' (лошадь с рыла *мухра* (перм.) 'космата' — Даль[2] II, 363) → 'пасмурнеть' (о небе). Ср. также болг. родоп. *му́ши* 'идти (о дожде, снеге)' и костр. *моха́* 'мелкий дождь', подмоск. *замшить* 'засыпать, замести снегом'.

В вологодских говорах записан глагол *муши́т* 'тошнит, есть позыв к рвоте'[8]. Его, вероятно, можно связать с болг. *мухана́тый* 'брезгливый' (Геров 3, 93), кашуб.-словин. **mēšlac,* представленном в префиксальном *vëmēšlac* 'быть прихотливым в еде' (Sychta VII, 165), макед. разг. *мушичка* 'прихоть, каприз'. Рассмотрим с точки зрения семантики праслав. **brězgovati*, которое образовано от **brězgъ* I, имеющего такие продолжения в славянских языках, как чеш. *břesk* м.р. 'терпкий вкус', укр. диал. *бреск* 'сырость, плесень' (ЭССЯ 3, 18—19). Итак, 'быть заплесневелым, с терпким вкусом' → 'вызывать брезгливость'. Если это так, то эта семантическая параллель позволяет включить в гнездо продолжений праслав. **mъхъ* (со ступенью чередования) приведенные выше слова, тем более, что в то же гнездо входит, по мнению некоторых этимологов, также со ступенью чередования болг. *мухъл* 'плесень' (Фасмер III, 19). Ср. также пск. *мо́хонь* 'плесень' (Картотека Псковского областного словаря). Близость значений 'брезгливый', 'быть прихотливым в еде', 'тошнить' и 'плесень' вполне допустима. Значение макед. разг. *мушичка* 'прихоть, каприз' развилось, возможно, из первоначального более конкретного '*брезгливость, прихоть в еде'. Ср. еще вят. *помши́ться* 'умереть, скончаться' (Даль[2] III, 276) — т.е. 'покрыться мохом, плесенью.'

В русском языке существует также семантическая модель 'покрываться лохмотьями, клоками' → 'пасмурнеть (о небе)'.

Уже Афанасьев писал в "Поэтических воззрениях славян на природу" о представлении облаков одеждой бога, о "вержении с неба ветхого рубища" (т.е. тучи, разорванной громовыми ударами)[9].

Так, в русских говорах глагол *клы́читься* (брян.) (от *клок*) кроме значения 'путаться' имеет значение 'закрываться тучами,

заволакиваться', т.е., очевидно, 'покрываться спутанными клоками облаков'. "Что-то небо седня *клычится,* будет дождь" (Филин 13, 317).

В Словаре русских говоров на территории Морловской АССР представлен глагол *лухма́нить* в значении 'заволакиваться тучами, облаками (о небе)'. "Эх, *лухманит* што-тъ, навернъ, дощ пайдёт!" (Мордов. словарь 3, 135). *Лухма́нить*, очевидно, образовано от существительного *лухман.* Даль в своем словаре приводит нижегородское *лухма́н* (вариант *лухма́нь*) в значении 'мужиковатый и олуховатый, грубый простак', тверское *лу́хман* — 'простофиля' (Даль[3] II, 711); во владимирских говорах *лу́хман* — 'неловкий, нескладный, неуклюжий человек' (Филин 17, 208). Сюда же, видимо, относится арханг. *лухмя́га* 'добрый, сострадательный человек, добряк' (Подвысоцкий 84), тобол. *лухме́тко* 'прозвище простоватого человека' (Филин 17, 208). От слова *лухман,* приведенного выше, образовано, вероятно тульск. *болухма́нный* 'бессмысленный, бестолковый', 'крикливый, неспокойный, крайне возбужденный, бестолковый' (Филин 3, 84), в котором можно выделить экспрессивный префикс *бо-*, а также (с префиксом *бу-*) тамб. *булухма́н* 'озорник, шалун', *булухма́ниться* 'шалить, озорничать, баловаться',куйбыш. *булухма́нный* 'беспокойный, капризный', *булухмё́нный* то же, *булухма́титься* 'быть возбужденным, беспокойным, не сидеть на месте, ерзать' (Филин 3, 271), куйбыш. *булыхма́нный* 'то же, что булухманный', *булыхма́титься* 'то же, что булухма́титься' (Филин 3, 273).

Существ. *лу́хма́н,* приведенное выше, вероятно, является экспрессивным вариантом *ло́хман* (*о* → *у* в безударном положении, как в перм., олон *му́роси́ть* 'моросить' — Филин 18, 358), которое имеет в русском языке, в частности, такие значения: 'лохмотья, отрепья' (ряз., влад.), 'неряшливый человек; неряха' (Эст. ССР), 'простофиля, растяпа, дуралей' (псков., твер.) (Филин 17, 160—161). Здесь очевиден семантический переход 'лохматый' → 'неряшливый человек; неряха' → 'простофиля, растяпа, дуралей'. Ср. яросл. *мухры́ско* 'простак' (Яросл. словарь 6, 69), *мухры́га* 'замухрыжка, замарашка, неряха' (Даль[2] II, 363), перм. *мухра́* 'косматa' ("Лошадь с рыла *мухра*" — Даль[2] II, 363), где наблюдается такое же семантическое изменение.

Существительное *лохма́н* является продолжением праславянского **loxmanъ*, производного от корня **lox-* с суф. *-manъ* (ЭССЯ 15, 250—251), которое является вариантом **lax* в **laxъ*, *laxty* и т.д. и восходит к **laks-*, будучи родственным греч. λακίς, λάκος, далее — λακίζω 'раздирать', лат. *lacer* 'разодранный, разорванный', *lacerāre* 'драть, рвать'. "В основе этих слов лежит, по-видимому, и.-е. **lek-* 'летать, быстро двигаться', ср. практическое единство греч. λακτίζω 'пинать ногой' и λακίζω 'раздирать', а также (что не менее существенно) реальный зрительный образ развевающихся, разлетающихся по ветру обывков одежды, лохмотьев" (ЭССЯ 14, 19).

Можно предположить, что слово *лухма́н* имело не зафиксированное в словарях значение '* лохмотья, отрепья', и тогда, *лухма́нить* 'заволакиваться тучами, облаками (о небе)' могло значить первоначально 'покрываться лохмотьями, отрепьями облаков, "разлетающихся

по ветру"'. Но вероятны и два других объяснения: *лухма́нить* могло первоначально значить 'мутиться (о небе)' < 'становиться бестолковым (о человеке)'; или же 'возбуждаться, беспокоиться (о человеке)' → 'заволакиваться тучами, облаками (о небе)'. Ср. кашуб.-словин. *pob'egnǫc* 'стать пасмурным' *Pob'egłe nebo* (Sychta IV, 94). Слово *олух* 'простак, простофиля, ротозей; вялый, глуповатый, грубый, неуч' (Даль[3] II, 672) до сих пор не имеет однозначного этимологического решения. Представляется возможным выделить в нем префикс *о-* и слово *лох*, которое в русских диалектах значит: 'дуралей, ротозей' (псков.), 'мужик' (влад., костр.), 'лентяй' (волог". (Филин 17, 160); в *о́лух* — переход *о* → *у* в безударной позиции (экспрессивного характера). Сюда же твер. *ло́ха* 'солоха, дура, глупая баба, дурища, дурында' (Доп. к Опыту 104), ворон. *ло́ха* 'плут, мошенник' (Филин 17, 160). В ЭССЯ для *лох, лоха* реконструируется праслав. форма **loxъ/*loxa* и приводится мнение М. Фасмера о связи *лоха* с **лошь* 'плохой' (ЭССЯ 15, 255). Нельзя ли эти слова считать продолжениями праслав. **lox-* 'лохмотья', которое дало праслав. **loxmy*, **loxmanъ* и т.д.; т.е. здесь возможен был переход от значения 'лохмотья' к значению 'неряшливый человек' и, затем, к значению 'дурак, олух'. Ср. продолжение праслав. **laxъ* (варианта **loxъ*) — польск. *łach* 'лохмотья, рваная одежда' (Karłowicz III, 57—58).

На существование у русского *лох* первоначального значения 'лохмы, лохмотья', возможно, указывает прилаг. *лохоу́хий* (наряду с *лохмоу́хий*), а также *лоховес* (псков.) в значении 'ротозей, разиня, вислоухий' (Даль[2] II, 269). Ср. выражение *вислоухий олух* (там же, 672).

Рассмотрим теперь некоторые названия луны, ее фаз, состояния ее убывания.

В.И. Даль приводит в своем Словаре тамб. *шпяхта*, а также наречие *на -шпях* (и *нашпях*) в значении: '(о луне) убыль, на убыли, ущерб'. "Месяц *на шпях, на шпяхте*. Что-то скажет времечко *на шпях*, о погоде" (Даль[3] IV, 1431). Во втором томе он дает наречие *нашпях* в значении 'на ро́станях, на распутьи, на перекрестке' (там же, II, 1300). Фасмер считает тамб. *шпяхта* 'убыток, вред', наречие *на шпях* 'на убыль' темным словом (Фасмер III, 476). Даль предполагает, что *шпяхта, на шпях* — образования от *спешить* (Даль[3] IV, 1431).

Не исключая возможности заимствования, это трудное слово можно попытаться проэтимологизировать следующим образом: слово *шпяхта*, вероятно, возникло позднее, вычленившись из ставшего темным наречия *на -шпях*, приобретя затем *-та* таким же образом, каким, например, в слове *опорт* (из *опор*) 'опор, прыть' (Во весь *опорт* скакать, нестись. — Филин 23, 282) появилось *-т*.

Что же такое наречие *на -шпях?* Его, очевидно, можно поставить в один ряд с такими наречиями, как, например, *начася́х* 'в последние дни беременности; на сносях' (твер. — Филин 20, 281) — от *час*, твер. *наглазках* 'с глазу на глаз' (Филин 19, 198), от *глазок*; ленингр. *накану́нях* 'накануне' (Там же, 306), от *канун*; псков. *напоследя́х* под конец, в завершение всего, напоследок' (Филин 20, 92), от *послед* и т.д.

В обозначениях фаз луны мы встречаем костр. *месяц на рогу́* 'первая и последняя четверть луны', *месяц на укиде* (*на укидке*) 'месяц на ущербе', иркут. *месяц на исходе* то же (Филин 18, 132), вост.-сиб. *месяц наи́сполню* 'о полнолунии' (Там же, 19, 297).

Наречие *на -шпях* — название фазы убывания, ущерба месяца — может быть образовано от существительного **щеп(ь)* 'убывание, ущерб месяца', которое зафиксировано только в древнерусском языке: *щьпь* = *щепь* 'ущерб (о луне)' "Нн҃ѣ же д҃ї бѣ лоуны, егда не мо^{ш}но быти щѣпе^{м} соскѫдѣ^{N}ю по ес^{т}тву", XVI в., а также *щьпь* = *щепь* то же "Аще бы время *шепомь*" (Срезневский III, 1616). Также у Срезневского находим *ущип* 'ущерб': "Бываетъ ѹщипъ лѹнѣ д҃ї и полдни и четверть"(Срезневский III, 1346). Соответствия дневнерусскому *щь(е)пь(ъ)* 'ущерб (о луне)' находим в сербохорватском *ȕštap* 'полнолуние', *uštàpnuti se* 'ущербиться, пойти на ущерб (о луне)' (Iveković-Broz II, 671), *užba* 'полнолуние' (сокращенная форма из оуштьпьба — там же, 692), также словен. *ščèr, ščerà* = *ščìp* 'полнолуние' (собственно, месяц в 3/4 фазе) (Pleteršnik II, 619), *ščȋp* то же: *ščip je, o ščipu;* luna gre v *ščip,* je v *ščipu* (Там же, 620—621). Булилович в своей книге приводит также хорут. *šip, žip* 'полнолуние', предполагая стяжение из *štip*, хорв. *usctap* то же, *uscpa* то же[10].

Существительное **щеп(ь)* 'убывание, ущерб месяца', представленное во множественной форме в наречии *на -шпях*, в аллегровой речи претерпело изменение: **на -щепях* → на -шпях. Ср. например, древнерусское *шьтина* = *штина* вм. *шестина* 'шестая доля' (1576 г. — Срезневский III, 1606). Ср. также польск. *księżyc na zmianie, lub na zmianach* (множеств. число!) 'о меняющейся фазе месяца'[11], *księżyc na starych dniach* 'об убывающем месяце'[12], или же полесское обозначение ущербного месяца *на сх́одних днях*: "По этой же причине не рекомендуется сновать и "*на сходних днях*", когда месяц на ущербе: "На́да снова́ць кро́сна пад по́ўню, бо *на схо́дних днях* пага́на: *на схо́дних днях* на́да бага́та кро́снаў на асно́ву[13].

Наречие *на -шпях* значит еще и 'на ро́станях, на распутьи, на перекрестке'... Здесь, вероятно, **щеп(ь)* — нечто расщепленное, расходящееся, расходящиеся дороги, собств. *расщеп*. Ср. родственное словен. *cȇp* 'расщеп' (Хостник, 13).

Как же объяснить выражение *времечко на шпях* (о погоде)? Здесь нужно сказать, что народные представления о погоде тесно связаны с фазами месяца. Может быть, *времечко на шпях* — 'погода в дни ущербного месяца', или же — 'погода на перепутьи?

Интересно, что в чешском языке есть глагол *vyštípil se (den)* — 'прояснился после пасмурного утра', который Махек относит к *třībit se* 'проясняться (о небе)' (Machek^{2}, 626). Однако представляется возможным возвести его к праслав. **ščipati* 'щипать' и считать родственным др.-русск. *щьпь* = *щепь* 'ущерб (о луне)'; т.е. день "прощипался", продрался сквозь пасмурность. Сюда же, вероятно, словен. *oščœpāt*ь 'wyleczyć'[14]; названия физического состояния человека и состояния погоды часто бывают одними и теми же. Ср. также блр. туров. *росшчэпіцца* 'разверзтись, раскрыться': Небо *рошчэпілосо* (Тураўскі слоўнік 4, 328).

В одном из диалектных текстов, приведенных Л.И. Царевой в статье "Названия луны в русских народных говорах", читаем: "Перпы нъраждаецца мъладик, тады бо́льшы, бо́льшы, тады пълната́, патом пълави́на, тады трити́на, а тады загнуряецца — виташок"[15]. Из контекста можно определить значение глагола *загнуряться* — это, видимо, — 'уменьшаться, ущербляться (о луне)', т.е. здесь образ изнуряющейся, ветшающей луны. Ср. псков. *ветшане́ть* 'идти на убыль (о луне)' ("Малади́к идёт да палнаты́, а пато́м вётах пашо́л, он ужэ *витчане́е*" — Псков. словарь 3, 130), а также др.-русск. *охудѣти* 'уменьшаться' ("Видимъ по вся мсца кончевающуюся луну и *охудѣвшу*. XV в. — СлРЯ XI—XVII вв., 14, 88), лат. *luna senescit* 'луна на ущерб' при *senēsco, -ere* 'стареть; хиреть, слабеть, ослабевать; терять силу; кончаться; меркнуть'[16], лтш. *mēness dilst* 'луна (месяц) на ущерб' при *dilt* 'изнашиваться'.

В *загнуряться* мы можем выделить *-гнуряться*, в котором представлена протеза *g-*; ср. н.-луж. стар. диал. *pognuriś* 'тонуть, погружаться', сербохорв. *gnjuriti* 'погружаться, окунаться' при н.-луж. *nuriś* 'нырять' и т.д.[17] Все эти глаголы восходят к праслав. **nuriti*, которое сближают с греч. νυρεῖνύσσει, νεύω 'киваю', др.-инд. *navatē, nāuti* 'оборачивается', лат. *nuō, -ēre* 'кивать', *nūtō, -āre* 'качаться' (Фасмер III, 90).

Одна из фаз месяца 'новолуние' в олонецких говорах носит название *наперекрос* (Барсов I, XI). Это слово, приведенное в причитаниях Северного края Барсовым, может быть и опечаткой вместо *наперекрое* (русск. месяц *на -перекрое* переходит из полнолуния в четверть. — Даль[3] III, 156). Возможно также, это свернутое предложение *месяц пошел наперекрос* — т.е. 'переходит к новолунию?' Если слово *наперекрос* действительно существовало в олонецких говорах, то в нем можно выделить слово **перекрос* в гипотетическом значении '*перерез, пересечение' и, далее -**крос* 'разрез'.

Имя *кроса́* в предполагаемом значении 'раз' выделено В.А. Меркуловой в брянском фразеологизме *самьја у кросу* — 'в самый раз, как раз'. Она допускает, что для имени *кроса́* производящим глаголом является праслав. **kresati* 'высекать огонь, ударяя камень о камень', 'резать', 'ломать, бить, колотить', 'тесать', 'выдирать, полоть'. Далее она сравнивает с *кроса́* ст.-чеш. *krosina* 'идол, кумир', производное от глагола *kresati* в значении 'тесать, придавать форму'. Для слова *кроса́* ею предполагается следующий путь образования: **kresati* 'ударять кресалом по кремню' → **krosa* 'удар кресала по кремню', перен. 'раз'[18].

Здесь нужно добавить, что в рязанских говорах встречается наречие *крос* в значении 'нормально, как должно быть': ("Ну во́т, кася́к уш гато́в (у плотника), пыдагна́ть йао́ и са́май *крос*". — Ванюшечкин 1 (А—И), 193), т.е. *са́май крос* — 'самый раз'. В тех же рязанских говорах Ванюшечкиным записаны наречия *вкрос* (*х крос*) и *вкро́су* (*х кро́су*) в значении 'редко, изредка' ("Да *х вкросу* дагля́дыйу зы тваи́ми ребя́тыми, пушша́й дако́ль игра́йут." — Там же, 68), т.е. "раз от разу".

У имени *крос(а́)*, видимо, было также значение 'разрез', возможно,

оно было первоначальным, а затем уже 'отрезок времени, раз'. Сюда же, возможно, относится и блр. диал. *кроскі* 'маленькие караваи' (< 'краюха, ломоть, кусок хлеба'?), которое авторы Этимологического словаря белорусского языка предположительно возводят к **крохкі* и сравнивают с *круха₂*, праслав. **kruxъ* 'хлеб'[19].

С *наперекрос* 'новолуние' можно сравнить семантически рус. *на-перекрое* (о месяце)'переходит от полнолуния в четверть', приведенное выше, а также укр. *перекій* в значениях 'разрез' и 'луна во второй четверти' (Гринченко III, 122), образованные от глагола **krojiti*. Ср. еще у А. Афанасьева: "Форма полумесяца невольно наводила фантазию на думу о рассеченном его лике, в наших областных наречиях умаляющийся после полнолуния месяц называется *перекрой* (от *кроить* — резать)"[20]. Ср. еще в польских говорах образованное от глагола *skrajać* 'нарезать' название последней четверти луны *skrajka*. Вот что пишет об этом В. Купишевский: "Od czasowników skrajać, krajać, skrawać pozostaly nazwy skrajka (księzyca), skrajeczka, krawka, skrawka. ...W języku słoweńskim znane są: krȃjec, krȃjčék 'ćwierć księżyca' Plet., także w gwarach słoweńskich pə̑rvi krȃjec (w Kosatec), pə̑rvə kráic (w. Rybnica), krajc (w. Križe)"[21].

Почему же новолуние связано с разрезом, перерезом? Оказывается, под новолунием понимают не только время, когда луна не видна с земли, но и время, когда виден узкий серп (перерезанная луна). Таким образом, *идти наперекрос* — 'появляться о новой луне в виде узкого серпа'?

Купишевский, анализируя названия лунных фаз, в частности, новолуния, приводит полесское название *na mežách* и укр. (харьк.) *na perechodi*[22]. Ср. также полесское название дня — *перестýпны* 'безлунный день перед появлением молодого месяца'[23]. Возможно, что *идти наперекрос* — о месяце — идти также на пересечение какой-то границы, межи между отсутствием месяца и появлением его в виде узкого серпа?

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Афанасьев А.* Поэтические воззрения славян на природу. М., 1868. II, 17.

[2] *Шапкарев И.К.* и *Близнев Л.* Речник на самоковския градски говор // БД. 1967. III, 205.

[3] *Дворецкий И.Х.* Латинско-русский словарь. М., 1986. 439.

[4] Картотека Словаря белозерских говоров. Череповецкий пединститут. Выписки В.А. Меркуловой.

[5] Матэрыялы для дыялектнага слоўніка Гомельшчыны // Беларуская мова і мовазнаўства. Мінск, 1976. IV, 187.

[6] *Стойчев Т.* Родопски речник // БД. 1965. II, 211.

[7] См.: *Варбот Ж.Ж.* К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. I. // Этимология 1971. М., 1973. 11—12.

[8] *Шайтанов.* Особенности говора Кадниковского уезда Вологодской губ. // ЖСт. Ч. 5. Спб., 1895. III—IV. 393.

[9] *Афанасьев.* Указ. соч. 477—478.

[10] См.: *Будилович А.* Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным // Исследование в области лингвистической палеонтологии славян. Киев, 1878, I. 9.

[11] *Kupiszewski W.* Polskie słownictwo w zakresu astronomii i mair czasu. W-wa, 1974, 53.

[12]Там же. 50.

[13]*Владимирская Н.Г.* Материалы к описанию полесских народных представлений, связанных с ткачеством. Снование // Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983. 236.

[14]*Бодуэн де Куртенэ.* Терские славяне в север. Италии. 1873 г. Словарный материал. Архив АН СССР, ф. 102, оп. 1, № 11, л. 213.

[15]См. *Царева Л.И.* Названия луны в русских народных говорах. // Русская речь. 1978. № 4. 94.

[16]*Дворецкий.* Указ. соч. 700.

[17]См.: *Шустер-Шевц Х.* Славянские протезы в случаях зияния и их значение для славянской этимологии и исторической грамматики // См. настоящий том.

[18]См.: *Меркулова В.А.* Восточнославянские этимологии I // Этимология 1979. М., 1981. 8.

[19]Этымалагічны слоўнік беларуская мовы. Мінск, 1989. 5. 118.

[20]*Афанасьев.* Указ. соч., I. 76.

[21]*Kupiszewski.* Указ. соч. 37.

[22]Там же. 52.

[23]*Толстая С.М.* Полесский народный календарь / Материалы к этнодиалектному словарю. К—II. // Славянский и балканский фольклор 1986. М., 1986. 227.

Ж.Ж. Варбот

К ЭТИМОЛОГИИ СЛАВЯНСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ СО ЗНАЧЕНИЕМ 'БЫСТРЫЙ' I (праслав. **skorъjь, *porkъ(jь))*

Хотя анализируемые ниже лексемы объединены как прилагательные со значением 'быстрый', из этого не следует, что в семантике всех данных слов этому значению принадлежит тождественное (центральное или исходное) место. Речь идет о лексемах, в отношении каждой из которых можно предполагать значение 'быстрый' в качестве хотя бы одного из элементов семантики. Выбор этих слов определен интересом к способам появления подобных славянских прилагательных, а именно — к путям развития значения 'быстрый' в прилагательных с иным первичным значением и к типам мотивации значения 'быстрый' при образовании прилагательных с семантикой 'быстрый' от лексем других частей речи. Две рассматриваемые ниже лексемы представляют, кажется, один тип мотивации.

**skorъjь*

Праслав. **skorъ(jь)* имеет следующие продолжения в славянских языках: ст.-слав. скоръ ταχύς, ὀξύς, celer (скорь мьститель, помощника скораго, скоры проповѣдатель, скораѩ словеса, Miklosich LP 848), болг. *скóрьи* 'сделанный с поспешностью', *скóро* 'быстро; немедленно; наскоро; недавно; не поздно' (Геров 5, 175—176), макед. *скор* 'быстрый' (Конески III, 215), с.-хорв. *skȍrī* 'быстрый; недавний; вкоре ожидаемый, близкий в будущем' (RJA XV, 281—282), словен. *skoren* 'быстрый; вспыльчивый, заносчивый; жестокий, суровый (о зиме)' (Pleteršnik II, 494), *skori, skoraj* 'быстро, почти' (там же), чеш. *skorý, skůrý* 'быстрый, проворный, ранний' (Kott III, 380), словац. диал.

skorý 'ранний, быстрый' (Slovenské Pravno v Turč. ž., Kálal 609), в.-луж. *skoro, skóro* 'вскоре, почти' (Pfuhl 636), н.-луж. *skóro* 'скоро, вскоре, почти, чуть' (Muka II, 423), польск. *skory* 'проворный, горячий, прыткий, склонный, охочий' (Варшавский словарь VI, 165), диал. *skory* 'охочий до работы' (Maciejewski. Chełm.-dobrz. 216), кашуб.-словин. *skori* 'склонный, охочий' (To ńe je čłověk za *skori* do robotë), *skoro* 'быстро' (Sychta V, 57), рус. *скорый* '(о движении) шибкий, проворный, бойкий, быстрый, прыткий; (о сроке) близкий, наступающий, грядущий; (о действии) спешный, немедленный' (Даль[2] IV, 205), укр. *скор, скóрий* 'скорый' (Гринченко IV, 139—140), блр. *скоро*, союз 'как только, лишь, лишь только' (Носович 585), диал. *скóры* 'быстрый, нетерпеливый' (Слоўн. паўн.-заход. Беларусі 4, 456).

В решении вопроса о происхождении праслав. **skorъjь* мнения этимологов в основном совпадают: за исключением неубедительных предположений о родстве с нем. *rasch* (при допущении метатезы в слав.)[1], о родстве с лит. *spẽriai* 'быстро'[2], с лат. *scurra* 'шутник' (Walde—Hoffmann II, 502), в большинстве этимологических словарей **skorъjь* связывается с лит. *skėrỹs* 'саранча', др.-в.-нем. *scerôn* 'шалить, резвиться', ср.-н.-нем. *scheren* 'спешить', ср.-н.-нем. *holt-schere* 'сойка', греч. σκαίρω 'прыгать' (Trautmann BSW 263, Falk—Torp 455, Hofmann 314, Brückner 495, Фасмер III, 654); вся эта лексическая группа возводится к гнезду и.-е. **(s)ker-* 'прыгать, крутиться, качаться' (Pokorny I, 933—934).

Разумеется, семантически данное этимологическое толкование вполне надежно. Весьма вероятно оно и с точки зрения структуры, однако нельзя не отметить некоторого противоречия в реконструкции лексического окружения: при отсутствии в славянских языках глагольных продолжений и.-е. **(s)ker-* 'прыгать', следует считать праслав. **skorъjь* рефлексом индоевропейского образования, но достаточно близких соответствий в индоевропейских языках нет. Не отрицая высокой степени вероятности общепринятого толкования, считаю возможной разработку новой гипотезы, предполагающей установление родства праслав. **skorъjь* в славянской лексике.

Исходя из структуры праслав. **skorъjь* и семантической типологии, можно обратиться к очень разветвленному славянскому этимологическому гнезду с корнем **(š)čer-/*(s)kor-*, восходящему к и.-е. **(s)ker-*, для которого, судя по его продолжениям в индоевропейских языках, следует реконструировать первичную семантику 'резать, стричь, отделять, обдирать' (ср. лит. *kérti* 'отставать, отделаться (о коре, корке)', *skìrti* 'отделять (мясо от кости), разделять', др.-инд. *kr̥ṇati* 'уничтожать', греч. κείρω 'стричь, срубать, общипывать, истреблять', др.-в.-нем. *sceran* 'стричь, обрезать' и т.д., Pokorny I, 938—393). Начнем с семантического аспекта этого сопоставления. Славянская лексика предоставляет достаточно свидетельств об образовании прилагательных со значением 'быстрый' от глаголов с семантикой 'резать, отделять, обдирать, обрубать': ср. рус. *резвый, резво*, укр. *рíзвий*, кашуб.-словин. *řëšńi* 'проворный' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 978), *razni* 'быстрый' (Sychta IV, 299), чеш. диал. *řažno* и *řezko* 'быстро'[3] — от

**rězati*, **raziti*; польск. диал. *cięto* 'быстро, живо' (Варшавский словарь I, 335) — от **tęti*, **tьnǫ*; чеш. диал. *drly* 'быстрый' (Bartoš 67), словац. *drlý* то же, словин. *dravî* 'быстрый' (Lorentz. Pomor. I, 154), рус. диал. *задо́рно* 'ловко, быстро' (Новосиб. словарь 167) — от **derti*, **dьrati* (см. ЭССЯ 5, 223, 219; *S* P V, 48, 235). Эта семантическая модель известна и другим индоевропейским языкам: ср. лат. *rapidus* — от *rapere* < **rep-* 'обрывать, урывать', греч. ῥαγδαῖος 'стремительный' — от ῥήγνυμι 'разламывать, разрывать, прорывать' (родственного праслав. **rězati*). Возвращаясь к славянским языкам и собственно гнезду **(š)čer-/*(s)kor-*, следует вспомнить о праслав. **čьrstvъjь*, продолжения которого в славянских языках обнаруживают два семантических центра: 'твердый, жесткий' и 'бодрый, быстрый' и для которого наиболее убедительной этимологической версией является образование в пределах гнезда **(š)čer-/*(s)kor-* от глагола **čersti*, **čьrtǫ*, с развитием значения от 'твердый' к 'бодрый, быстрый'(ЭССЯ 4, 160). Следовательно, с точки зрения семантических связей принадлежность **skorъjь* к гнезду **(š)čer-/*(s)kor-* достаточно вероятна.

Судя по корневому вокализму в ступени **o* в **skorъjь* и по исконно глагольному характеру гнезда **(š)čer-/*(s)kor-*, непосредственной производящей основой для прилагательного должен был быть глагол с корневым вокализмом в ступени **e*. Продолжением этого глагола, хотя и с преобразованной структурой основы — вторичной -*i*-основой, может быть праслав. **ščeriti* (чеш. *šteřiti* 'скалить', польск. *szczerzyć* (zęby), в.-луж. *ščeřić*, н.-луж. *ščeriś* то же, рус. *щерить(ся)* 'скалиться', диал. *още́риться* 'сильно рассердиться', укр. *вúщирити* 'скалить', блр. *ще́рыць* — Фасмер IV, 504—505; Machek[2] 627). Ср. также вариант без *s*-mobile — праслав. **čeriti* (болг. диал. *чо́рлъ* 'трепать волосы', чеш. *čeřiti* 'шевелить, рябить', словац. *čerit'* то же, укр. диал. *черúти* 'облупливать кору', блр. диал. *чырыць* 'тащить, царапая' — ЭССЯ 4, 66).

При сопоставлении значений прилагательных, продолжающих праслав. **skorъjь* в отдельных славянских языках ('быстрый, проворный, склонный охочий, вспыльчивый, жестокий, недавний, немедленный, грядущий'), со значениями глаголов, продолжающих **ščeriti* ('скалить (зубы), сильно рассердиться', ср. еще для **čeriti* - 'облупливать кору; тащить, царапая; трепать'), приходится отметить отсутствие непосредственной связи адъективной семантики с глагольной, за исключением соответствия между 'сильно рассердиться' и 'вспыльчивый'. Можно было бы предположить образование от глагола со значением 'сильно рассердиться' прилагательного 'вспыльчивый' и дальнейшее развитие значения 'вспыльчивый' → 'горячий, прыткий, склонный, охочий' → 'быстрый'. Однако глагольное значение 'сильно рассердиться' производно от 'скалить (зубы)' и бесспорно праславянским является лишь это последнее, а для 'рассердиться' принадлежность праславянскому состоянию проблематична. Более вероятным представляется другой путь формирования значения 'быстрый', который подсказывают, с одной стороны, семантически аналогичные, с другой стороны — родственные образования. Сопоставление контекстов, содержащих глагол *резать* и прилаг. *резкий* : *резать хлеб, резать правду* и

резкий ветер, резкая речь, резкое движение, диал. *резко бегать* 'скоро' (Даль[2] IV, 121), убеждает в возможности развития значения 'резать' → 'режущий, острый' → 'быстрый'. Второй этап этого развития — 'острый' → 'быстрый'—представлен и в кашуб. *ostri* 'острый' и 'быстрый' (Sychta III, 343), чеш. диал. *ostro* 'быстро'[4], и в греч. ὀξύς 'острый; резкий; пылкий; быстрый' (при первичности значения 'острый'). К гнезду **(š)čer-/*(s)kor-* возводятся др.-рус. *вскоросъ* 'курносый' (= 'с коротким, срезанным носом') и диалектные рус. сев. *скоро́сый* 'сердитый, вспыльчивый'[5], арханг. *скоро́сой* 'вспыльчивый, горячий, скоропостижный', яросл. *скоро́с* 'тороплив, нетерпелив', *скоросоватый* 'горячий, вспыльчивый', а также *корсо́к* ломоть, кусок[6], так что для основы *(с)кор(о)с-* реконструируется семантическое единство 'срезанный, обрезанный' — 'вспыльчивый, горячий' — 'торопливый' при исходном глагольном значении 'резать'[7]. На фоне этих аналогий весьма существенны те значения и словоупотребления продолжений праслав. **skorъjь* в славянских языках, которые могут быть прямыми рефлексами семантики 'обрезанный, острый': это ст.-слав. скоранѩ словеса σύντομαι λόγοι 'краткие слова' (Ио. Дам. Miklosich LP 348) и словен. *skoren* 'жестокий, суровый (о зиме)' = *'режущий, острый' (ср. *резкий ветер*). Опираясь на эти наблюдения, реконструируем для словообразовательной связи **ščerti* - **skorъjь* следующее развитие значения: 'обрезать, ободрать' → 'обрезанный, острый, режущий' → 'суровый (о зиме)', 'вспыльчивый, нетерпеливый, горячий' → 'быстрый' → 'недавний' и 'грядущий'.

**porkъ(jь)*

Словин. *pr̃ăk*, несклоняемое прилагательное со значением 'подвижный, бойкий' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 851), кажется, до сих пор не этимологизировалось. Для выяснения его происхождения представляется существенной омонимия основы прилагательного с существительным *pr̃ăka* 'шип, деревянный гвоздь' (Там же, 851 и 1548). Это последнее должно быть, судя по значению, производным от праслав. **porti* 'пороть, резать' с суф. *-k-* — **porka* (относительно возможности отражения **o* в написании *ã* у Лоренца ср. там же: *pr̃ăs* 'жеребец', *tl̃ăčlc, tr̃ăpjlc*). Впрочем, учитывая, что в праславянских именах с суф. *-kъ* иногда появляется апофоническое **o* (ср. **zorkъ*), можно допустить, что **porka* образовано от **perti* 'резать' (ср. рус.-ц.-слав. *напери* 'проткнул'), родственного с **porti*. В других славянских языках представлено **porkъ* 'метательное орудие, праща', которое толкуется как производное от **perti*, **pьrati* 'бить' (Фасмер III, 331). Вряд ли, однако, эти два имени с тождественной основой **pork-* можно генетически разделить. Скорее, это одна лексема с парадигматической вариантностью **porkъ/*porka* и с первичным значением 'шип', а следовательно — производная от **per-/*por-* 'резать'.

Как же соотносится с праслав. **porkъ/-a* словин. *pr̃ăk* 'подвижный, бойкий'? Если принять во внимание рассмотренную в предыдущем этюде (о праслав. **skorъjь*) семантическую модель 'резать' → 'острый' → 'быстрый', то и словин. *pr̃ăk* 'подвижный, бойкий' (= 'резвый'!) вписывается в нее как производное от **per-/*por-* 'резать' и, следовательно,

генетически и структурно тождественное с существительным **porkъ/-a*. В сущности, речь идет об одной основе, специализировавшейся в двух функциях. Уже атематическое присоединение суффикса к корню свидетельствует о древности **porkъ*, которая для существительного подкрепляется еще наличием соответствий во многих славянских языках. Но и для прилагательного, кажется, есть соответствие за пределами лехитских языков: это др.-рус. *порокыи* 'жестокий (σκληρός, durus); тяжелый, тягостный; трудный, болезненный' (Бысть *пороко родити*. Быт. XXXV. 16 по сп. XIV в.) (Срезневский II, 1214). Семантика жестокости, болезненности, очевидно, может быть самым тесным образом связана с 'резать' и, возможно, непосредственно производна от 'режущий, острый', так что значения словинского и древнерусского прилагательных представляют собою две параллельные линии развития единой исходной семантики.

Более поздним воспроизведением на базе рус. *пороть* той же модели прилагательного, но уже с вокализованным суф. *-ък-* может быть рус. арханг. *по́ркой* 'шибкий, проворный' (Подвысоцкий). Предположение Фасмера о его образовании от *пар* (на основе варианта *па́ркой*, см. Фасмер III, 208) невероятно (скорее вторично *па́ркой*). Даль включил *по́рко* 'бойко, шибко, скоро, прытко' в гнездо *пора́* (Даль[2] III, 310), что приемлемо при условии развития значения 'здоровый, крепкий' → 'проворный', но все-таки первый этап этого развития для *по́ркой* — реконструкция, тогда как семантическое соответствие словин. *prăk* и рус. *по́ркой* достаточно ярко.

* * *

Итак, представляется возможным объяснение образования праслав. **skorъjь* и **porkъ(jь)* со значением 'быстрый' как производных от глаголов с семантикой 'резать, раздирать'. При этом для отглагольных прилагательных реконструируется первичное значение 'обрезанный, режущий, острый', на базе которого как одно из вторичных и развивается значение 'быстрый'. Возможно, однако, что семантическое развитие через стадию 'острый' ('резать' → 'обрезанный, режущий, острый' → 'быстрый') является не единственным путем возникновения прилагательных со значением 'быстрый' на базе глаголов с семантикой 'резать'. Свидетельством другой промежуточной ступени может быть, например, совмещение значений 'твердый, жесткий; сильный, здоровый' и 'быстрый, проворный' в продолжениях праслав. **čьrstvъjь*, производного от **čersti, *čьrtǫ* (см. выше и ЭССЯ 4, 160).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Otrębski J.* Studja indoeuropeistyczne. Wine, 1939, 183.

[2] *Zupitza E.* Etymologien // BB, Bd. XXV. 1899. 103, сноска 1.

[3] *Kott F. Št.* Dodatky k Bartošovu Dialektickému slovníku moravskému. Praha, 1910 (= Archiv pro lexikografii a dialektologii, č. 8). 93, 94.

[4] *Lamprecht A.* Slovník středoopavského nářečí. Ostrava, 1963 (= Publikace Slezského ústava ČSAV v Opavě, sv. 48). 91.

[5] *Меркулова В.А.* Картотека ДРС и этимологические исследования // Проблемы

славянской исторической лексикологии и лексикографии: Тез. конфер. Октябрь 1975 г. Москва. Вып. 4. Теория и практика исторической лексикографии. М., 1975. 62.

[6]*Петлева И.П.* Этимологические заметки по славянской лексике. II //Этимология. 1976. М., 1978. 47.

[7]В цитированной выше работе И.П. Петлевой предлагается объяснение рус. *(с)кор(о)с-* из праслав. **(s)korts-*. Наличие расширения *-t-* здесь, однако, вряд ли необходимо: сопоставление рус. диал. *корсáть* пенз. 'рубить (шашкой), резать (ножом)', самар. 'отрезать или отрывать, отламывать' (Филин 14, 372) с лит. *kar̃šti* 'чесать, теребить (лен)', тох. А *kärṣt-*, В *kärst-* 'отрезать', хетт. *karš* 'обрезать', греч. κορσόω 'стричь' обосновывает правомерность реконструкции праслав. **kъrs-ti*, с последующей тематизацией **kъrsati* (ср. однокоренное **čьrxati/*čьrsati*, см. Ж.Ж. Варбот. К реконструкции и этимологии некоторых праславянких глагольных основ и отглагольных имен. I // Этимология. 1971. М., 1973. 7—8; ЭССЯ 4. 147). Производными от вариантных основ **skъrs-* и **kъrs-* с *s*-mobile и без него и могут быть рассматриваемые русские имена с основой *(с)кор(о)с-*. Особую проблему представляет генетическое соотношение этих имен и с.-хорв. диал. (Crna Gora) *skȍrosati* 'погибнуть, пропасть', болг. *под-скорос(в)ам* 'подстрекать'. Скок допускал для этих последних образование от *skor* с помощью *-os-* под влиянием греческого аориста (Skok III, 266). Скорее, вероятно родство русских имен и южнославянских глаголов на базе праслав. **skors-*, произволного от **(s)kъrs-*. Малоправдоподобным представляется и непосредственное образование рус. *скоросый* от *скорый* (это предположение см.: Фасмер III, 653).

О. Младенова

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ. III*
(8. *скорéц*; 9. *всрап*; 10 *нашчýвам*; 11. *штéкам*; 12. *штрóпе*)

8. Болг. диал. *скорéц* 'червь, который заводится в брынзе' (Севлиевско; Тетевенско), *скóрци* мн. 'волосатые черви, которые заводятся в падали' (Драмско, Геров 6, 292), 'черви' (Момчиловци, Смолянско), *скóрце* мн. 'маленькие червячки, глисты' (Славеино, Виево, Кутела, Смолянско, БД 2, 267), 'черви в протухших продуктах' (Ситово, Пловдивско, БД, 267)[1] уже подвергалось этимологическому анализу. По мнению М. Выгленова[2], речь идет о производном от **skorъ* 'быстрый', как и в с.-хорв. *skȍrac* 'насекомое Oxytelus', *skȍrak* 'насекомое Scolopendra morsitans' (RJA 63, 285). Черви названы так из-за большой скорости передвижения, ср. диал. синоним *скáчка* (Геров 5, 170). Другую этимологию этого болгарского слова выдвигает Р. Бернар[3], считая его, с некоторыми оговорками, заимствованием из греч. σκόρος 'червь, моль', засвидетельствованного уже в среднегреческий период. Это название, как и др.-греч. κόρις 'клоп', κείρω 'режу', является континуантом и.-е. **sker-* 'резать' (Pokorny, 940). Свое допущение о заимствованном, а не исконном характере болгарского слова Р. Бернар обосновывает его изолированностью в славянском мире. На самом деле В.А. Меркулова[4] обнаружила в русских диалектах формы *хорь, скорь* 'моль', наряду с *корь* 'моль; личинка моли', произв. *хорёк* 'жучок, точащий дерево', и проэтимологизировала их как континуанты того же и.-е. **sker-* 'резать', букв. 'режущее, грызущее'. Так как нельзя предположить, что русские диалектные слова заимствованы из греческого, следует считать наибо-

лее правдоподобным, что болг. *скоре́ц*, рус. *скорь, хорь*, с одной стороны, и греч. σκόρος, с другой, являются словами, родственными на индоевропейском уровне.

9. Насколько можно судить, в специальной литературе не упоминается существование болгарского континуанта древнего праславянского существительного **svorbъ* 'чесотка', соотносимого с гл. **svьrběti*: ср. др.-болг. сврабъ (Супр.), с.-хорв. *свра̂б*, словен. *svrâb* 'чесотка, короста', чеш. *svrab*, словац. *svrab*, кашуб. *svorb*, рус. диал. *сво́роб*[5].

В то же время в говоре г. Лома записано слово *всрап* 'чесотка'[6]. Оно объясняется Болгарским этимологическим словарем как производное от *сърбú ме* 'чешется', диалектной передачей *ь через *а (БЕР 1, 195). В северо-западных болгарских диалектах, однако, к которым относится и говор г. Лома, такая передача невозможна[7]. Ломское *всрап* следует объяснять метатезой из **свраб*, что является закономерным континуантом праслав. **svorbъ*.

10. Засвидетельствованное в Банско, Разложко *нашчу́вам* 'натравливать (собаку)' (СбНУ 48), пока не подвергавшееся этимологическому анализу, находит точное формальное и семантическое соответствие в словен. *ščúti, ščújem, ščuváti, ščúvam* 'травить' (Pleteršnik 2, 692). В севернославянских языках употребляются: др.-рус. *чунути* 'усовещивать, бранить', *ущунить* 'сделать выговор', рус. диал. *щува́ть* 'уговаривать', *щуни́ть, щуня́ть* 'журить', укр. *щуня́ти* 'травить', *чва́ти* 'травить, ругать', блр. *щуня́ць, ущу́ниць* 'бранить', *ачуня́ць* 'опомниться, выздороветь', ст.-чеш. *ščváti, ščuju* 'травить', чеш. *štváti* то же, словац. *štvat'* то же, в.-луж. *šćuwać* н.-луж. *šćuś, šćuwaś* 'травить, гнать', польск. *szczuć, szczwać* 'травить'[8].

По мнению Фасмера и Махека, эти слова восходят к праслав. звукоподр. **ščьvati, *ščujq, *ščěvati*. Ж.Ж. Варбот[9] возводит восточнославянские формы (без укр. *чва́ти*) к праслав. *-*jut*-, континуантом которого является, напр., *очути́ться*.

11. В родопских диалектах отмечен глагол *ште́кам* 'натравливать (собаку)' (Смолянско; Асеновградско, БД 2, 306), *ште́кам* (Стойките, Смолянско)[10]. Он является точным формальным соответствием глаголов, отмеченных в севернославянских языках: ст.-чеш. *ščekati*, чеш. *štěkati* 'лаять', словац. *štekat'* то же, в.-луж. *šćekać so* 'дразнить', н.-луж. *šćokaś* 'поносить, ругать', польск. *szczekác* 'лаять', кашуб. *ščekac* то же, рус. диал. *щека́ть* 'говорить громко и быстро, особенно ссорясь', блр. *шчека́ць* 'лаять, браниться'. Для этих глаголов, как и родственных с ними рус. диал. *щека́тить* 'нагло браниться, ссориться, вздорить', с.-хорв. *štèktati*, диал. *štèhtati* 'лаять', предполагают звукоподражательное происхождение (Фасмер 4, 499—500; Machek[2], 624; Skok 3, 413), что не исключает их праславянскую древность.

С семантической точки зрения более всего к болгарским формам приближается верхнелужицкая, претерпевшая такую же эволюцию: 'лаять' → 'заставлять лаять', т.е. 'науськивать, дразнить'. В болгарском, насколько можно доверять диалектной записи, глагол употребляется лишь в прямом значении, по отношению к собаке, а в верхнелужицком — в переносном, по отношению к человеку.

12. Опубликованные в 48 т. СбНУ словарные материалы говора

Банско, Разложко позволяют пополнить еще одним членом не слишком разветвленную группу, восходящую к праслав. **sirupъ*, **strъpъtь*. Речь идет о *штро́пе* 'крутой склон со скалами, камнями и ямами' (СбНУ 48, 543), для которого можно реконструировать праформу **strъpьje*, образованную при помощи собирательного суф. *-ьje* от основы, которая наблюдается в славянских языках лишь в связанном виде, ср.: болг. диал. *стрѣпотен* 'крутой' (Геров 5, 273: орфографически *стрѣпотный*), др.-болг. стрыпътънъ 'неровный' (Зогр., Ма́р., Асем., Сав. кн.), др.-рус. *стрьпьть* 'работа; затруднение, помеха; несчастье', *стрьпьтьныи, стрьпьтькии* 'неровный, трудный (о дороге)'[11]. Изменение начального *стр-* в *штр-* происходит в болгарских диалектах не только перед передними гласными, ср. *страго́ря*, но и *щраго́ря* 'каркать' (Геров 5, 265, 598); *строка́* 'перхоть' (Геров 5, 270), но *штро́ка* 'грязь на теле' (Радово, Стрезимировци, Трънско; Трън; Станьовци, Брезнишко), 'короста' (Брестово, Ловешко; Огняново, Софийско), 'болезнь, эпидемия; хилый человек или животное' (Доброславци, Софийско, БД 2, 113), *штрока́* 'болезнь у щенят' (Брложница, Софийско)[12].

ПРИМЕЧАНИЯ

*Из болгарской диалектной лексики. I (1. *оскърнев, раскарно; 2. сврачвам се; 3. зашна се; 4. можденик; 5. пища*) // Этимология 1986—1987. М., 1989. 85—89; Из българската диалектна лексика. II (6. *набакрачвам са, балагувам, забъкатвам се, избъкатвам; 7. кучка*) // БЕз (в печати).

[1]Все диалектные данные цитируются по статье *Въгленов М.* Няколко лексикални заемки от балканските езици в наши говори // БЕз 16/4, 1966. 376—377.

[2]См. *Въгленов М.* Там же.

[3]См. *Бернар Р.* Българистични изследвания. С., 1982. 338—339.

[4]*Меркулова В.А.* Русские этимологии. III (*нецевенье, хорь, сколудина, хмыз, верпеть*) // Этимология 1977. М., 1979. 92—93.

[5]*Meillet A.* Études, 2, 222; *Меркулова В.А.* Народные названия болезней. II (На материале русского языка) // Этимология 1970. М., 1972. 169—171; *Варбот Ж.Ж.* Праславянская морфонология, словообразование и этимология. М., 1984. 78.

[6]Картотека Болгарского диалектного словаря в Институте болгарского языка в Софии.

[7]См. *Стойков Ст.* Българска диалектология. С., 1968. 101.

[8]*Brückner*, 545; *Фасмер* 4, 509; *Machek*[2], 629.

[9]*Варбот Ж.Ж.* Указ. соч. 145.

[10]Картотека Болгарского диалектного словаря в Институте болгарского языка в Софии.

[11]Подробнее об этом гнезде см. *Sadnik L., Aitzetmüller R.* Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955, 311—312; *Фасмер* 3. 782, 784 и особенно *Меркулова В.А.* Указ. соч. 189—192.

[12]Картотека Болгарского диалектного словаря в Институте болгарского языка в Софии. У этого диалектного слова есть соответствие в сербскохорватских названиях болезней *strȍka, štroka*, см. *Skok* 3. 347.

И.П. Петлева

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПО СЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКЕ. XVII

Славянские лексемы семантической сферы 'скорбеть, горевать, тосковать; скорбь, печаль, тоска' не исследовались в совокупности, некоторые из них не имеют надежной интерпретации, отдельные слова вообще не попали в поле зрения этимологов. Причем необходимо отметить, что семантика такого рода, отражающая различные психологические состояния человека (печаль, страх, ненависть и т.п.), часто не первична и формируется на базе каких-то более конкретных значений, выявление которых представляет несомненный интерес как в типологическом плане, так и для задач практической этимологии. Цель нашей заметки — попытка дать этимологическое истолкование ряда славянских слов (не подвергавшихся анализу вообще или не получивших убедительного объяснения) на основе отмечаемых здесь семантических моделей, характерных для данного лексического круга. Причем принимается предположение относительно того, что ряд семантических связей является отражением в языке элементов древнего погребального ритуала.

Итак, значения 'скорбеть, горевать, тосковать...; скорбь, горе, тоска ...' могут восходить, помимо прочих, к следующим:

1. 'резать, рвать, скрести, царапать, грызть...': см. праслав. **skъrbь* 'скорбь', **skъrběti* 'скорбеть' (рус. *скорбь* определяется В. Далем, как 'печаль, грусть, тоска, туга, жаль, горе, кручина, сокрушенье, боль сердечная' — Даль[2] IV, 204; с.-хорв. *skȑb* также 'забота' и др.) обычно связывается с праслав. **ščьrba/*ščьrbъ* (рус. *щерба, щербинка* 'выщербинка, трещинка...', польск. *szczerba* 'зазубрина' и др., затем с др.-в.-нем. *scirbi* 'черенок', англосакс. *sceorfan* 'грызть, кусать', а также лит. *skur̃bti* 'печалиться', *skurbe* 'горе' и др. (Фасмер III, 650—651; IV, 503—504; 181), далее — к и.-е. **(s)kerb(h)-* (к **(s)ker-* 'резать') (Pokorny I, 938—943). Особенно показательно сочетание значений у с.-хорв. глагола *o-skŕbiti* (**o-skъrbiti* — каузатив к **skъrběti*) — это 'ранить' и 'опечалить, огорчить; позаботиться, снабдить' (RJA IX, 208), аналогичное сочетание значений в русских говорах у гл. *оскорбить:* 'наказать телесно' (Доп. к Оп. 163) и, 'опечалить' (?), зафиксированное в плаче по рекруту на севере России:

Уж как я то ли, горюшица,
Без тебя, мой лада милая,
Оскорбила личе белое,
Помутилися от слез да очи ясные
(*Барсов, ч. II, 92*).

См. еще образованные по сходной модели: др.-рус. *тързатисѧ* 'мучиться, терзаться, скорбеть' — к др.-рус. *тързати = тръзати = = тързати* 'дергать, рвать' (Срезневский III, 1086), рус. *терзать* 'томить, мучить, истязать нравственно, повергать в отчаянное горе' и 'рвать, драть (в отчаянии на себе одежду, волосы, лицо)'. (Даль[2] IV,

401) — к праслав. **tьrzati (sę)*; др.-рус. *съкрꙑшити* 'опечалить, измучить' и 'сломать; разбить, разрушить...' (Срезневский III, 725—726) и *съкрꙑшатися* 'печалиться' и 'быть разрушаемым' (Там же, 725) — к слав. **krušiti* 'ломать, дробить' и др. примеры;

2. 'стягивать, сжимать, сдавливать': праслав. **tǫga* 'тоска, печаль' родственно праслав. **tǫgъ(jь)* 'тугой', **tęgati, *tę(g)nǫti* 'тянуть', праслав. **tęgъkъ* 'тяжкий' (Фасмер IV, 113—114; 139; 140). Ср. еще к праслав. **ščemiti* 'прижимать, защемлять' — праслав. **skomati, *skoměti*: словен. *skomati* 'тосковать', *skométi* то же (Фасмер III, 647; IV, 502), рус. стар. *оскома, оскомина* 'скорбь, тоска, ной, томленье' (Даль[2] II, 697—698) и т.д.;

3. 'гореть, печь, жечь': праслав. **pečalь* 'грусть, печаль' производно от праслав. **pekti, *pekǫ* 'печь' (Miklosich 234; Фасмер III, 254); праслав. **gor'e* 'печаль, скорбь, горе' (см. чеш. поэт. *hoře* 'печаль, скорбь', рус. *горе* 'печаль, скорбь; беда, несчастье' и т.п.) родственно праслав. **goręti* 'гореть' и др. (Miklosich 73; Berneker I, 333; ЭССЯ , 40—41).

Остановимся подробнее на первой модели. Основываясь на ней ('резать, рвать, бить, царапать, грызть...' → 'скорбеть, тосковать, печалиться'), можно проэтимологизировать представленное в Словаре русского языка XI—XVII вв. др.-рус. сущ. *оскобина* 'печаль, забота' (?), зафиксированное в составе следующего контекста: Аще и азъ милости не получихъ, поне братия, яко да долголѣтенъ будеши на земли, прости. молюся Христа ради. Всѣявый, воистинну и жати имаше и озобати; сему и *оскобина*. Намъ же что отъ сихъ? (Пис. Ив. Неронова. Суд. Мат. I, 104. 1654 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 13, 94). Несомненно, его нужно производить от гл. **оскобити* (к **skobiti*), очевидно, через ступень **оскоба*. Следует указать, что реконструируемый на базе др.-рус. слова *оскобина* праслав. гл. **skobiti* подтверждает предположение Ж. Варбот о былом существовании такого глагола, родственного славянским **skoblь (*skob'a), *skobliti*, а также русским диалектным *за-скобина* 'щербина' (волог.), *скобонуть* 'дать кому тумака, ударить' и *скобень* 'кто чешется' (пск. и твер.)[1]. Далее лексемы с корнем **skob- (// *ščeb-*: укр. *щебáти* 'отщипывать, обрывать', рус. *щебень* и др.) соотносят с лит. *skõbti, skabiù* 'скрести, срывать', лат. *scabō,-ere* 'скрести, скоблить, чесать', гот. *skaban* 'скрести, стричь (Фасмер III, 643; IV, 496—497) — очевидно, к исходному значению 'колоть, раскалывать'. Заметим мимоходом, что выявляется и еще одна лексема с тем же, что и *оскобина*, корнем *скоб-* (**skob-*). Это наречие *нáскобно* 'поскорее, скорей', представленное в недавно изданном шестом выпуске Ярославского областного словаря (Яросл. словарь (*липень — нячить*) 6, 113). Семантическим основанием для присоединения данного слова, трактуемого как *на-скоб-н-о,* к гнезду **skob-* 'раскалывать, скоблить' может служить известный факт, что значение 'быстрый, скорый' (→ 'быстро, скоро') часто восходит именно к 'резать, рвать, бить...' (: слав. **rězvъ* — к **rězati,* рус. *бойкий* — к *бить* (**biti*), рус. *шибкий* 'быстрый; сильный', слав. **šibъkъ* — к **šibati* и т.п.).

Семантические переходы данного типа 'резать, рвать...' (а также 'гореть, печь...') → 'скорбеть, печалиться, горевать; скорбь, горе ...'

обычно считаются элементарными, не требующими обоснования: 'физическое страдание' → 'страдание нравственное' — см. ЭССЯ 7, 40 (статья *gryža), 161 (статья *gor'e). Однако для ряда лексем с семантикой 'скорбеть, горевать...; скорбь, горе...' кажется возможным конкретизировать этот переход промежуточным звеном 'в скорби (в горе) царапать, раздирать себе лицо, рвать на себе одежду, выдирать волосы', которое является языковым отражением элементов древнего погребального ритуала, когда при оплакивании умершего следовало раздирать лицо, грудь, одежду, рвать на себе волосы или обрезать их (см., в частности у Даля: *терзать* (в отчаянии на себе одежды, волосы, лицо) 'драть, рвать' — Даль[2] IV, 401).

Многочисленные исторические данные свидетельствуют о том, что обычай самоистязания в знак скорби (траура) по умершему в древности был распространен чрезвычайно широко (если не повсеместно). С большой полнотой эти сведения представлены у Фрэзера, в частности, в третьей главе его книги "Фольклор в Ветхом завете"[2]. Так отмечается, что у древних иудеев погребальный обряд включал в себя оплакивание покойника, самоистязание, выбривание плешей на голове, обривание бород, раздирание одежд, аналогично поступали филистимляне и моавитяне ..."Арабские женщины во время траура срывали с себя верхнее платье, царапали себе ногтями грудь и лицо, били себя обувью и обрезали свои волосы"[3]. Аналогичная картина наблюдалась в Древней Греции, Ассирии, Армении, Древнем Риме, у гуннов, скифов (последние, например, оплакивая умершего царя, "остригали волосы на голове, делали порезы на руках, царапали себе лоб и нос, отрубали куски ушей и стрелами пробивали свою левую руку"[4]), у африканцев (сравнительно редко), у индейских племен Северной Америки, Австралии и т.д. Особенную же значимость для нас представляет замечание, что "во всех славянских странах с незапамятных времен придается большое значение громкому выражению горя по умершим. В прежнее время оно сопровождалось раздиранием лица скорбящих — обычай, сохранившийся среди населения Далмации и Черногории"[5]. Описание аналогичного погребального обряда у славян в начале X в. мы находим также у Ахмеда ибн-Фадлана[6]. Славянские (и прежде всего сербохорватские) языковые данные убедительно подтверждают былое существование описанного выше ритуала. См. в частности, примеры контекстов, в которых употребляется с.-хорв. *grèpsti, grèbêm* 'scalpere, lacerare, scabere, radere' (= 'скоблить; раздирать, рвать, терзать; скрести, царапать, стричь, брить') (слав. *grebti < и.-е. *ghrebh-, см. ЭССЯ 7, 110): Plaču... strigući kose, *grebući* lica; Gristi će svoje meso, *grebsti* će svoja lica; Premda kose prospe, trga, lice *greba;* Otac *se* stane *grepsti* po obrazu i u vas glas lelekati; Iznesu pokojnika odjelo i oružje pred pokajnice i nad ńim biju se i *grebu* (RJA III, 414). Интересно отметить, что на базе **grebti* возник гл. **grebьtěti/*grebьtiti (sę)*, демонстрирующий не только значение 'грести, сгребать' (рус. псков.), но и 'грустить, скучать, тосковать' (рус. самар., перм., иркут.) (ЭССЯ 7, 111—112).

Как известно, погребальный ритуал включал в себя также оплакивание покойника, причитания по нему. Причем сведения об этом

"дошли до нас из глубокой древности и из различных стран. Надгробные причитания существовали у библейских евреев..., у греков..., у римлян... Знала их западная Европа и позже; они найдены... в Корсике..., в Сербии... и в современной Греции. Наемные "lamentatrices" встречались во Франции XIII в.... Trauergesänge были широко распространены в средневековой Германии... Нигде причитания не сохранились в такой жизненности, как в северной России, где они до сих пор продолжают импровизироваться профессиональными вопленницами. Обычай "причитать" над мертвыми... относится на Руси к глубокой древности..."[7] Существенно также следующее наблюдение: "Развитие и характер погребальной причети, без сомнения, обусловливается степенями развития религиозного сознания. Начало ее отностися к тому времени, когда человек вступил в формы семейной жизни и почувствовал в себе нарождение нравственных привязанностей. Но в первых похоронных плачах могло выражаться не столько сетования о потере родных и близки, сколько священного уважения к ним. Простое и безотчетное чувство жизни не допускало разрушения смерти и окружало мертвых благоговейным почитанием..." (Барсов, ч. I, I—II). Итак, здесь выделяются три существенных момента древнего ритуального обряда славян: раздирание лица, одежды, вырывание или обрезание волос; сетования, жалобные причитания; восхваление, возвеличивание покойного.

Так как совокупность этих ритуальных действий должна была получить какое-то языковое отражение, можно попытаться, исходя из этого положения, проэтимологизировать некоторые слова с сложной и, с современной точки зрения, противоречивой семантикой, не имеющие убедительной интерпретации в основном именно из-за этой "противоречивости". Такого рода примером, на наш взгляд, является слав. прилаг. **gъrdъ(jь)* (критический обзор этимологических версий представлен, в частности, в ЭССЯ 7, 207). Прежде всего, вызывает затруднение проблема обоснования возможности сочетания таких значений, как 'гордый, величественный, надменный' (ст.-слав., рус., чеш. и др.) и 'безобразный, страшный, уродливый' (болг., макед., с.-хорв.), т.е., собственно, проблема определения исходного признака (или совокупности таких признаков), который бы "объяснял" оба значения ('гордый' и 'безобразный') с их семантическим окружением. Существенно, что спектр значений у лексем с корнем **gъrd-*, представленных в славянских языках (в частности, в сербохорватском), не ограничивается указанными выше двумя значениями, демонстрируя также ряд других (см. ниже), которые как раз и помогают предпринять попытку семантической реконструкции, базирующейся на гипотезе об отражении в данном гнезде понятий древнего погребального обряда. Причем, естественно, что не только значение самого прилагательного **gъrdъ(jь)*, но и значения производных образований с этим корнем представляют интерес в качестве ресурсов для семантической реконструкции первоначального признака, так как в ряде случаев именно производные образования могут сохранять более древнюю семантику, чем непроизводное слово, и употребляться в весьма показательных контекстах. Так у с.-хорв. гл. *gȓditi*, помимо про-

чих, отмечаются значения 'обезображивать, уродовать' и 'повреждать, раздирать, терзать', к последнему из которых в Загребском словаре дается комментарий — 'ногтями, зубами, ножом и т.д., царапая, скребя, грызя, раня, уродовать, обезображивать объект (что-л. живое или часть тела)', ... чаще всего говорят *grditi lice* 'о женщинах, когда они в скорби (в горе) ногтями раздирают себе лицо в соответствии с обычаем нашего народа', см. примеры: Rodjaci ih i rodice skubuć vlase, *grdeć lice* do samoga slijede kraja; *Grditi lice* 'lacerare genas'; Žute kose trgaše, b'jelo *lišce grdijaše.* Prse bije, *grdi lice...* (RJA III, 402). Думается, что исходным для **gъrd-* могло быть именно значение 'драть, царапать', на основе которого развились вторичные, переносные (также отмечаемые в RJA), 'обезображивать, делать гадким', 'ругать', 'срамить', 'презирать'. Ср. еще с.-хорв. диал. *гр̀ндељ* (с экспрессивным вставным *н)* 'лохматый, небритый, неряшливый, грязный' (РСА III, 653), а также *гр̑д* м.р. песн. необ. 'грязь' и 'беда, горе' (Там же, 595), *гр̑да* и *гр̏да* 'безобразная особа, урод' и индив. 'беда, несчастье, насилие' (Там же), диал. *гр̀дош* м.р. 'некрасивый, безобразный человек, урод' и 'беда, несчастье, невзгода' (Там же, 599), см. также одно из диалектных значений сербохорватского прилагательного *гр̑д* 'грустный, тоскливый, бедный, жалкий, горемычный' (Там же, 595). Отметим здесь наличие значений 'горе, беда; грустный, жалкий', характерных для семантической сферы, относящейся к погребальному ритуалу. Целый ряд значений показателен для нас в том отношении, что они также бывают часто связаны с исходными 'резать, драть ...': это с.-хорв. *гр̑дно* 'сильно, очень' (Московљевић 396), *gȓd* 'очень сильный' (РСА III, 596), диал. *yartö* 'очень сильно' (Sus. 159) — ср. рус. тамб. *ре́зко,* 'весьма, очень, много' (Опыт 195), рус. простор. шибко (ударить) 'сильно' и т.п.; см. также указанные выше значения 'ругать, срамить, позорить' у гл. *gŕditi*,рассматриваемые как переносные, с.-хорв. *гр̑дња* 'ругань, брань, укоризна' (РСА III, 597), словен. *gŕditi se* 'ссориться, браниться' (Plet. I, 247), *gŕditi* 'ругать, чернить' (Хостник 42), *gȓdnja* 'оскорбление, поругание', а также рус. диал. *гордость* в значении, до сих пор нам не встречавшемся — 'ругань, ссора, перебранка':

...Тут свирипиться желанный буде батюшка,
Пойде *гордость* у родителя — у матушки,
Неприятность у любимой у семеюшки
(Барсов, ч. I, 221)

ср. чеш. *hřebati* 'ругать, бранить' (при словен. *grébati* 'сгребать; драть, царапать' (ЭССЯ 7, 108—109 в статье **grebati/*grěbati*), рус. *вздорить* 'ругаться, ссориться', *раздор* 'брань, ссора, распря' — к *драть, деру́*. См. еще одно характерное значение 'терпкий, горький, едкий', во многих случаях восходящее к 'резать, колоть, бить...' или 'давить' → → 'острый, резкий' или 'жесткий, твердый, давящий' — ср. др.-рус. ц.-слав. *бридъкии* 'терпкий, острый, кислый, горький' (Срезневский I, 178) — к слав. **bri-ti* 'брить': с.-хорв. диал. *гр̀дак* 'едкий, терпкий' (: Нестасана мушмула је *гртка* за јеђење (РСА III, 595), *гртков* 'горький' (?): Оскоруша је *грткава* да се једе (Там же, 693), *гртко* 'противно (о вкусовом ощущении)' (Там же), 'приторно, тошно' (Елез. I).

Что касается значений 'гордый, величественный, благородный...' (→ 'высокомерный, спесивый...'), то оно, очевидно, связано с 'прославлять, возвеличивать' и может быть отражением ритуального восхваления покойного (см. выше) — см. в.-луж. *hordosć* 'величие' и 'прославление' (Pfuhl 214), *hordosćić* 'прославлять' (Трофимович 55), словен. *grditi* 'хвастаться' и т.п.

Итак, семантика гнезда **gъrd-* представляется нам восходящей к обозначению совокупного действия, связанного с погребальным ритуалом — 'царапать лицо, причитая по покойнику и восхваляя его'. Кажется наиболее вероятным включение лексем с корнем **gъrd-* в состав и.-е. **gher-* 'тереть, растирать' (основа 1) (Pokorny I, 439), (интерпретируя *d* как расширитель — ср. слав. **grud-* (**grustiti*, **grustь* и др.), которые связывают с этим же и.-е. корнем в ступени **grou-* (основа 2), также с расширителем *d* (Там же, 460—461).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Варбот Ж.Ж.* К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. I (*ščebati*) // Этимология. 1971. М., 1973. 3—4.
[2] *Фрэзер Д.* Фольклор в Ветхом завете. М., 1985, 412—431.
[3] Там же, 414.
[4] Там же, 415.
[5] Там же.
[6] *Ковалевский А.П.* Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921—922 г. г. Харьков. 1956.
[7] *Брокгауз—Ефрон.* Энциклопедический словарь. СПб., 1898, Т. XXV, 288—289.
[8] См. специально о семантических истоках слов, обозначающих 'горький, терпкий, кислый': *Петлева И.П.* Этимологические заметки по славянской лексике. VII // Этимология 1976. М., 1978, 45—46.

Л.В. Куркина

СЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ
(*skovorda, *pačьkati)

*skovorda

Основание для реконструкции праслав. **skovorda* дают ст.-слав. сковрада, др.-рус., рус., укр. *сковорода*, др.-чеш. *skravada, skrovada*, польск. *skowroaa* с общим значением 'вид посуды, сковорода'. В.-луж. *škorodej*, н.-луж. *škórodej, škórodwej*, род.п. *škórodwe* 'сковорода, противень' отражают основу на *-ū* — **skovordy, -ъve* (Фасмер III, 644). Но это видимо, позднее новообразование, появление которого связано с особой устойчивостью модели на *-y* (*-ъv*) в части западнославянских языков[1]. Слово **skovorda*, представленное в основном в языке западных и восточных славян, не имеет сколько-нибудь убедительного объяснения. Поиски этимологии ведутся в самых разных направлениях. По одной из версий праслав. **skovorda* может быть истолковано как вариант цслав. скрада τήγανον, sartago, caminus (Miklosich LP 849—850), традиционно сближаемого с ср.-в.-нем.

scharte ж.р., *schart* м. и ср.р. (< **skordhā*), др.-в.-нем. *scart-îsan* 'котелок, сковорода' (*Kluge—Götze*[15] 653)[2]. Предполагается, что *v* в славянском обязано своим происхождением смешению с цслав. сквара 'выжарки, вытопки сала'[3]. По мнению некоторых исследователей, форма ст.-слав. сковрада, толкуемая как вторичная по отношению к цслав. скрада, чеш. *skvrada*, сложилась под влиянием гл. *ковати*[4]. Но остаются неясными причины, вызвавшие контаминацию столь далеко отстоящих друг от друга слов. Были попытки по-новому подойти к пониманию морфологического строения слова. Высказывалось предположение, что слав. **skovorda* представляет собой сочетание архаичной приставки *sko-* с корнем **ver-* (ср. лит. *vérdu, vìrti* 'варить')[5] или **skvьr-* (Miklosich 206). Неубедительность всех этих решений побуждает некоторых исследователей искать истоки слав. **skovorda* в индоевропейских языках. Так, О. Семереньи полагает, что славянское слово восходит к языкам Ближнего Востока. Слав. **skovorda,* близкое арм. *skavaṙak* < **skavaridak* 'миска', пришло, как он думает, из иранских языков через посредство греч. σκεναρίδα[6].

Ни одна из гипотез не получает развернутого обоснования, по существу в предлагаемых решениях лишь в самом общем виде намечены направления этимологических поисков. При всех различиях приведенных этимологий их объединяет общая исходная посылка — признание, что словом **skovorda* всегда, во все времена обозначался вид посуды — сковорода, т.е. плоская металлическая посуда, мелкая, с загнутыми краями. Именно поэтому осталось незамеченным, что в древнейших текстах это слово выступает в другом значении, является обозначением не сосуда, а совсем другой реалии. По данным Пражского словаря, сковрада встречается только в Супральской рукописи в значении 'сковорода, решетка' — ἐσχάρα, τήγανον; craticula, sartago: въметаахѫ же слоугве диꙗвола на сковрадѫ. пьцьлъ. и масло // с(вѧ)тыи мѫченикъ обрашташе сѧ на сковрадѣ (SJS 37, 89). Как видим, в данных отрывках слово сковрада служит обозначением орудия пыток в виде решетки на углях. В Хронике Манасия (1335—1340 гг.) *сковрада* имеет значение 'вертел, печь, огонь'[7]. Заслуживает самого серьезного внимания и тот факт, что в Пражском словаре в качестве синонима приводится слово одрьць 'решетка, прут', производное от одръ < *o-dr-* (ср. ст.-слав. одръ κλίνη, κράββατος, δορός), последнее восходит к и.-е. **dru-* 'дерево' (ср. др.-инд. *dru-* 'дерево', алб. *dru* 'дерево, жердь', гот. *triu* 'дерево' — Фасмер III, 123). На правах синонима выступает и цслав. скрада τήγανον, sartago, caminus (Miklosich LP 849—850), связанное отношением вариантности со слав. **korda* без *s*-mobile: ст.-слав. крада πυρά, rogus, καμινός, укр. *корода* 'поленница', польск. *króda* 'копна, укладка снопов в поле' и т.д. (Sławski III, 152)[8]. Для слав. **korda/*skorda*, этимологически тождественных нем. *Herd* 'очаг', восстанавливается в качестве исходного то же значение — 'дерево, полено' с последующим преобразованием в направлении 'поленница, особая укладка дров, возможно, крест-накрест, решеткой' (ЭССЯ 11, 58). Общая сфера употребления слов, видимо, стала причиной контаминации слов

крада, скрала (и съкрада), сковрада и образования форм типа цслав. свкрада, чеш. *skvrada.*

Из анализа всей совокупности фактов, охватывающих семантику слов в древних текстах, а также их синонимов, вытекает вывод об исторической эволюции самой реалии материальной культуры. Ориентиром в поисках связей, мотивирующих слав. **skovorda*, должно стать древнейшее значение 'решетка, прут', зафиксированное в самых ранних памятниках письменности. Как показывает изучение материала, славянские языки полностью не утратили этого значения, следы древней семантики сохраняют некоторые лексические диалектизмы русского языка. Представляется, что исходное значение 'дерево, прут', правда, в стертом виде присутствует в рус. забайк. *сковорóдня* ж.р. 'часть свинарника, в которой настлан деревянный пол' (Элиасов 380). Из толкования следует, что этим словом обозначается не постройка вообще, а только та часть строения, где пол выложен бревнами, досками и т.п. Но первоначальные отношения между обозначающим и обозначаемым сильно затемнены, перекрыты более поздними представлениями о форме посуды с круглым, плоским дном. Признак плоской формы является определяющим для обозначения тем же словом в русских диалектах первого ряда снопов, образующего настил, основание (яросл.) или плоского подводного камня (арх., Даль[2] III, 200). В какой-то степени этот признак присутствует и в обозначении словом *сковорóдня* хозяйственной постройки, где настлан пол, где имеется покрытие на земле. В кругу производных слова́ с орудийным значением, семантически тесно связанные со *сковорода* 'вид посуды', ср. для примера *сковородник* 'чапельник, лопаточка с крючком для захватывания горячей сковородки'. Некоторые слова в этом ряду занимают особое положение в силу большей семантической самостоятельности, удаленности, немотивированности основным значением 'вид посуды'. Таким, на наш взгляд, являются рус. диал. *сковородень, сковородня* 'толстое бревно, лежащее в воде у самого борта барки и предохраняющее ее от столкновения с другой' (москвор., Даль[2] III, 201). В данном случае обозначение орудия, с помощью которого регулируется движение лодки, как нам представляется, мотивировано древним значением слав. **skovorda* 'дерево, прут'. Существенно продвигает понимание внутренних связей и структуры слова сопоставление с лексическим диалектизмом *ворóдня*, обнаруженном в московских говорах. Эта лексема, оформленная тем же суф. *-ня*, тождественна по значению *сковорóдня*, более того, значение его определяется буквально теми же словами, — 'бревно, которое кладется в воду у борта барки и предохраняет ее от столкновения с другой баркой' (моск., Филин 5, 109). Из сравнительного анализа со всей очевидностью следует, что слово *сковорода* < **skovorda* построено по модели образований с префиксальным *sko-*. В славянских языках немало слов в структуре которых путем этимологического анализа вычленяются архаичные префиксы *sko-, ko-, če-* и т.д.[9]: ср. словен. *skomuda* и *komuda* 'задержка' и *muditi* 'медлить', рус. диал. *сковерзень* 'беспокойное дитя' и *-верзать* и т.д. Допуская возможность

такого морфологического членения слова **sko-vorda*, мы тем самым возвращаемся к идее Мацэнауэра, но с тем отличием, что истоки основы **vord-* определяем в другом этимологическом гнезде с и.-е. корнем **ver-* 'вертеть, сгибать' (Pokorny I, 1152), расширенным элементом *-d*. В литературе достаточно подробно изучены на славянском материале продолжения этой основы с гласным в ступени редукции: ср. словен. *vȓrdati* 'шарить, баловаться', болг. *въ̀рда́лъм* 'кататься, валяться', с приставкой *ко-* рус. диал. *кувердать* ' шатать', *кувырдаться* 'кувыркаться', с приставкой *še-* с.-хорв. *шевр̏дати* 'увиливать, уклоняться от работы' и т.д.[10] Слав. **sko-vorda*, рус. моск. *вор́одня*, а также тул. *вородун* 'одноколка', отражающие корневой гласный в ступени *о*, расширяют состав продолжений этимологического гнезда с корнем **ver-d*. В этом же гнезде, на наш взгляд, могут получить объяснение русские диалектизмы с корневым *ворд-/ вард-* < **vьrd-*: *ва́рда* ж.р. 'валек для выколачивания белья при полоскании' (твер.), *варде́ня, ва́рдина, вордина* (удар.?) ж.р. 'одна из двух продольных жердей, прикрепленных к брускам полозьев нарты' (якут., колым., сиб.), *вардушка* ж.р. 'тонкий строганый прут для плетения верши' (арх.) (Филин 4, 47—48). Не укладывается в рамки закономерных отношений корневое *а*,появление этого гласного, возможно, объясняется влиянием аканья. Основа с корневым гласным в ступени редукции находит отражение в болгарских диалектизмах: родоп. *варду́не* мн. 'двуколка для спуска бревен, деревьев и т.п.', *вурду́не* мн. 'крепкие колья (обычно два), заменяющие колеса у двуколки; эти колья используют при спуске бревен' (БД II, 136, 141). Важно отметить, что болгарско-русская изолекса с корнем **vьrd-* обнаруживает продолжение на балтийской территории в лтш. *vārde, vards* 'балка на крыше, шесты для хранения одежды', лит. *vìrdis* 'шест в сарае, поперечная балка' (Fraenkel 1259).

Словообразовательно-этимологический анализ подводит нас к следующему выводу. Праслав. **skovorda* — новообразование славянской эпохи, но образование это достаточное древнее, оно построено по архаичной модели с префиксом *sko-*. Исследуемое слово интересно в культурно-историческом плане, поскольку помогают восстановлению реалии материальной культуры и ее эволюции от простейшего к более сложному виду.

**pačьkati*

На Ярославской территории гл. *па́чкать* выступает в качестве обозначения одного из видов технической обработки зерна: *па́чкать от сполины* 'разделывать зерно на ночвах, очищать от шелухи'. Понять морфологический состав данного слова помогает отмеченный на той же территории близкий по значению глагол, в структуре которого четко выделяется префикс *пад-* — *па́дчкать* = *па́дцовать* 'толочь зерно в ступе, отделять шелуху от зерна или крупы, встряхивая на ночвах' (Ярослав. словарь: *О — ПИТО*, 86, 77). При сравнении глаголов, выполняющих сходные функции, становится совершенно очевидным, что *па́чкать* имеет структуру глагольного образования с префиксом *па-*, т.е. представляет собой сочетание префикса

па- с гл. *чкать*. В русских диалектах довольно широко представлены гл. *чкать, чкнуть* и с чередованием в корне *чикать*: ср. *чкать, чкнуть* 'ударить, бить, стучать; попасть, особ. играя в мячи, лупить, салить, жечь; в игре в бабки: попасть, сбить с кону', *чкнуть* 'ткнуть, уколоть, ударить тычком', *чкнуться* 'тронуться, дрогнуть, убывать или портиться' (ср. *луна чкнулась, мясо чкнулось*), *чикать* 'бить, ударять' (Даль[2] IV, 509, 604), *начикать* 'надергать, совершая быстрые, резкие движения' (ср. волосы *начикают*) (Москов. словарь 352) и многие другие с приставками *за-* (Филин 11, 181), *по-* (Даль[2] III, 372). В этимологических словарях (ЭССЯ 4, 110—111, 141; Słownik prasłowiański 2, 123) и специальных исследованиях[11] подробно разработаны родственные связи этих глаголов на праславянском уровне. Для праслав. **čikati, *čьknqti* (ср. ст.-чеш. *čkáti* 'дергать, щипать', чеш. *čkáti* 'пихать, толкать', с.-хорв. *čkäti* 'ковыряться, возиться' и т.д.) восстанавливается исходное значение 'бить, ударять'.

Возникает вопрос об отношении названного диалектизма к общеупотребительному рус. *пачкать* 'грязнить, делать грязно, неумело'. Истоки последнего остаются неясными. Фасмер, обозревая известные опыты истолкования гл. *пачкать*, справедливо сомневается в возможности объяснения глагола из нем. *patschen* (Преображенский II, 31) или сближении с *опакъ*[12]. Наиболее вероятным признается звукоподражательное происхождение, лишенное исторических связей, как и нем. *patschen* 'шлепать' (Фасмер III, 223). По Махеку (Machek[2] 425), это — экспрессивное слово с исходной структурой *pat-lati* и *pat'-chati* (ср. морав. *spat'uchat* 'съесть').

Рус. *пáчкать* входит в ряд близких по значению и форме слов: чеш. *pacati, packati* 'халтурить, портить', слвц. *páckat', pacnut'* 'ударить, чмокать, цокать' (SSJ III, 6), диал. *pačkat'sa* 'плескаться (о воде)' (Orlovský 223), *pačkati se* 'полоскаться, плескаться' (Kott II, 465: na Slov.), польск. *paćkać* 'пачкать, грязнить, марать; валять; лепить из глины' (Варшавский словарь IV, 8)[13], диал. *paśkać śe* (Kucała 206), укр. *пáцати* 'лежа на животе, бить ногами по земле' (Гринченко III, 103), словен. *pecati, peckati* 'давать пощечины' (Pleteršnik II, 16). Обычно в число звукоподражательных образований этого типа включается словен. *pečkáti*[14], вся семантика которого не сводима к звукообозначению. Не вызывает сомнений, что *pečkáti* в значении 'вынимать косточки из плода' произведено от *pečkà* 'косточка', для которого восстанавливается основа **pьtj-* (Skok II, 653: s.v. *píca*)[15]. Все другие значения — 'ковырять; колоть; рыть, копать; дробить; лениво работать' — могли развиться на основе звукоподражания *pacáti, pecáti* 'ласково похлопывать, ласково трепать (по щеке); жалить', *peckáti* 'похлопывать' (Pleteršnik II, 1, 16, 17). Варьирующиеся звукокомплексы *pec-, pac-, pack-* и т.п. передают представления о шуме, сопровождающем удар, шлепок, хлопок и т.п. Многие из значений (ср. 'портить, плохо работать' и т.п.), развившиеся на базе звукоописания и звукообозначения, свидетельствуют об утрате живых связей с звукоподражательной основой. При сравнительном анализе семантики звукоподражаний и продолжений гл. **čьkati* нетрудно заметить совпадение отдельных значений (ср. *чкнуться*

'портиться'). Семантикой глагола конкретного действия 'бить, ударять' мотивировано употребление *зачкать* в значении 'запятнать, попав в кого-либо, мячом', *зачкаться* 'перекинуться бранно', *почкáть кого* 'в играх мячом запятнать, засалить' (Филин 11, 181; Даль[2] I, 372). В словаре Даля в одних и тех же контекстах употребляются гл. *салить*(< *сало*) и *чкать* 'пятнать, тронуть рукой, ударить мячом' (Даль[2] IV, 131). Обработка зерна, обозначаемая гл. *пачкать*, связана с отделением шелухи, мусора и т.д. Налицо очевидная близость значений и условий функционирования, но в сравниваемых гнездах отсутствуют контексты, в которых бы семантические различия полностью нейтрализовались. Это обстоятельство побуждает нас признать, что рус. *пáчкать* 'марать, грязнить' и диал. *пáчкать* 'очищать от шелухи' являются омонимами: первое *пáчкать* восходит к звукоподражательной основе, расширенной экспрессивным *к*, второе представляет собой узколокальное образование, сложившееся на базе сочетания архаичной приставки *па-* с глаголом *чкать* < **čьkati.*

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Бернштейн С.Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1974, 240.
[2] Некоторые исследователи включают в число соответствий лтш. *skârde, skârds* 'жесть'. См.: *Diefenbach L.* [Рец. на кн.:] *F. Miklosich.* Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum // KZ. XVI. 1867, 224; *Möhl F. Geo.* Observations sur l'histoire des langues sibériennes // MSL. T. 7, F. 4. 1892, 409—410. Но эти слова пришли в балтийские языки из финского: ср. лив. *kārda*, эст. *kard* 'жесть', фин. *karta* 'листовое железо', в балт. языках с добавлением *s-*: См.: *Endzelin J.* Germanisch-baltische Miszellen // KZ. LII. 1924. 120.
[3] *Ильинский Г.* Славянские этимологии LXXIV. Русск. *сковорода* 'sartago' // Изв. ОРЯС. Т. XXIV. Кн. I. Пг., 1923. 119—120.
[4] *Брандт Р.* Дополнительные замечания к разбору Этимологического словаря Миклошича // РФВ. Т. XXIV. № 4. 1890. 176.
[5] *Matzenauer* // LF XX, 17; *Brückner A.* Über Etymologian und Etymologisieren. II // KZ. XLVIII. 1981. 168.
[6] *Семереньи О.* Славянская этимология на индоевропейском фоне // ВЯ. 1967. № 4. 14 - 15.
[7] *Budziszewska W.* Z bułgarskich studiów wyrazowych // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 6. 1967. 144.
[8] *Куркина Л.В.* Славянские этимологии // Этимология 1981. М., 1983. 3—6.
[9] *Debeljak A.* O mrtvih velarnih predponah // SR. V—VII. 1954.
[10] *Варбот Ж.Ж.* К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. VIII // Этимология 1978. М., 1980. 19—21; *Петлева И.П.* Этимологические заметки по славянской лексике // Этимология. 1981. М., 1983. 26—28.
[11] *Варбот Ж.Ж.* К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. VI // Этимология 1976. М., 1978. 38—42.
[12] *Брандт Р.* Об этимологическом словаре Миклошича // РФВ. Т. XVIII. 1887. 7.
[13] *Sławski F.* Polonica w Słowniku etymologicznem języka rosyjskiego M. Vasmera // JP. XXXVI. 1. 1956. 73.
[14] В словаре Махека словен. слово ошибочно приводится в форме *pačkati.* См.: Machek[2]. 425.
[15] *Bezlaj F.* Etyma slovenica // Razprave — Dissertationes VII/4. Razred za filološke in literaturne vede. Classis. II: Philologia et litterae. Ljubljana, 1970. 163.

В.А. Меркулова

К ЭТИМОЛОГИИ ПРАСЛАВ. **Č*IRЪ*

Праслав. **čirъ* (**čirьjь*) считается словом с невыясненной этимологией (см. ЭССЯ 4, 116—117, Słownik prasłowiański II, 203—204). Предлагаемые версии о связи с греч. σκίρρος 'отвердение, затвердевшая опухоль' или с корнем **(s)ker-* 'резать' подвергаются сомнению.

Думается, что поиски этимона возможны при более внимательном рассмотрении семантики слова. Этимологические статьи под реконструкцией **čirъ* объединяют два значения 'нарыв, фурункул' и 'гриб-трутовик' Это объединение представляется вполне правомерным, поскольку мы наблюдаем то же единство в статьях **gǫba*, **trǫdъ* и др.

Наименования гриба-трутовика (**čirъ*, **cěrь*) встречаются на территории украинского Полесья, в Белоруссии, в сопредельных польских говорах, на территории Чехословакии. Следует обратить внимание на то, что это наименование не гриба-трутовика вообще, а конкретного вида, березового трутовика, Polyporus igniarius, используемого для разжигания огня. Длительное время до появления спичек для добывания огня использовали огниво, кремень и трут. Трутом служил березовый гриб-трутовик, вымоченный, высушенный и разбитый до мягкости. «Чага — березовая губка, твердый трут, растущий на живой березе, употребляется везде для присекания огня" (Камчатский словарь, 184). На территории украинского Полесья чага носит название *чир, ч'ір, ціp* (М.В. Никончук. Матеріали до лексичного атласу укр. мови, 63). Блр. *цэрь* 'трут, приготовленный для высекания огня из губки, растущей на березе' (Носович, 693), *цэ́ра* 'трут для высекания огня' (Байкоў, 341), диал. *цэр, цэра* тоже: "На бярóзе расце *цэра*", "... калі *цэр* у попеле памачыць, высушыць і пабіць, ён жоўты такі і гарыць (Слоўн. паўночн.-заход. Беларусі, 5, 377). В польских говорах, заимствованное из украинского и белорусского языков, *czyr, czér, czer, cer* 'буковый гриб, используемый для добывания огня' (Karłowicz. Sł. g. pol.), чеш. *čirůvka* 'гриб, растущий на старых пнях, Tricholoma', слвц. *čírovka* то же (Machek[2], 103)[1].

Другим названием для березового трутовика (кроме слов *губа* и *трут*) служат слова *жагва* и *жагра*: блр. *жáгва* 'гриб-трутовик, трут', польск. *żagiew, żagwica* то же, чеш. *žahev* то же: "*Жагва* ростэ на бэрэзынэ, вона высохае. *Жагву* кладут на кромушку і б'ют красілом, *жагва* загораецца' (Шаталава, 54). Возможно, указанные выше формы восходят к праслав. **žagy, -ъve* 'гриб-трутовик, трут', образованному от глагола **žegti* 'гореть' с продлением гласного, ср. с.-хорв. *жêг* 'трут'.

Русск. диал. *жáгáра* 'грибной нарост на березе черного цвета' (Иванова. Подмоск., 130), *жагрá*: "Жаγрá бываит'... врóд'и γрыбá" (Деулинский словарь, 162).

В псковских говорах лексема *горю́н* значит 'темный. крепкий нарост на барезе, гриб-трутовик, чага; трут из нароста березы':

"Спи́чак ни на́да, то́лька *гарю́н* на́да, гу́бицу кул де́рива растёт, тагды́ яну́ вы́сушыш, вы́вариш, тапаро́м скляпать, тагды мяккая и загари́цца' (Псковский словарь 7, 141).

Чирьем называется фурункул (furunculus). С медицинской точки зрения "фурункул — это гнойно-некротический процесс в фолликуле и окружающей его ткани. Вначале маленькая пустула или папула красноватого цвета в устье фолликула. В дальнейшем ...увеличение инфильтрата вширь и вглубь, отек. Субъективно — чувство жжения, нарастающая боль... На высоте развития — плотный, возвышающийся над уровнем кожи узел темнокрасного цвета".

Синонимами слова *чирей* в русском языке служат *веред, боляток* (с более широким значением, чем *чирей*) и *огни́к, огнёвик. Огни́к* 'чирей, веред' (Миртов 210; Даль[3] II, 1656—1657), *во́гник* 'боляток, болячка, чирей, веред' (Даль[3] I, 534), *огнёвик* 'нарыв, веред' (Словарь Красноярского края, 236; Даль[3] II, 1656). Ср. укр. *о́гнявка* 'чирей' (Лексика Полесья, 52). В белорусском и украинском языках *огником* называют экзему на лице и на руках (Гринченко III, 36; Расторгуев 96, Шаталава 91, Носович 63).

По принципу симпатической магии фурункул и экзему лечили присеканием огня. "*Огонь, огонь,* возьми свой *огник*!" — приговаривают, присекая его кремнем и огнивом (Даль[3] II, 1656—1657). "*Огнік* прысекалі краменем і шэпталі" (Тураўскі слоўнік 3, 242).

В белорусском Полесье чирей называется еще *жы́жавка* при *жы́жа* 'огонь' (Лексика Полесья, 33).

Ср. еще медицинский термин *антра́кс* 'злой веред, карбункул, злая болячка' и 'дорогой камень карбункул' (Даль[3] I, 48) от греч. ανϑραξ 'уголь'. Фурункул и камень названы по цвету. Ср. лат. *carbunculus* тоже. Др.-русск.: "Отъ *възгараѭштиихъся* прыштии, акы на *оугльхъ* лежаштѧ" (Изб. 1073 г. л. 173) (Срезневский II, 1615). Ср. еще словен. *čȓm* 'воспаление, нарыв, карбункул' (Pleteršnik I, 112).

Таким образом, во многих языках фурункул назван метафорически огоньком, угольком.

Есть основание предполагать, что и в названии березового гриба-трутовика, используемого для разведения огня, и в названии фурункула использован один и тот же признак в качестве мотивации 'огонь; уголь; гореть, жечь'.

При этимологизации слов *чир, чирей* нельзя игнорировать примеры, показывающие, что корень содержал *s*-mobile: см. польск. диал. *szczyrawka* 'прыщ', чеш. диал. *štírak, šterák*, словен. диал. *ščírec, ščírovec.*

Скорее всего мы имеем дело с продолжением и.-е. корня **(s)kăi-, (s)kī-* 'жар, жара' с расширителем *-r-* (См. Pokorny I, 519) в значении 'огонь, жар'. Прямых индоевропейских соответствий нет, но в других языках представлены слова с расширителями *-t-* и *-d-* с близкими значениями: др.-в.-нем. *hei* 'жара', лит. *kaĩsti* 'греть', *kaĩstrà* 'жара, зной'. Возможно, что славянские языки сохраняют архаическую семантику корня.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Существование блр. *цэр, цэра* (по орфографии Носовича *цэрь*) 'березовый гриб-трутовик, используемый для разжигания огня' позволяет уточнить семантику др.-русск. *цѣрь*. Слово встречается один раз в тексте "Повести временных лет": Волга же раздам воемъ по голуби комуждо, а другимъ по воробьеви, и повелѣ комуждо голуби и къ воробьеви привязывати *цѣрь*, ωбертывающе въ платкы малы, нитъкою поверзывающе къ коемуждо ихъ. Срезневский передает значение слова как 'сера', так как ясно, что речь идет о горючем веществе. О.Н. Трубачев, анализируя этот текст пишет: "В соответствующем эпизоде летописного рассказа реальнее всего представить себе, что именно тлеющий трут завертывался в платочки и нитками привязывается к птицам" (О.Н. Трубачев. Заметки по этимологии и сравнительной грамматике // Этимология 1968, М., 1971, 46). С этой мыслью трудно не согласиться, и привлечение белорусского материала делает ее более доказательной, хотя О.Н. Трубачев дает иную этимологическую интерпретацию.

М.А. Осипова

СЛАВ. **mьrxa, *mьrša* < СЛАВ. **mьrs-*

В этимологической литературе слова со значением 'кляча' и 'падаль', засвидетельствованными (лишь в части случаев — при одной и той же форме) у болг. *мърша, мръша,* макед. *мрша*, с.-хорв. *mrha, mrša*, словен. *mŕha*, чеш. *mrcha*, польск. *marcha*, укр. *мерха, мерша* (и др., см. ниже), рассматриваются как омонимы. По традиции, идущей от Миклошича и Бернекера, считается, что формы с семантикой 'кляча' (куда относят прежде всего слова с корневым *-х-*) представляют собой заимствованное др.-в.-нем. *mar(i)ha*, ср.-в.-нем. *märhe* то же, в то время как слова, обозначающие 'падаль' (куда входят, кроме некоторых слов с корневым *-х-*, слова с *-š-*), отражают производное слав. **merti, *mьrq* (Bezlaj II, 201; Skok II, 377 s.v. *mȁrha*; III, 467 s.v. *mrijèti*; Machek[2], 379: для форм со значением 'кляча' допускает и родство с хетт. *marsa-* 'плохой'; Gebauer II, 407; Brückner, 322, 328 s.v. *mer-*).

Между тем введение в круг рассматриваемых имен русских слов (см. ниже), предполагающих исходную форму с сочетанием *-ьr-, заставляет отвергнуть по фонетическим причинам как этимологию слова из слав. **merti* , так и идею заимствования, хотя для некоторых случаев нельзя исключить немецкое влияние, — которым, однако, трудно объяснить весь ареал распространения слова. Учитывая близость значений 'кляча' и 'падаль' (ср. хотя бы рус. диал. *пáдла* 'труп издохшего животного; о плохой лошади' (Добровольский, 571) и *бы́дла, бы́дло* 'бодливая корова; больная, слабая лошадь, кляча; конский труп' (Псков. словарь 2, 231), причем в первом случае представлено направление 'падаль, дрянь' > 'кляча', а во втором — обратное: 'скотина' > 'падаль'), можно усомниться в правомерности их разделения на омонимичные, а сходная семантика слов с корневыми *-х-* и *-š-*[1] заставляет анализировать эти имена, не отрывая их друг от друга. Вышесказанное позволяет обратиться к поиску иных связей упомянутых славянских слов.

Прежде всего приведем имеющийся материал для слов с корневым *-х-*: с.-хорв. *mrha* 'падаль, труп; мелкое домашнее животное (преимущественно овца); плохая вещь; скотина, товар', *mȃrha, mȃrva*[2] 'скотина; рынок; товар; мелкое домашнее животное (овца)' (RJA VII, 59; VI, 472), *mrha, mȃrha* 'грех; падаль; недвижимое имущество' (Skok II, 377), *мȃрха, мȃрва* 'домашние животные (овцы, козы, крупный рогатый скот, лошади), скот, (редко) голова скота, скотина' (РСА 12, 141); словен. *mŕha* 'падаль, мертвечина; кляча, кобыла' (Pleteršnik I, 611), 'изнуренное животное, особенно лошадь; (экспр.) тучное, крепкое животное; (пейор.) нестоящий, бесполезный человек; (экспр.) статный, даровитый человек, особенно женщина' (SSKJ II, 865), *márha* 'кляча' (Pleteršnik I, 551); чеш. *mrcha* 'труп животного, падаль; (пейор.) худое животное, особенно лошадь; (экспр.) прозвище злого, хитрого, коварного человека; плохая вещь' (PSJČ II, 973), 'мертвое тело; падаль; что-либо плохое; плохой (нескл.)' (Jungmann II, 503), диал. 'падаль; кляча; (пейор.) скверный человек, негодяй, прохвост; плохая вещь; плохой (нескл.)'[3], вост.-ляш. myrcha 'отвратительный человек; название чего-либо или кого-либо плохого'[4], *mrška* уменьш. к *mrcha* 'жулик, плут' (PSJČ II, 977); словац. (диал.) *mrcha* 'труп животного, падаль; (пейор.) о животном, обычно слабой, худой лошади; прозвище (обычно женщины); (экспр.) плохой (нескл.)' (SSJ II, 190; Kálal, 344)[5]; ст.-луж. *morcha* 'падаль' (Machek[2], 379; Bezlaj II, 201); ст.-польск. *marcha* 'лошадь (старая); падаль', *marcha, mercha, myrcha* 'блудница' (Linde III, 42, 70), *marcha* 'кляча; падаль' (Sł. polszcz. XVI w. XIII, 147—148), 'труп человека или животного' (Sł. stpol. 4/2—3, 160—161), диал. *marcha, mercha, myrcha* 'кляча; скотина', *marcha* 'чудовище, страшилище; девица, потерявшая невинность; скверная женщина, неряха; никчемный человек', *Hullala, marchy!* 'подзывание овец', myrcha 'дурная женщина; падаль', *Ty, psia myrcho! Psia mercha* 'ругательство' (Варшавский словарь II, 879, 923; Karłowicz 3, 113: малопольск.[6]), малопольск. *marcha* 'болезненное животное; кляча; дурная женщина'[7]; рус. диал. (Твер.) *морха* 'неряха', ср. также *мархóня* (Новосиб.) 'проститутка, гулящая женщина' (Филин 18, 280; 17, 378), сюда же и антропонимы др.-рус. *Морх* (XV в.), *Морхиня* (XIII в.) и многократно засвидетельствованный *Морхинин* (Веселовский. Ономастикон, 204, 130, 214, 263, 341); укр. бойк. *мéрха* 'кляча; падаль'[8].

Предположим, далее, что реконструируемое слав. **mьrxa* образовано от **mьrxati*, представленного с.-хорв. *mrhati se* 'метать икру, нереститься'[9], польск. диал. *merchać, myrchać* 'трепать, разбрасывать солому; лохматить, приводить в беспорядок, ерошить, путать, мять'[10], малопольск. *merchać* 'шевелить'[11], *myrchać się* 'возиться, копошиться, мешкать, лениться' (Варшавский словарь II, 923)[12], ср. также ст.-польск. *zmarchać* 'истрепать, износить, изнурить' (Linde VI, 1098; Варшавский словарь VIII, 548), диал. *zmerchać* 'растрепать' (Karłowicz 6, 395). Значения сербохорватского и польских глаголов тесно связаны между собой: понятие 'метать икру, нереститься' (с.-хорв. *mrhati se*) предполагает 'тереть(ся), трепать(ся)' (представленное у польск. *merchać, myrchać (się)*, ср. с.-хорв. *trti se* 'нереститься'[13], чеш.

třiti se 'валяться, возиться; нереститься' (PSJČ VI, 300), польск. *trzeć się* то же (Варшавский словарь VII, 146), рус. *тереться* то же (Даль² IV, 401) < **terti*, **tьrq*. Тогда глаголу, исходному для **mьrxati*, — **mьrsti* — можно было бы приписать значение, близкое 'тереть'.

Это предположение поддерживается данными внешней реконструкции, ср. наличие смежных значений у ср.-в.-нем. *zermürsen* 'мять, давить', швейц. *morsen, mürsen* 'толочь' и под., отражающих, как и в славянском, нулевую ступень чередования в корне и отнесенных Покорным к гнезду и.-е. **mer-s-* 'тереть, растирать' (Pokorny I, 737; подробнее см. Kluge—Mitzka²¹, 488—489 s.v. *morsch*), ср. также др.-инд. *mṛṣ* — *mṛṣā kar* 'растирать'[14]. Синонимичную славяно-германскую изоглоссу при вариантности исхода корня составляли бы продолжения слав. **mьrviti*, ср. с.-хорв. *mȑva* 'крошки', и др.-в.-нем. *mur(u)wi*, нем. *mürbe* 'хрупкий' (к тому же **mer-*, **merə-* 'растирать' в Pokorny I, 736; так же о германских формах Kluge—Mitzka²¹, 494—495 s.v. *mürb*). Здесь можно сопоставить семантику чеш. диал. *mrvit* 'трепать, путать, лохматить (солому, нитки и проч.)', *mrvit se* 'копошиться; валяться в соломе' (Bartoš, 208), польск. *mierzwić*, диал. *mirwić* 'трепать, мять, лохматить, путать' (Варшавский словарь II, 960) и упомянутые выше польск. диал. *merchać, myrchać* 'трепать, разбрасывать солому; лохматить, путать', *myrchać się* 'возиться, копошиться'[15].

В таком случае производное от **mьrchati* имя можно понимать как 'нечто потертое, дряное; негодная вещь, дрянь', что легко объясняет разнообразие семантических вариантов слова. Очевиден и переход 'тереть' > 'изнурять', откуда 'кляча, падаль' (мыслимое и как вариант 'дряни'), ср. хотя бы нем. *zerreiben* 'растирать; изнурять, уничтожать' (то же и у ст.-польск. *zmarchać* 'истрепать, изнурить'). Подобное развитие семантики подтверждается аналогией **dьrati* > **dьranь*, ср. словац. диал. *draň* 'оборванцы', *draňa* 'падаль, дохлятина' (Kálal, 110); польск. диал. *drań* '(о вещах) негодная вещь, рвань, мразь, плохой товар; старая вещь, рухлядь, ветошь; (о людях) мошенник, плут, негодяй, подлец, развратник, лентяй; дурак' (ср. еще *drańcia* 'блудница': Варшавский словарь I, 551); рус. *дрянь* 'хлам; все никуда не годное, ветхое, плохое, ничего не стоящее' (Даль² I, 497); укр. *дрань* 'негодная вещь' (Гриченко I, 441); ср. также в связи с чеш., словац. *mrcha* употребление рус. *дрянь* (нескл.) в функции определения (*погода дрянь*). Показательны и производные того же глагола рус. диал. *дёра* 'тот, кто быстро изнашивает одежду' (ср. значение 'неряха' у польск. *marcha* и рус. диал. *морха*), *одёра* 'тощая изнуренная лошадь, кляча', *одёр* 'тощее, слабое домашнее животное; о том, кто быстро изнашивает одежду' (Филин 8, 5—6; 23, 15—16), ср. также *одёр* 'кляча, скверная лошадь', * óдра* 'плохая коровенка', *óдрань* то же (Фасмер² III, 121).

Неудивительно и развитие вторичных значений положительной оценки, в частности 'крупный (рогатый) скот; имущество; товар' у южнославянских продолжений **mьrcha*: ср. укр. *худóба* 'домашний скот, имущество', рус. диал. *худóба* 'скотина' и под. при генетически первичных значениях негативной оценки у континуантов **xudoba*

(< **xudъ(jь)* 'худой, плохой')[16]. Ср. характерные вторичные значения у рус. диал. *одёр* 'здоровый, сильный человек' (при 'нахальный, беззастенчивый человек; (бранно) о глупом, ленивом, дрянном человеке'), *одеры* 'хорошие лошади' (Филин 23, 15—16).

Другим производным от **mъrxati* является **mъrxalь*, куда отнесем с.-хорв. *mrhal̨* 'ягненок' (RJA VII, 59), блр. диал. *мархáль* 'головастик' (Жывое слова, 127: с естественной для названия мелкого существа производностью из значения 'копошиться'), полесск. 'некастрированный баран, баран-производитель'[17].

Как уже отмечалось, **mъrxati*, очевидно, произведено от исходного **mъrsti*. Можно предположить, что здесь представлено образование на *-ati* через промежуточный этап **mъrsti* > **mъrsiti* > **mъrxiti*, давший **mъršiti*. Ср. с.-хорв. *mršiti se* 'метать икру, нереститься', словен. *mŕšiti* 'приводить что-либо в беспорядок (особенно волосы); лениться, бить баклуши'[18] (со значениями, тождественными семантике продолжений **mъrxati*).

Тогда форму, восстанавливаемую как **mъrša*, можно рассматривать, с одной стороны, как производное от **mъrxati* или **mъrsti* (> **mъrsja*), с другой — как имя, производное непосредственно от глагола на *-iti*. Обратное направление мотивации вызывало бы трудности семантического порядка, ср. направление "глагол" > "имя" в паре **mъrxati* > **mъrxa* с аналогичными значениями. Добавим, что и для **mъrxa* не исключена соотнесенность с **mъršiti* (**mъrxa* < **mъrxiti* < **mъrsiti*). К продолжениям **mъrša* относятся болг. *мърша* 'труп животного, падаль; (пейор.) тощее, хилое животное или его мясо' (РБЕ II, 116), *мрьшя* 'падаль, мертвечина' (Геров III, 89); макед. *мрша* 'падаль; труп; голь, голытьба' (Конески I, 426); с.-хорв. *mȑša, mŕša* 'падаль, труп; тощее животное; худая женщина; мужское имя (XIV в.); заколотый освежеванный ягненок или козленок', с *-ęt-* также *màrše* (только ед.ч.), *mrše* 'мелкое домашнее животное' (RJA VII, 81, 82; VI, 487); словен. *mršè* 'кляча' (при *mršȩ̂tina* 'падаль; слабое животное'; последние формы с суф. *-ęt-* могут быть образованы и от **mъrxa*), *marša* 'кузнечик gryllus campestris' (Pleteršnik I, 613, 553); польск. *mersza*[19]; антропоним рус. *Морша* (XVI в.) (Веселовский. Ономастикон, 204)[20]; укр. *мерша́* 'падаль' (Гринченко I, 419), *мирша* то же[21], бойк. *мéрша* '(пейор.) скотина; падаль'[22]. Как видим, значения продолжений **mъrša* тождественны или аналогичны рассмотренным выше в связи с **mъrxa*, причем в общем совпадают и ареалы распространения обоих слов.

Наконец, нижеследующие отыменные производные дают более полное представление о рассматриваемом этимологическом гнезде. Отметим параллелизм значений и сходную географию континуантов слов с корневыми *-x-* и *-š-*, что еще раз подтверждает генетическое родство их мотивирующих:

**mъrxatъ(jь)*: чеш. *mrchatý* 'скверный, плохой' (PSJČ II, 973); рус. диал. (Вят.) *морхáтый* 'заморенный, слабосильный (о животном); невзрачный, неказистый, небольшого роста (о человеке)' (Филин 18, 280);

**mъrxavъ(jь)*: с.-хорв. *mrhav* 'худой, тощий' (RJA VII, 59); словен.

mŕhav 'худой; вялый, ленивый' (Pleteršnik I, 611); чеш. *mrchavý* 'трупный, гнилостный; скверный' (Jungmann II, 503), 'скверный, плохой' (PSJČ II, 973), диал. *mrchaví čeleďín* 'непостоянный, скверный человек' (Malina. Mistř., 60); словац. диал. *mrchavý* '(экспр.) скверный, праздный (человек)' (SSJ II, 190), 'злобный; гнойный (о кори)'[23]; малопольск. *myrchawy* 'отвратительный, плохой', *merchawy* 'парень, гоняющийся за девушками'[24];

***mъršavъ(jь)*: болг. *мършав* 'худой, тощий; незначительный' (РБЕ II, 116), *мрѣшнявый* 'худой, изможденный' (Геров III, 89); макед. *мршав* 'худой, тощий' (Конески I, 426); с.-хорв. *mȑšav* 'худой (о людях, животных и проч.); бесплодный (о земле); истощенный; бесполезный' (RJA VII, 81); словен. *mŕšav* 'худой, изможденный; скромный, неудовлетворительный' (SSKJ II, 867); антропоним рус. *Моршавин* (Веселовский. Ономастикон, 204; см. выше о *Морша*); укр. *мíршавий* 'болезненный, чахлый, паршивый, невзрачный' (Гринченко I, 427; СУМ IV, 714), диал. *мершавий*[25];

***mъršina*: словен. *mŕšina* 'падаль' (Pleteršnik I, 613); чеш. *mršina* 'падаль' (Jungmann II, 505; PSJČ II, 977; Malina. Mistř., 60), словац. *mršina* 'падаль; кляча; прозвище' (SSJ II, 193; Ripka, 236); польск. *marszyna* 'падаль' (Brückner, 322, 328), малопольск. гуральск. *myrsina* 'название чего-то дурного; прозвище' (Karłowicz 3, 206), *myrsyna* 'плохое мясо'[26], *myrszyna* 'о дурной, надоедливой женщине; страшилище', *merszyna* 'кто-либо дурной; страшилище; падаль'[27]; рус. диал. (Ряз.) *моршúнки* 'лентяи; негодяи' (Филин 18, 281); укр. *миршина* 'падаль'[28].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О трудностях разграничения слов с предполагаемой исходной семантикой 'кляча' или 'падаль' см., например, и у *Bezlaj* II, 201.

[2] *Mȃrva* может представлять как фонетический вариант *mȃrcha* (*ch* > *v*), так и продолжение **mъrva*, соотносительного с **mъrviti*, о родстве которого с рассматриваемыми словами см. ниже. Гласный в *mȃrcha*, в свою очередь, может объясняться как вокализацией сочетания с плавным (ср. *Skok* III, 467), так и немецким влиянием, см. *Трубачев О.Н.* Происхождение названий домашних животных в славянских языках. М., 1960, 104. То же относится и к словен. *márha* (см.).

[3] *Malina.* Mistř., 60; *Gregor A.* Slovník nářečí slavkovsko-bučovického. Praha — Brno, 1959, 99: *Lamprecht A.* Slovník středoopavského nářečí. Ostrava, 1963, 79.

[4] *Kellner A.* Vychodolašská nářečí. Brno, 1949, II. 222.

[5] *Orlovský J.* Gemerský nárečový slovník. Martin, 1982, 185.

[6] Гуральск. *myrχa* см. также в: *Pawłowski E.* Gwara podegrodzka (wraz z próbą wyznaczenia południowo-zachodniej granicy gwar sądeckich). Wrocław; Kraków, 1955, 216; также гуральск. *mercha, myrcha* 'скверное животное; непослушное животное, овца' — в: *Herniczek-Morozowa W.* Terminologia polskiego pasterstwa górskiego. Wrocław etc., 1976, II—III. 132—133. Имея в виду географию слова, здесь можно было бы подозревать словацкое заимствование, что опровергается наличием мотивирующих глаголов именно в малопольских, а не словацких говорах, см. ниже. Вокализм *-y-* также не является отражением словац. *-r-* слогового: это встречающийся в малопольских говорах рефлекс сочетания редуцированного заднего ряда с плавным (см. ниже). К тому же этимологическому гнезду может относиться, кроме прочих, и образованное уже на лехитской почве польск. диал. *merchel* 'мальчик, сопляк' (Варшавский словарь II, 923), 'маленький худосочный поросенок' (картотека Sł.gw.p.), кашуб. *mërχel* 'озорник, проказник; старичок' (*Sychta* III, 73), антропоним блр. *Мархéль* (*Бірыла*, 277), заимствованный из польского.

[7] Картотека Sł.gw.p.
[8] *Онишкевич М.Й.* Словник бойківських говірок. Київ, 1984, I. 437, где *-е-* отражает местное широкое произношение *-ы-* < **ь(r)-*.
[9] *Hirz M.* Rječnik narodnih zooloških naziva: Ribe (pisces). Zagreb, 1956, III. 246.
[10] *Karłowicz* 3, 139: преимущественно малопольск. В связи с вокализмом ср. польск. *marszczyć*, ст.-польск. *merskać*, диал. *myrsnąć*, восходящие к **mьrsk-*; польск. *merdać*, диал. *myrdać* < **mьrd-* (Варшавский словарь II. 923, 1084).
[11] Картотека Sł.gw.p.
[12] Широкораспространенная производность значения 'мешкать, лениться' < 'возиться, копошиться' представлена, например, и у польск. *guzdrać się*, диал. *kuzdrać się* (Варшавский словарь I, 944).
[13] *Hirtz M.* Op. cit. 431.
[14] Последнюю форму см. в работе: *Куркина Л.В.* Этимологические заметки // ОЛА. Материалы и исследования. 1972. М., 1974. 222, где поддерживается выдвинутая И. Шефтеловицем идея родства приведенных глаголов и серб. *smrskati* 'разбить, раскрошить'. Слав. **mьrs-*, однако, составляет более близкое соответствие глаголам других языков, находясь с **mьrsk-* в отношениях формантной вариантности. На ином лексическом материале слав. **mьrx-/*mьrx-* (*x* < **s*) реконструируется в: *Варбот Ж.Ж.* К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. VIII // Этимология. 1978. М., 1980, 27—28.
[15] Исходная вариантность слав. **-x-/*-v-* тем более затрудняет интерпретацию случаев типа с.-хорв. *mȃrva*, см. выше.
[16] См.: *Трубачев О.Н.* Указ. соч. 102—104.
[17] З народнага слоўніка. Мінск, 1975, 176; Матэрыялы для слоўніка народна-дыялектнай мовы. Мінск, 1960, 166. То же метафорическое переосмысление исходного глагола как 'оплодотворять' находим и в блр. диал. *трык* — названии барана-производителя < **terti, *tьrą* (слово приведено в: *Трубачев О.Н.* Указ. соч. 81).
[18] *Hirtz M.* Op. cit., 250; *Pleteršnik* I, 613; SSKJ II, 868.
[19] Общекарпатский диалектологический атлас. Вопросник. М., 1981. 81.
[20] Здесь *ш* может быть диалектным соответствием к *щ*, тогда *Морша* из **mьrsk-*.
[21] Карпатский диалектологический атлас. М., 1967. 38.
[22] *Онишкевич М.Й.* Указ. соч. 438.
[23] *Kálal*, 344; *Orlovský J.* Op. cit. 185.
[24] Картотека Sł.gw.p.
[25] Общекарпатский диалектологический атлас. Указ. соч., 81.
[26] *Pawłowski E.* Op. cit., 283. Здесь представлено специфическое подгальское явление фонетики: произношение, в частности, *-si-* вместо общепольск. *-šy-* (см. *Małecki M.* Archaizm podhalański (wraz z próbą wyznaczenia granic tego dialektu). Kraków, 1928).
[27] Картотека Sł.gw.p.
[28] Карпатский диалектологический атлас. Указ. соч., 38.

М. Рачева

ЛЕКСИКА ИЗ КНИГИ "ВИДРИЦА" В ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

В 1983 г. издательство "Болгарский писатель" в Софии осуществило первое, а в 1985 г. — второе стереотипное издание воспоминаний, записок и переписки родившегося в 1836 г. и скончавшегося в 1904 г. сельского священника Минчо Кынчева из с. Коларово, Старая Загора, священника и национал-революционера, узника Диярбакыра, соратника Василия Левского. Получившее от самого создателя символическое название "Видрица" (вост.-болг. диалектный вариант *ведрица* 'вид деревянной посуды'), собственноручно иллюстрированное,

оформленное и переплетенное в богатую оправу произведение попа Минчо объемом в более чем 2 тыс. рукописных страниц, в настоящее время находящееся на хранении в Софии в Народной Библиотеке "Кирилла и Мефодия", признано богатым, а в некоторых случаях уникальным историческим источником о жизни и борьбе болгарского народа в эпоху Возрождения. "Видрица" попа Минчо, представляющее собой необычайный сплав семейной хроники с автобиографией, дневником, путевыми записками, перепиской, воспоминаниями, фольклорными материалами, отчетами, счетами, виршами, написанными на родном для автора южноболгарском диалекте, является, несомненно, значительным памятником болгарского народного языка второй половины XIX в. — памятником, который еще ждет своего исследователя.

Один не совсем удачный опыт в этом отношении представляет осуществленная без необходимых специальных знаний адаптация оригинального авторского текста к требованиям массового издания "Болгарский писатель", в который внесены исправления в редкие и ценные с историко-лингвистической точки зрения слова и формы, что соответственно приводит к созданию неверных представлений. Примеры неудовлетворительного лексикографического толкования, находящиеся в противоречии с авторским текстом, и несостоятельные этимологические определения можно указать и в полезном по замыслу словаре, приложенном к изданию[1].

Огромный по объему оригинальный диалектный текст попа Минчо создает исключительно благоприятную текстологическую основу для историко-этимологического анализа засвидетельствованных в нем редких, особых и недостаточно изученных в формальном и семантическом отношении слов, а также слов с неясной или недостаточно ясной этимологией. Предложенные здесь толкования, основанные на текстологическом анализе, представляют конкретные опыты включения большого лексического богатства книги "Видрица" попа Минчо в историко-этимологические исследования болгарской и славянской лексики. Сверка текста издания "Болгарский писатель"[2] с оригиналом автора[3] нашла отражение в двойной пагинации (и — издание, о — оригинал) и параллельном приведении оригинальной графической формы рукописи непосредственно после написания ее в издании.

**гъмам, гъмна: гмеж*

Пусти бълхи... яхъра бил пълен. *Гъмнаха* (350-о *гжмнаха*), та ни натиснаха (171 — и: 350 — о).

Глагол *гъмна,* представленный в тексте попа Минчо, неизвестен другим источникам. Татарлиев[4] толкует *гъмнаха* как глагол со значением 'пришли в движение, напали' (так! — М.Р.) и предполагает происхождение от глагола *гъмжѝ*, значение которого в словарях современного болгарского языка определяется как 'кишеть; двигаться и издавать неопределенный шум (о множестве); изобиловать'.

Несостоятельно предложенное Татарлиевым объяснение **гъмам, гъмна* прямо от *гъмжѝ*. Связь между двумя глаголами опосредована словообразовательно в обратном направлении. Есть основания

утверждать, что редкий болгарский диалектный глагол **гъмам, гъмна* продолжает праслав. глагол **gъmati*, чья основа совпадает с основой праслав. **gъmъz-iti*, представляемой болг. *гъмжѝ*, диал. *гъмзя̀* 'идти медленно, брести', с.-хорв. *га̏мзити* 'ползти', *га̏мозити* 'шевелиться (о ребенке в утробе)', словен. *gomaziti* 'копошиться, кишеть', рус. диал. *.гомзи́ть* 'заниматься какой-нибудь работой продолжительно, не принося пользы', укр. диал. *гомзи́ти* 'ползать, кишеть (о насекомых)', ср. и праслав. **gъmъz-ati* в словен. *gomazati* 'копошиться, кишеть', рус. *гомза́ть*, др.-чеш. *hemzati* то же, праслав. **gъm-ota/*gom-ota* в чеш. *hmota* 'материя, масса', слвц. *hmota* 'материя; сырье' (ЭССЯ 7, 193, 194), а также и праслав. **gъm-atva-ti* в польск. *gmatwać* 'беспорядочно двигаться' < праслав. **gъmatva: *gъm-ati* (Sławski I, 297—298).

Неубедительно возведение современного болг. *гмеж* 'толпа, сборище' вместе с с.-хорв. *гмаз* 'пресмыкающееся' и др. к праслав. форме **gъmъzъ* (ЭССЯ 7, 195), как и предложенное БЕР (I, 255) толкование *гмеж* как производного от глагола *гъмжѝ* по образцу *сърбе́ж, върве́ж*. Слово *гмеж* 'множество', известное в основном из книжных источников и определяемое как неологизм, созданный поэтом П.П. Славейковым, засвидетельствовано и в диалектах (в говоре с. Вердикал, Софийско, Архив Пенкина, Д.А.). Сопоставление с названными выше *върве́ж, сърбе́ж* и другими отглагольными производными с суф. *-ěžь* также свидетельствует в пользу объяснения *гмеж* как **гъмеж*, производного от **гъмам, гъмна* с закономерным выпадением ера.

Приведенные выше значения производных от той же основы, засвидетельствованные в других славянских языках, дают основание для толкования глагола **гъмам, гъмна* в его пока единственном известном употреблении у попа Минчо не в значении 'нападать' (как предполагает Татарлиев), а в значении 'начать кишеть, появляться в большом количестве'.

дрангол (дрънгол), дранголница: дранго́лник, дрънго́лник

....догде да се приговтиме за наградата: святий *дрънгол* ширих (689—о *дранголь* ширихъ), свята верига за врата като на мечка .... (368—**и**: 689—**о**).

... да му снемат *дранголницата* (784—о *дранголницата*), веригата (422—**и**: 784—**о**).

Издание "Болгарский писатель" непоследовательно передает то с ъ, то с *а* слова *дрангол* и *дранголница* оригинала попа Минчо, неизвестные по другим источникам и недвусмысленно употребленные автором в качестве синонимов к *верига* 'ряд нанизанных друг на друга металлических колец'. Последнее обстоятельство имеет существенное значение для более точного этимологического истолкования в сравнении с гипотезой, предложенной в БЕР (I, 347)для разг. *дрънго́лник, дранго́лник*, 'тюрьма', засвидетельствованного в диалектах и в форме варианта *дрангу́лник* (в говоре Кнежа, Архив Ж. Бояджиева, ДА). Согласно БЕР слово возникло "по всей вероятности, в эпоху Возрождения в среде болгарских революционеров-эмигрантов в Румынии на базе рум. *drîngălău* разг. 'бездельник, негодник' в сочета-

нии с болгарским суф. *-ник* по типу *ку́рник, кокоша́рник, зи́мник* и др. с ироническим оттенком". Однако отсутствуют данные из эпохи Возрождения, подкрепляющие эту гипотезу, еще меньше данных из среды болгарских революционеров-эмигрантов в Румынии, остается неясным, какой конкретный языковой элемент имеют в виду сторонники гипотезы, отмечающие "иронический оттенок". Новые данные текста попа Минчо позволяют думать, что болг. разг. *дранго́лник, дрънго́лник,* диал. *дрънгу́лник* 'тюрьма' по сути являются результатом обычного переноса первоначального значения 'тюремная цепь' на *дранго́лник* и варианты, о чем свидетельствует значение *дрангол* и *дранголница* попа Минчо. Исходное значение *дрангол, дранголница, дранго́лник, дрънго́лник* и *дрънгу́лник* 'тюрьма' < '(тюремная) цепь' может быть понято как 'то, что звенит', ср. та же самая основа в таких диалектных словах, как *дрънга́лки* 'колокольчики, повешенные на шею запряженного коня' (Чокманово, Смолянско, ДА), *дрънга́ла* 'колокольчики, которые кукери вешают себе на пояс' (Ени махала, Лозенградско, СбНУ 34, 18), *дрѝнгалче* 'звоночек' (Любимец, Хасковско, Архив Москов, ДА), *дра́нга = дру́нга* межд. 'дзинь = дзинь' (Желегоже, Костурско, по нашим материалам), а также *дрънго́ля се, дрънгу́лкам се* 'ехать на трясущейся телеге' (Габрово), для которого в БЕР (I, 437) не без основания предполагается звукоподражательная основа.

**заброндя, заброндил: забру́ндя*

Поп Велчо (Козия крак) напил се, като паяк *заброндил* (588—589—о като паякъ *заброндилъ*), та се зачервил като рак (309—и: 588—589—о).

Татарлиев[5] объясняет причастную форму *заброндил* из приведенного текста попа Минчо как *забродил,* прич. форма гл. *бро́дя* 'скитаться, бродить, блуждать', но это толкование совершенно произвольно и несостоятельно. Следует предположить, что значение глагола, засвидетельствованного в тексте попа Минчо в форме причастия *заброндил,* пока не известное по другим источникам, очень близко или одинаково по значению с диалектным глаголом *забрундя́* 'покраснеть от усталости, стыда и др.' (Кесарево, Горнооряховско, Архив Думанова, ДА; Орловец, Горнооряховец, Архив Москов, ДА; Раданово, Тырновско, ДА), ср. и *забрундя́вам се* 'похорошеть, полнеть' (Еленско) и *забру́нден* 'с большими красными щеками' (Чирпанско), представленные в БЕР (I, 571). В БЕР *забру́ндям се* 'краснеть', *забрундя́вам се* и *забру́нден* в указанных значениях толкуются через сравнение с с.-хорв. *бру̏нда* 'бронза'. С.-хорв. слово дано без указания источника и пока не подтверждено лексикографически, ср. с другой стороны, с.-хорв. *бру̏нда* с совсем другим значением 'губа', как и с.-хорв. *брȍнза* 'бронза', *брунза* то же (XVI в.). Толкование БЕР неубедительно, так как недостаточно корректно и основано на сомнительных данных.

Приведенные выше засвидетельствованные формы и значения глагола *забрундя́ (се)* позволяют заключить, что в сущности речь идет о состоянии, связанном с изменением цвета, физиологически связанного с изменением объема по причине прилива крови, набухания. Это

обстоятельство отражено как в тексте попа Минчо в случае употребления причастия *заброндил,* где налицо сравнение с видом паука (напился крови), так и в остальных диалектных значениях: 'покраснеть (из-за прилива крови)', 'полнеть', т.е. 'набухать', 'с большими (т.е. раздутыми) красными щеками'. Указанная специфическая связь между изменением цвета и объема характерна для конкретного состояния, обозначаемого продолжениями праслав. глаголов **bronětі,* **brunětі* и **broniti (sę)* 'белеть; легко темнеть, становиться светлым, блестящим', производными от праслав. **bronъjь,* **brunъjь* 'обозначение светлого, блестящего цвета' (Słownik prasłowiański 1, 386—387, ср. ЭССЯ 3, 41—42), ср. формально и семантически словен. *bruneti* 'приобретать бурый оттенок, созревать (о злаковых)', рус. диал. *брунéть* 'о плодах: поспевать', *бронéть, брунéть* 'дозревать, зреть, спеть (об овсе)', с.-хорв. *бр̑нити* 'темнеть, мрачнеть', рус. диал. 'наливаться, созревать, поспевать (о зерне)'. Несомненными продолжениями тех же праслав. глаголов следует считать приставочные болгарские глаголы **за-брондя (се): заброндил* и *забрýндя (се)* в указанных значениях, которые образованы от тех же глагольных основ с экспрессивным расширителем *-д-*, как в случае *брéндам* 'плакать (о детях)' (мияки Дебарско; Панчев), *дрѐндам* 'ударить; пить, говорить'[6].

кльнцам: кльнкам, клинкам, климам, клюмам

къде лисица? — Из пътче *кльнца* (971—а *клжнцж* // 518—и: 971—о).

Глагол *кльнцам,* неизвестный пока по другим источникам, может быть истолкован на основе приведенного выше текста попа Минчо как глагол, близкий или совпадающий по значению с глаголом *клѝнкам* 'идти медленно вслед за другим, тащиться' (БТР), широко засвидетельствованным в диалектах и в значении 'идти быстро, почти бегом', 'скитаться, бродить', 'хромать', 'шататься', 'бежать аллюром', см. подробно *клѝнкам*[1] в БЕР (2, 455), где в общем виде определяется как звукоподражание. Очень близок по форме и значению глаголу *кльнцам* в тексте попа Минчо диалектный глагол *клѐнка се* 'плескаться (о воде в закрытом сосуде)', засвидетельствованный в костурском говоре (БД 8, 253). Этот глагол, как и глагол *кльнцам*, не имеет этимологического истолкования. При очевидной формальной соотносимости диалектных глаголов *кльнцам* и *клѐнкам* кажется вполне правдоподобным, что засвидетельствованные значения возникли из одного и того же значения 'качаться, шататься' > 'плескаться (о воде)' (для *кльнкам*) и 'качаться, шататься' > 'идти медленно, хромать, бежать аллюром и т.п. (для *кльнцам*). Требует к себе особого внимания формальное и семантическое сходство болг. диал. *клѐнкам* и *кльнцам,* вероятно, с общим исходным значением 'качаться, шататься', с одной стороны, и с с.-хорв. глаголом *кл̀анцати, кл̑анцам* 'идти с трудом, тащиться; бродить, скитаться' и 'шататься', с другой. Скок (Skok II, 89) убедительно толкует сербохорватский глагол как диминутивное образование от с.-хорв. *кл̀амати* 'качать, шатать', соотнося его с с.-хорв. *кл̏имати* в том же значении. В истолковании Скока заложена возможность объяснения и болгарского глагола *клѝнкам* 'идти медленно' и т.д. как диминутивной формы от *кл̏имам* 'ка-

чать головой часто и бессознательно' (БТР), диал. 'покачивать, шатать и т.п.', т.е. объяснение *клі́нкам* от **клі́мкам* с ассимиляцией по нелабиальному признаку *-мк-* > *-нк-*, как в случае с.-хорв. *кла̀нцати* 'идти с трудом и т.п.' от *кла̂мцати*, ум. от *кла̀мати* 'качать и т.п.' (Skok II, 89). Болгарские глаголы *кльнцам* 'качаться, шататься' > 'бежать аллюром' и *кльнкам се* 'качаться, шататься' > 'плескаться (о воде в закрытом сосуде)' в таком случае могут быть объяснены как отражение ступени редукции **klьm-* от основы **klim-* в праслав. **klimati (sę)* 'качать(ся) шатать(ся)'. О праслав. **klamati* и **klimati*, последнее как первоначальная форма болг. *клю́мам* 'кивать головой; клевать носом', с.-хорв. *кљу̏мати* см, ЭССЯ 9, 182—183 и 10, 43—44, БЕР I, 449, 484, где предлагается противоположное, недостаточно убедительное объяснение болг. *клі́мам* как результата делабиализации *клю́мам*.

*лешнак, лешньов: *ле́щен, ле́шник*

Гъсти гори, *лешнаци* (1—о *лешнаци*), диви лози, къпини... (17—и: 1—о)

.... но то всичкия ми ум — една *лешньова* (484—о *лешнюва*) шурупка (251—и: 484—о).

Приведенные выше тексты позволяют установить формальные различия в названиях растениях и плода Corylus avellana в говоре попа Минчо: *лешнак*, мн. ч. *лешнаци* — название растения (может быть и места, где заросли этого растения) от более старого **лещнак* и **лещен* (ср. *лешнюва шурупка* < **лещньова*) — название плода растения в отличие от единого названия в книжном болгарском языке: *ле́шник* от более старого *ле́щник*. Название **лещен* 'лесной орех', засвидетельствованное в форме относительного прилагательного *лещньов* в *лешнюва шурупка*, образовано при помощи праслав. суф. *-ьnь* от праслав. **lěska* 'растение Corylus avellana'. Как продолжения праслав. существительного **lěščьnь* 'плод растения Corylus avellana' могут быть определены и засвидетельствованные диалектные болгарские формы *ле́щан* 'лесной орех' (Геров III, 34)[7], *ле́шчан* то же (Велес, СбНУ 7, 3, 129; Щип, СбНУ 3, 249), как и с.-хорв. *ле̏штан* 'орешник', *ле̏шчање* ср. р. 'место, заросшее орешником' с ь > болг. диал. и с.-хорв. *а*. Указанные формы обычно толкуются как производные с праслав. суф. *-janъ* (БЕР 3, 383; ЭССЯ 14, 262), в свете приведенных данных такое толкование представляется неубедительным. Праслав. основа **lěščьnь* > **ле́щен, ле́щан* и т.д. подтверждается производным *лешнак* в приведенном выше тексте попа Минчо < **лещнак* < **lěščьn'-akъ* в *лешнак* 'дерево и его плод — орех' (БД VI, 144: Кюстендилско; СбНУ 42, 182: Бобошево; Архив С. Бояджиева, ДА: Гаврил Геново, Берковско), ср. и праслав. **lěščьn-jakъ* в *лешняк* 'растение Corylus avellana'[8], мн. ч. *лешняци* (СбНУ 18, 2, 158: Зап. Болгария), *ле́шнек* то же (Ново село, Видинско)[9]. Устанавливаемая праслав. форма **lěščьnь* 'дерево и плод раст. Corylus avellana', нашедшая отражение в диалектных формах болгарского и сербохорватского, имеет существенное значение и для восстановления праслав. формы **lěščьn-ikъ*, имею-

щий своим продолжением болг. *лéщник* > *лешник* 'дерево и плод Corylus avellana', с.-хорв. *лѐшнӣк, љѐшник, лѐшник,* словен. *lešnik* то же, рус. диал. *лешни́к* 'орешник, ореховый лесок, кустарник'. В ЭССЯ (14, 261) эти славянские соответствия подведены под праслав. реконструкцию **lěšьnikъ*, произв. с суф. *-ikъ* от прилаг. **lěšьnьjь* (ср. др.-рус. *лѣшьний* 'лесной'), но эта реконструкция пренебрегает старой и в сущности основной болгарской формой *лéщник* (у Герова *лѣщникъ*) и неубедительно относит взаимосвязанные названия дерева и плода Corylus avellana *лéщан* и *лéщник* с их вариантами к двум совершенно различным по происхождению исходным основам: *леска* и *лес*. Неудовлетворительное состояние вопроса можно было бы объяснить трудностями, которые проистекают, с одной стороны, из отсутствия до самого последнего времени фактического подтверждения основы **lěščьnь* в праслав. **lěščьnikъ* > болг. *лéщник, лéшник* и т.п., а с другой стороны, от несовместимости верной реконструкции **lěščьnikъ* с объяснением *лéщан* и вариантов как производных с суф. *-janъ*. Подтвержденное болгарскими производными *лешньов* 'орешниковый' и *лешнак* 'орешник' праслав. существительное **lěščьnь* > болг. диал. и с.-хорв. *лéщан, лéшчан* с ь > *а*, образованное при помощи праслав. суф. *-ьnь* от праслав. **lěska* 'дерево Corylus avellana', должно быть определено как вполне закономерная база праслав. производного существительного **lěščьn-ikъ* > болг. *лéщник, лéшник* и его соответствий.

*наречее (= наречия): *наречей*

С три *наречия* го наричаха: Пехливанина, Кеменчиджията Кякята Петко (441—о С три *наречее* го наричаха: Пихливаняна, Keминчиджията, Кекята Петку (226—и: 441—о).

Диалектная форма мн. ч. *наречее* оригинала попа Минчо исправлена в издании "Болгарский писатель" на *наречия*, мн. ч. от *нарéчие*. Но книжное болгарское слово *нарéчие* 'совокупность местных говоров с общими чертами; (грам.) неизменяемая часть речи, означающая признак действия, качество или свойство', как видим, не имеет соответствия в контексте, содержащем форму мн. ч. *наречее* в оригинальном тексте попа Минчо. Восстановленная здесь форма ед. ч. **наречей*, неизвестная до сих пор по другим источникам, очевидна, имеет одинаковое значение в приведенном тексте с общеболгарским существительным *пря́кор* 'прозвище, данное в шутку или насмешку'. Сущ. **наречей*, мн. ч. *наречее* следует объяснять как производное с суф. *-ей* от основы, непосредственно связанной с глаголом *нарекá, нари́чам* 'давать имя, именовать'. Такой суффикс, засвидетельствованный в современном звуковом виде *-ей*, с одинаковой степенью достоверности может быть продолжением праслав. суф. *-ějь/-jajь* в отглагольных образованиях типа *оби́чай, слу́чай* (диал. *слу́чей*) или отыменных образованиях типа *бъ́рзей, ли́шей* (< *ли́шай*), но также и праслав. суф. *-ьjь* в отыменных образованиях типа *рéпей, гвоздéй* и др.

Перевела с болгарского *Л.В. Куркина.*

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]*Поп Минчо Кънчев.* Видрица. С., 1983—1985.
[2]*Татарлиев.* Речник на редки, остарели, диалектни, чужди думи и изрази: Поп Минчо Кънчев, Видрица. С., 1983—1985.
[3]Народна библиотека "Кирил и Методий". Български исторически архив. София.
[4]*Татарлиев.* Указ. соч. 699.
[5]Там же, 703.
[6]Подробнее об этом расширителе см.: *Szymański.* Deriwacja czasowników onomatopeicznych i ekspresiwnych w języku bułgarskim. Wrocław etc. 1977. 50.
[7]Периодическо списание на Българското книжовно дружество в София, I. С. 1890, 35, 656; Велес.
[8]Материали за български ботаничен речник. С., 1939, 144.
[9]*Младенов М.* Говорът на Ново село. Видинско. С., 1969. 245.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ДА — Диалектен архив на Института за български език при БАН.

А.Ф. Журавлев

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ "ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ"

aglъjь*/jaglъjь* (1, 53)

Реконструкция этой праформы в ЭССЯ, признаваемая О.Н. Трубачевым проблематичной, опирается, в сущности, на единственное свидетельство словаря В.И. Даля: восточнорусск. *яглый, яглая земля* 'тучная, черная почва, чернозем'. Думается, что имеется возможность более простого объяснения, чем через поиск связей с лит. *úõglis* 'однолетний побег, росток', далее — с лит. *úoga* 'ягода', слав. **agoda* 'ягода' и т.д. или же с лит. *jė̃gti* 'мочь, быть в состоянии', *jėgà* 'сила'.

Прилагательное *яглый,* скорее всего, является фонетическим вариантом слова *дя́глый* 'сильный, здоровый, крепкий; здоровый, дородный; работящий' (псков., сев.; см. Филин 8, 305), производного от глагола *дя́гнуть* 'становиться сильней, здоровей, лучше, крепче; расти' (арханг., помор., сев., новг., там же), см. **dęgnǫti* (ЭССЯ 5, 26).

Ослабление смычки у *d* перед гласными переднего ряда, фонетическая замена *d'* на *j* — не такая уж большая редкость в славянских языках и диалектах: ср. **dęsno,* **dęslo* 'десна' — чеш. диал. *jásno,* словац. диал. *jasno,* полаб. *jǫsna* (наряду с *d'ǫsna*) мн., укр. *я́сна, я́сла, я́сни* мн. (ЭССЯ 5, 26; Machek[2] 111; Фасмер I, 506); **dętelъ,* **dętelina* — чеш. *jetel* 'клевер', диал. то же, 'дятел', чеш. *jatelina,* словац. *jatelina, jat'el'ina* 'клевер' (ЭССЯ 5, 27; Machek[2] 111, 224), укр. диал. *я́тел, я́тол, я́тлик* 'дятел' (ЕСУМ 2, 154), блр. диал. *е́тылына* 'кашка, дикий клевер' (Народная словатворчасць, 144, ср. *дзяцеліна*), многочисленные украинские, а также южнорусские и словацкое йотовые отражения инициального согласного основы **dętel-*/**dętьl-* на карте № 20 "Дятел" 1-го выпуска Лексико-словообразовательной серии Общесла-

вянского лингвистического атласа (ОЛА 1988); рус. диал. *ербалы́знуть, ерболы́знуть, ербулы́знуть* 'сильно ударить; выпить водки' (Филин 8, 365), наряду с *дербалы́знуть, дербулы́знуть* 'сильно ударить; упасть; поесть, пожрать' (там же, 6).

Решающим, на наш взгляд, аргументом в пользу признания прилагательного *яглый* фонетическим вариантом прилагательного *дя́глый* является замечательный параллелизм наименований сныти (и некоторых других растений семейства зонтичных): рус. *дя́глица* и *яглица* (см. Даль[2] I, 512; IV, 246, 672), укр. диал. *дя́глиця* и *я́гли́ця* (ЕСУМ 2, 152—153).

Таким образом, статью ***aglъjь/**jaglъjь* в ЭССЯ можно считать несостоявшейся, а ее материал перенести в позицию **dęglъjь, *dęglь* (5, 25).

*batogъ (1, 165)

Отглагольную природу этого имени неопровержимо доказывает перекличка специализировавшихся значений рус. диал. *бато́г* 'часть цепа, бьющая по снопам, било; палка для околачивания льна; длинный шест, используемый в зимней подледной ловле рыбы для провода сети подо льдом от одной полыньи к другой' (Филин 2, 145) и глаголов *батова́ть* 'вторичным обмолачиванием очищать зерно от оболочек и пленок'; *бата́ть, бота́ть* 'бить по воде багром или б а т а у х о й (!) для того, чтобы испугать рыбу и загнать ее в сети' (там же, 142; ср. еще выразительные варианты слова *батау́ха* 'полый деревянный стаканчик на палке, которым ударяют по воде во время рыбной ловли, чтобы испугать рыбу' — *батаха́, батуха*, там же, 142, 147).

*besědъ/*besědь (1, 213)

Кроме упомянутого в аналитическом разделе статьи гидронима *Бе́седь*, приток Сожа, система Днепра, ср. блр. топоним *Бе́седзь/Бе́седь*, с. Ватковского р-на, неподалеку от устья р. Беседи (Жучкевич, 27). Исключительно сербохорватско-белорусская реликтовая параллель?

О.Н. Трубачев не оговаривает, что проприативное, гидронимическое употребление **besědь* работает в пользу его этимологической трактовки этого слова и его морфологических вариантов, отрицающей присутствие в них приставки *bez-* (**beseda* — 'место сидения', ср. общеизвестную синтагматическую связь глагола 'сидеть' с топографическими терминами и особенно с гидронимами: "...сѣли суть Словѣни по Дунаеви...", "...и сѣдоша на Вислѣ..." и т.п., далее — семантику о с е д л о с т и).

*bez(j)ьmь?

Статьи в ЭССЯ нет. Заголовочная реконструкция может быть осуществлена на основе редкого рус. диал. *безмь* 'бедность, нужда' (Словарь брянских говоров 1, 40), имеющего облик достаточно архаичного образования (ср. **bezdobь, *bezsъpnь, *bezvěstь* и т.п.). Сложение

приставки *bez-* с именной базой **jьть* (см. ЭССЯ 8, 229: **jьть/*jьть*) — производным от глагола **ęti, *jьmq, *jьmati*, отразившимся в др.-рус. *емь,* рус. диал. *имь* 'ручное домашнее животное', арханг. (собственно — 'имущество, владение, имение'), 'жмурки', псков., твер. (Филин 12, 195).

**bezvěkъ(jь)* (2, 51)

Кроме перечисленных свидетельств ср. еще укр. *бéзвiк* (ЕСУМ 1, 397). О.Н. Трубачев комментирует рус. *безвекий* 'вечный, бесконечный во времени' и укр. *безвiчний* то же замечанием о любопытности случая, в котором "отрицание выступает в роли усиления".

К сожалению, это неверно: с образцами употребления отрицания в усилительном значении, описанными Н.И. Толстым в статье "Не — не не"[1], эти случаи ничего общего не имеют. Отрицание *без-* выступает здесь в собственной роли при слове *век (вiк)* в значении 'срок жизни' (ср. *долгий век, век недолог, изжить век, (весь) свой век, на мой век* и т.п.) для снятия семантики предельности, ограниченности, то есть прямо противоположной тому значению, в котором употребляется современное слово *вечный.* Семантический момент о-пределенности, отмеренности, конечности у слова **věkъ*, очевидно, является более ранним, чем значения бесконечности, "вечности", ср., например, попытки объяснения генезиса значения бесконечности из, казалось бы, противоположного у Е. Гавловой: "...'навек' ('в течение моей жизни' — это для меня 'навсегда, вечно')"[2].

**běni?/*běnьky* (2, 87)

Русский материал (собственно, только яросл. *бéни* 'накладка на телегу в виде санок, для перевозки сена, соломы'), по всей видимости, может быть расширен за счет привлечения сюда диал. (моск., пенз., вят., симб., влад., нижегор., костром., яросл.) *бя́ны* мн. ч., *бя́нка* ед. ч., *бя́нки́, бя́ньки* мн. ч. 'двузубые или трехзубые деревянные или железные вилы для уборки соломы, разравнивания скошенной травы, разбрасывания навоза и т.п.' (Филин 3, 360). Ср. также форму *бенки́* (там же, 2, 242), но лишь имеющую при себе отсылку к словарной статье *бя́нки*, где эта форма (и, разумеется, ее значение) не приведена. Значению русских слов ('вилы') не противоречит семантика старочешского соответствия *běnky, bienky* 'мотовило, сновальная мялка'.

Этимологическая связь всех этих слов с **biti* может быть подтверждена глаголом волог. *бени́ть* 'ударить мячом в игрока (при игре в мяч)' и особенно figura etymologica донск. *беньки бить* 'бездельничать' (Филин 2, 242).

**bojь* (2, 167)

Из перечня значений славянских продолжений **bojь* выпадает одно из значений укр. *бiй* — 'боязнь, страх', очевиднейшим образом относящееся к континуантам праслав. **bojati (sę),* с **biti,* связанного на предыдущих этапах формального и семантического развития.

**bolgo* (2, 173), **bolgъ(jь)* (2, 174)

Украинский язык в списке отражений праслав. **bolgo* может быть представлен наречием (из предложно-падежной формы) диал. *не-з-болóга* 'не с добра' (ЕСУМ 1, 203). Не отражен и русский материал: диал. *бологóй* 'старый, больной' (: "Уйди́ *атсéдава!* Ты *балагóй!* Éта састáрился, забалéфшый, худóй то исть" — Псковский областной словарь 2, 87), *бологóе,* в знач. сущ-ного, 'добро, хорошее' (: "Ни г *бълагому,* г дожжу летають ластъчьки, ни г дабру" — Словарь брянских говоров 1, 67), название города *Бологóе* на Тверской земле.

**boliti?* (2, 175)

Реконструкция может быть дополнена формой **bol'ěti* (омонимичной к **bol'ěti* 'болеть, испытывать боль'), ср. рус. диал. *бóлеть* 'становиться больше, расти, увеличиваться' (орл., курск., тул., Филин 3, 74; по нашим записям — также жиздр. калуж.).

**bratrьnъjь* (3, 7)

Не следует ли сюда же отнести и просторечные и диалектные формы рус. *братéльник, братéнник* и под., ср. еще *брáтéл(ь)ко* (см. Филин 3, 154 и след.; Арханг. словарь 2, 104), блр. *браценнік, брацельнік* 'двоюродный брат'[3], предположив в них результаты диссимиляции (*р...р → р...л, р...н*)?

**bridati (sę)* (3, 25)

В связи со значениями болг. и с.-хорв. примеров ('расплетать; выдергивать нити из ткани') не имеет ли сюда отношение укр. диал. *брíдí* 'способ вышивания', признаваемое в ЕСУМ (1, 255) этимологически неясным?

**bukariti (sę)* (3, 87)

Утверждается, что производящая форма, имя деятеля **bukarь* помимо болг. диал. *букáр* 'кабан, хряк' "из других слав. языков пока неизвестно". Очевидный просмотр: ср. рус. диал. *букáрь* 'насекомое, букашка' (иван.), прозвище крестьянина (новгор., Филин 3, 264).

**bulyčь* (3, 94)

Одно из цитируемых значений рус. диал. *булы́ч* — 'молодой и плохой квас; квас или брага на второй воде, второй налив на одну и ту же гущу' (влад., вят.) — замечательно соотносится со значением перм. *булы́ч, булы́сь* 'пасмурная погода с большой влажностью в воздухе' (Акчимский словарь I, 98). Ср. анализ семантики славянской метеорологической терминологии у Т.В. Горячевой, хорошо показавшей, что "сфера понятий, относящихся к пасмурной, дождливой погоде, облакам, тесно соприкасается со сферой понятий, связанных с процессами скисания молока, брожения пива, кваса, теста и т.д."[4].

**čędo/*čęda/*čędъ* (4, 102)

Отглагольная природа этого — первоначально — прилагательного подтверждается наличием существительного *исча́дие* (**jьzčędьje*, трактовка которого в ЭССЯ (9, 23), на наш взгляд, неудовлетворительна).

**čьrtežь* (4, 162)

Ввиду возможного русского происхождения блр. *чарцёж* 'чертеж', приводимого в статье, следует включить собственно блр. топоним *Чэ́рцеж/Че́ртеж*, с. Жлобинского р-на (Жучкевич, 403), прямо связанный с терминологией примитивной землеобработки.

**dervoděľa; *dervьce; *dervьnъ(jь)* (4, 213)

Возможно, заголовки этих статей должны включать на правах вариантов конструкций образования с парной именной основой **drъv-* (*.../*drъvodeľa, .../*drъvьce, .../*drъvьnъ(jь))*. Ср. болг. *дърводе́лец* 'ремесленник-деревообработчик, плотник, столяр', диал. 'дятел', *дърводелство* 'столярное дело', *дърводе́лница*, диал. *дърводелня* 'столярная мастерская'; *дрьвце́*, *дрьвче́* 'деревце'; *дървен* 'деревянный, древесный' (БЕР I, 458, 459, 473), развивающие основу, отношениями вариантности еще индоевропейского характера связанную с основой заголовочных праформ.

**dědъ* (4, 227)

Некоторые значения **dědъ* и его ближайших производных в восточнославянских языках, не отмеченные, впрочем, в ЭССЯ, могут служить дополнительным аргументом в пользу наличия этимологической связи между славянскими названиями воробья и техническим термином рус. *вороб(а), воробы* 'мотовило' и под.[5]

Наряду со значением 'моталка, приспособление для перематывания пряжи в клубки' (сходные технические значения, в которых присутствует семантический элемент 'вращение', отмечается у укр. диал. *ді́до*, блр. диал. *дзедо́к, дзядо́к*, рус. диал. *де́дко*, ср. также *дед* 'деревянный поплавок в виде крестовины...' при том, что крестовина — характерная форма мотовила; см. ЕСУМ 2, 23, 24, 87; Лексика Полесья, 207; Народнае слова, 206; Филин 7, 328, 330)[6], укр. диал. *дедо́к* (и *дедо́чок*) имеет и орнитологическое значение 'вид мелкой птицы, похожей на воробья' (ЕСУМ 2, 23: "мотивация названия неясна").

**dorgъ(jь)* (5, 77)

Этимологию этого слова О.Н. Трубачев ставит в зависимость от предполагаемого наиболее вероятным развития его значений 'милый, дорогой, любимый' → 'дорогостоящий'. Этот семантический вектор, постулируемый на основе синонимичности праслав. **dorgъ* и **milъ*, подтверждается соположением обоих прилагательных в **dorgomilъ* 'любимый, любезный сердцу'. Однако такое предположение в какой-то

степени ослабляется наличием сложения **dorgocěnьnъjь* 'дорогостоящий, недешевый', рисующего допустимость семантической эволюции **dorgъ* в прямо противоположном направлении — от 'ценный' к 'любимый'.

**dǫbrava/*dǫbrova* (5, 93)

О.Н. Трубачев для прямого связывания заголовочной формы со словом **dǫbъ* 'дуб' видит препятствие в производных значениях типа рус. *дубро́ва* 'трава; покос'.

Препятствие здесь совершенно мнимое. Ср.: "В Полесье часто сено называется по тому географическому объекту, на котором оно скошено, т.е. оно может именоваться так же, как географический апеллятив или даже как топоним. В Симоновичах могут сказать:*γрудá дав коро́вы* 'я дал корове "груда"', или — *дав боло́та коровы...* Здесь мы наблюдаем явление, аналогичное возникновению марок вин типа *бордо, малага* или *цинандали...* нередки случаи, когда название определенного географического объекта (например, *дуброва)* [в данном говоре. — *А.Ж.*] исчезает, а название травы остается... Это явление характерно не только для Полесья, но и для всего славянского мира"[7] далее следуют иллюстрации: **dǫbrova, *grǫdъ, *bolto, *bergъ, *galo, *lǫka, *lędo* и др.).

**e* (6, 7)

Опущены белорусское и — целиком — западнославянские междометия (также модальные частицы и союзы), возводимые к праслав. **e* (см. хотя бы ESSJ 2, 182—184). Непринятие их во внимание не мотивируется. Случайный пробел?

**e sь, *e se* (6, 8)

При включении в перечень рефлексов др.-рус. *осе* и укр. *ось* нет оснований для игнорирования рус. диал. *вóсé* 'вот, вон', *вось* 'вот, вон' (Филин 5, 130, 153), блр. *вось* част. (указ., усил.) 'вот; -то; то-то; вот так' (Белор.-русск. словарь[2] I, 240). По-видимому, сюда же в таком случае имеют отношение рус. диал. *осéй* 'позавчера; три дня тому назад' (ворон.), *осéйко* 'недавно, на днях' (влад., Филин 23, 358, 359), многочисленные рефлексы с протетическим *в-* практически на всей великорусской территории (Филин 5, 130—133, 153, 156). См. еще ESSJ 2, 542—543.

**e tъ, *e ta, *e to* (6, 8)

Не включены др.-рус. *ото* част. 'вот' (СлРЯ XI—XVII вв. 13, 286), рус. *вот,* диал. *во́то* 'вот' (Филин 5, 159), укр. *отóй, отá, отé* 'тот, та, то; вон тот, та, то; этот, эта, это' — аналогично предыдущему (хотя, вероятно, им будет посвящена самостоятельная словарная статья с **о* в качестве начального компонента сочетания).

**gotьjь* (7, 21)

Непонятно, почему **gomъ*, с которым связано заглавное слово и предыдущие производные формы (**gomola..., *gomolьka..., *gomoněti..., *gomonь, *gomota...*), определено как "незасвидетельствованное": *гом* (южн.), *гомъ* (ряз.) 'крик, шум, смех, говор, громкая ссора, нестройные и шумные голоса' (Даль[2] I, 373), чему посвящена и специальная статья у Фасмера (Фасмер I, 435).

**xarobylьje?/*xarobura?* (8, 20)

Ср., возможно, сюда же, рус. диал. *харабóрья* 'мохры, края обитой одежды' (Даль[2] IV, 542), *харабóры* 'оборванные края одежды' (Фасмер IV, 223, с отсылкой к *фалбалá* 'оборка' из франц., итал. *falbala* то же). В качестве материала для сомнений по поводу соображений М. Фасмера ср. фамилию *Харабáров*. Возможно, заимствованное *фалбала* контаминировало с русским словом, родственным приведенным в ЭССЯ чешским и словинской лексемам.

**jьkno* (8, 216)

Ср. еще в.-луж. *jikrno* 'икра' (Трофимович, 73), которое наталкивает на еще одну возможность истолкования в.-луж. *jikno* — через допущение исчезновения ослабленного *-r-* при стечении согласных, как в *jutny* 'утренний' < *jutrny* то же. Или же *jikrno* — контаминативное образование?

**kobьnikъ* (10, 103)

Среди довольно однородных значений 'предсказатель, гадатель', которые можно отнести к книжной традиции, обращает на себя внимание замечательное вят. 'кузнечик', косвенно подключающее сюда тему связи в народных представлениях кузнеца с нечистой силой и колдовством, свидетельства чему весьма многообразны, от лексических (ср. *ковать — коварный, кознь* и т.п.) до литературных (ср. образ героя гоголевской "Ночи перед Рождеством").

**kodьra* (10, 107)

Часть рус. диал. фиксаций слова *кóндра* 'ссора, вражда' может быть видоизменением слова *кóнтра, кóнтры* 'вражда', ср. *в кóндрах* 'в ссоре' (1924!, Филин 14, 247). Несомненно, сюда же, однако, относится не упомянутое рус. диал. *кодря* 'половик, дорожка, вытканная вручную из разноцветных лоскутков' (ставроп., Филин 14, 46), если это не украинизм, ср. цитируемые в ЭССЯ полтавское и полесское свидетельства.

**kokošь* (10, 115)

Сюда же производное блр. диал. *какашы́на* 'то же, что ветраадбóй, две доски (или жерди), которые прибиваются к обрешетине с обеих сторон фронтона' (Народнае слова, 221), которое заполняет бело-

русскую лакуну в списке соответствий. К семантике вводимого белорусского слова ср. значение блр. диал. *какóшка* 'своеобразная подпорка для расширения лавки, чтобы на ней можно было постлать постель', цитируемого в статье **kokošьka*, с одной стороны, и архитектурный термин рус. *кýрица* 'стропило; крюк, поддерживающий кровлю' (Даль[2] II, 223; Филин 16, 128), с другой. По всей вероятности, сюда же и блр. диал. *кокошыцы* мн. 'верхние части ткацкого станка' (Народнае слова, 79).

**koporyje* (11, 22)

Положение о неподтвержденности этого "возможно, древнего сложения" примерами из апеллятивной лексики устарело: сюда же рус. диал. *kəparói̯ (*kop-o-rъj-ь), kəparóic (*ko-p-o-rъj-ьc-ь)* 'крот' (Енино Серпуховского р-на Московской обл., Погорельцево Железногорского р-на Курской обл., см. ОЛА Серия лексико-словообразовательная I, карта № 12).

**kodьla/*kodьlo* (12, 53)

Приводимое здесь польск. *kudła* далее служит единственным основанием для реконструкции праслав. **kudьla* (ЭССЯ 13, 84). В таком случае в настоящей позиции польский пример разумно опустить.

**krepiti* (12, 123)

Приводимое в статье рус. диал. *крепúть* 'чинить, исправлять', по всей видимости, следует исключить, отнеся его к континуантам **krěpiti* (см. 12, 132).

**krьnǫti* (13, 74)

Некоторые из множества отмечаемых в Филин 15, 368—369 значений рус. диал. *кря́нýть, крéнýть*, относимого вслед за Фасмером к праслав. **krętnǫti* (см. ЭССЯ 12, 147—148), обнаруживают большую близость к значениям приводимых здесь укр. и блр. форм ('тронуть, прикоснуться, схватить что-либо' и под.). Это результат независимого развития семантики **krętnǫti* или же взаимодействия с **krьnǫti?*

**kučьma*

Статья в ЭССЯ, видимо, пропущена в результате технического недосмотра. Ср. ссылку на нее на стр. 252 этого же выпуска: (о **kyčьma*) "Родственно **kučьma* (см.)".

**kvakъ* I (13, 148)

Нельзя ли к единственному здесь сербохорватскому примеру со значением 'крюк, зацепка' (ср. значения 'крюк; клюка, багор; дверная ручка' и под. у макед., с.-хорв., словен., словац., в.-луж. отражений праслав. **kvaka* I—ЭССЯ 13, 147) присоединить укр. диал. *квак* (пренебр.) 'мужик, мурло' (ЕСУМ 2, 414: "аффективное образование")?

В отношении значения ср. употребление применительно к людям слов *кочерга, клюшка* и под.

**kъlka/*kъlkъ* (13, 188)

Не может ли быть сюда отнесено укр. диал. *ко́вки* 'сережки' (ЕСУМ 2, 485: "возможно, результат упрощения слова *ковткú* то же")? Основанием для этого может служить "исходная семантика 'качать, мотать, шатать ...' формально близких экспрессивных глаголов **kъlkati, *klъkati, *kъltati*. Надежность сравнения, однако, снижается наличием варианта диал. *ковiки* 'сережки' (там же).

**kъlmatъjь* (13, 189)

Сближение рус. диал. (карел.) *калма́тый* 'безрогий' и блр. *калма́ты* 'косматый, лохматый' представляется сомнительным как, во-первых, из-за семантических трудностей, так и, во-вторых, из-за наличия в северновеликорусских и западных русских говорах формы *комла́тый* 'комолый, безрогий' (Филин 14, 233), очевиднейшим образом связанной с *комолый* 'безрогий', далее — с **komьlь* (в ЭССЯ, кстати, в отдельную позицию не помещенным, хотя оснований для этого, на наш взгляд, достаточно).

**kъrma* I (13, 220)

Связывая этимологически **kъrma* I, **kъrmъ* I 'корма, задняя часть судна, кормовое весло' с **kъrma* II, **kъrmъ* II 'корм, пища', О.Н. Трубачев прибегает к следующему объяснению: "У истоков значения 'корма, кормовое весло' лежало, думается, уже готовое значение 'корм, скармливаемое'. Можно предположить, что погружение в воду кормового весла — важнейшего корабельного весла — понятийно соприкасалось с магией кормления, задабривания опасной водяной [водной. — *А.Ж.*] стихии" (с. 221—222).

Принимая постулируемую здесь этимологическую общность как весьма вероятную, нельзя в то же время, на наш взгляд, согласиться с гиперболизацией роли магических представлений (в принципе нами отнюдь не отвергаемой) в данном конкретном случае предметной номинации. Значения 'пища, еда' и 'руль, весло' (→ 'корма') могут быть соотнесены как субстантивные ответвления от крайних звеньев достаточно простой и естественной цепочки глагольных значений 'кормить, пасти' — 'ухаживать, хранить, спасать, печься' — 'вести, направлять (в том числе стадо, судно)' (— 'направлять духовно, наставлять, воспитывать'), представленных в группе славянских глаголов **kъrmiti, *pasti, *xorniti* (ср. сохранение значений 'кормить; еда, корм' у южно- и западнославянских континуантов **xorniti*, производящего для него заимствованного **xorna*, унаследовавших эту семантику от иранского источника, см. ЭССЯ 8, 76—79), **pitati* (ср. *питать : воспитать*), вплоть до полного семантического слияния в производных значениях имен *пастырь* и *кормчий*. В этом случае не возникнет необходимости в натянутых и малоубедительных попытках найти позицию семантической нейтрализации значений 'корма' и 'корм'

в значении 'мотня рыболовного снаряда', — малоубедительных именно в силу излишней наглядности ("мотня как бы завершает рыболовный снаряд, уже приближаясь к понятию кормы, но, будучи набита рыбой, сильно схожа с раскормленной утробой", с. 222).

Значение **kъrma* 'руль, весло' мы рассматриваем, таким образом, как сравнительно позднее и толкуем собственно не как непосредственно '(отрезанная) палка, жердь, часть ствола'[8], а как 'правило', возникшее на базе глагольного значения 'вести, направлять (в частности, судно)'.

**kъrzьno* (13, 244)

Удачность попытки объяснить значение 'мех' как вторичное по отношению к "первоначальному" 'плащ' и, исходя из этого, усмотреть этимологическую связь **kъrzьno* с **kъrzina* через семантику 'плетения' ("примитивные плащи вообще могли быть [разрядка наша. — *А.Ж.*] плетенкой...") резко снижается привлечением сюда производного блр. диал. *карзáн* 'летучая мышь' (Тураўскі слоўнік 2,183), далее — укр. диал. *коржан, коржєн, куржєн* 'летучая мышь'[9], блр. диал. *karžán* (ОЛА Серия лексико-словообразовательная I, карта № 15). Для наименований летучей мыши в восточнославянских языках характерно ономасиологическое акцентирование кожистости (крыльев): *кожан, скурат, шкурат*. Поэтому нам кажется предпочтительным в **kъrzьno* первичным считать значение 'кожа, шкура' (ср. приводимый словенский пример: ср. также рифмование с **azьno* 'кожа', см. ЭССЯ 1, 103), а более поздним — 'плащ'.

Сомнение вызывают и соображения о плетении плащей: во-первых, простая шкура, используемая в качестве плаща примитивнее плетенки, а, во-вторых, насколько можно понять, рогожные плащи у предков славян — реалия сама достаточно гипотетичная.

**lačiti* (14, 8)

Не может ли приводимое сербохорв. диал. *лáчити* 'производить обрезку виноградной лозы ...' быть болгаризмом или македонизмом? Ср. болг. диал. *лáча* (= *лѣ́ча* в литературном языке) 'отделять, отлучать; очищать виноград, чеснок, лук, капусту от лишних веток и листьев' (Станкедимитровско, БЕР III, 329). Связывание сербохорватского слова с в.-луж. *łačić so* 'медлить, выслеживать, идя следом', осуществленное фактически без доказательств ("вторичная специализация древнего охотничьего термина в виноградарском значении ... в общем вероятна") выглядит с точки зрения семантики большой натяжкой.

**lajьno/*lajьna/*lajьnъ* (14, 22)

Еще рус. диал. *лáйно* 'нечистоты во внутренностях животного' (арханг. Филин 16, 248).

Перевод болг. *лайнó* ('эксперименты') по меньшей мере неточен: возможности экспериментирования в данной области деятельности как будто уже исчерпаны.

**ligati* I (15, 87)

Вызывают сомнения и сама реконструкция и, далее, связь славянского слова с цитируемыми индоевропейскими (лат., алб.) лексемами. От укр. *лигáти* 'набрасывать веревку на рога вола', *лигáтися* 'сходиться с кем, связываться с кем, соединяться' нельзя отрывать блр. *лыгáць* 'низать; связывать (веревкой, своркой); счаливать', *лыгáцца* 'низаться; связываться; счаливаться' (Белор.-русск. словарь[2] I, 653), *налыгáць* 'нанизать; привязать, навязать (веревкой, своркой); связать вместе' (*налыгаць коней*),, *налы́гваць* 'нанизывать; привязывать, навязывать; связывать вместе; налавливать, арканить (при помощи петли — многих)', обл. *налыгáч* в разн. знач. 'смычок, свора; налыгач' (там же, 739). Территориальных помет к рус. *налы́гач* 'часть воловьей упряжи, род повода, веревка, привязанная концами к рогам обоих волов у В.И. Даля (Даль[2] II, 436: "*налагáть?*") не дается. Если приводимые в Филин 20, 25—26 *нáлыг, налыга, налы́гач* 'ремень или веревка, надеваемая на рога запряженных волов и служащая поводом; веревка с петлей на конце для привязывания или вождения быков, коров и других животных', *налыгáч* 'длинный прут, которым погоняют быков', *налыгáчный* 'служащий налыгачом', *налы́гивать* 'надевать на быков налыгач (повод) или привязывать веревкой за рога быков, коров и т.п.', *налыганный* 'привязанный (о корове, быке)' по своему территориальному распространению (курск., белгор., Дон, Кубань, Терек, Нижняя Волга, Южный Урал, северный Казахстан) могут расцениваться как результаты украинского влияния (ср. укр. диал. *налыгач* 'поводок': "Вола нельзя продавать вместе с *налыгачем:* не будет водиться хороших волов", то этого нельзя сказать о влад. *лыгáча* 'поволок, оборожек, налыгач': "Иногда при продаже скотины "лыгáчу, старожок (из мочала) или оброть (уздечка)" продавец старается оставить у себя, не отдавая покупателю"[11].

При таких обстоятельствах праславянская реконструкция, если она допустима, должна выглядеть как ***lygati*, ***lygačь* . Впрочем, смущает фамилия *Лигачёв* (не из **Лыгачёв* ли, ср. **lьgati*, итератив **lygati?* Или связано с болг. диал. *лигáчь* 'несерьезный человек, баловень' — к *лúга* 'слюна; слизь; слюнтяй' (БЕР III, 392)?).

**lixvarь* (15, 99)

Сюда же, несомненно, русская фамилия *Лифáрь*, если она не украинского или белорусско-польского происхождения (список отражений заголовочной праформы в ЭССЯ далеко не полон, БЕР III, 437 упоминает также словен., укр., блр., в.-луж. слова; см. еще Трофимович, 109; Филин 17, 76; восточнославянские формы могут быть полонизмами)'.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Толстой Н.И.* "*Не* — не 'не'" // Фонетика. Фонология. Грамматика: К семидесятилетию А.А. Реформатского. М., 1971, 284—286.

[2] *Гавлова Е.* Славянские термины 'возраст' и 'век' на фоне семантического развития этих названий в индоевропейских языках // Этимология 1967. М., 1969, 38.

[3] *Юрчанка Г.Ф.* Народнае вытворнае слова. З гаворкі Мсціслаўшчыны. А — Л. Мінск, 1981. 60.
[4] *Горячева Т.В.* К изучению славянской метеорологической терминологии // Этимология. 1984. М., 1986. 43.
[5] *Журавлев А.Ф.* К этимологии слав. **vorb-* 'птица Passer, воробей' // Этимология 1978. М., 1980. 52—58.
[6] См. также: *Дзендзелівський Й.О.* Програма для збирання матеріалів до лексичного атласу української мови. Київ, 1987. 194.
[7] *Толстой Н.И.* Славянская географическая терминология: Семасиологические этюды. М., 1969. 247.
[8] *Петлева И.П.* Этимологические заметки по славянской лексике. IV. // Этимология 1974. М., 1976. 29.
[9] *Дзендзелівський.* Указ. соч. 227.
[10] *Ястребов В.Н.* Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии. Одесса, 1894. 8.
[11] *Завойко Г.К.* Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии. // Этнографическое обозрение, кн. 103—104, 1914, № 3—4. 122.

Х. Шустер-Шевц

СЛАВЯНСКИЕ ПРОТЕЗЫ В СЛУЧАЯХ ЗИЯНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СЛАВЯНСКОЙ ЭТИМОЛОГИИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКИ

Славянские языки отличаются от большинства индоевропейских языков, между прочим, еще и тем, что в них получила развитие сильная тенденция к образованию анлаутной протезы в случаях зияния перед словами (морфемами) с гласным началом слова. По мнению большинства исследователей, это явление теснейшим образом связано с получившим начало еще в праславянскую эпоху законом открытого слога (нарастанием звучности). Ход и результаты этого фонетического процесса, приведшего в славянском к образованию различных типов протезы, в общем хорошо известны и соответствующим образом описаны[1]. Однако при более детальном диахроническом анализе лексики отдельных языков приходится постоянно сталкиваться с исключениями, которые недостаточно объяснены или как таковые вообще не признаны. Это обстоятельство не могло не отразиться на правильном понимании генетических связей слов, что в ряде случаев, по нашему мнению, привело к ошибочным этимологическим толкованиям. Поэтому необходимо еще раз подвергнуть более тщательному анализу проблему протезы в славянских языках, особо обращая внимание на значение полученных результатов для славянской этимологии и истории языка.

Историческая грамматика славянских языков различает в первую очередь два типа анлаута, а именно *u̯ (v-, w-)* и *i̯ (j-)*, причем самой древней по времени должна быть признана протеза *u̯* перед *y-*[2]. Она возникла еще до делабиализации и.-е. **ū̆* ≥**y*, *ъ, ср. напр., **vydra* 'выдра' ≤ **u̯ūdrā* (лит. *ū́dra* 'выдра', др.-инд. *udrá-*, название водяного зверя), **vymę* 'вымя'≤**ūdmen-* (др.-инд. *ūdhar* 'вымя', лат. *uber*

то же), приставка *vy- ≤ *ūd- (герм. ūt, др.-в.-нем. ūz, нов.-в.-нем. aus), предлог *vъ с отражением ступени редукции и.-е. *en 'в', приставка *vъz- ≤ *ŭus-(авест. us-, преверб). Словам на *u ≤ *au, ou неизвестна протеза u̯-, ср. ст.-слав. удъ 'член', ухо, рус. ýлица, ýлей и т.д. Лишь в позднепраславянском и отдельных славянских языках в этой позиции спорадически развивалась протеза i̯-, иногда u̯-, ср. ст.-слав. югъ, рус. юг, словен. júžina, болг. южина 'ужин' и ýжина, с.-хорв. ȕžina и рус. ýжин то же; в.-луж. hižo ≤ jižo ≤ južo, также диал. juž, польск. już, чеш. juž, již 'также, тоже' при рус. уже и чеш. už; укр. вýлій 'улей', но рус. ýлей, укр. вýлиця 'улица', диал. гýлиця, блр. вýлка то же, но др.-рус. улица то же и 'площадь; ряд'.

Первоначально славянский не знал никакой особой протезы также перед o- (≤ *ă): ст.-слав. отьць, рус. отéц, польск. ojciec, чеш. otec, с.-хорв. ȍtac. Исключением является слово, обозначающее запах (ст.-слав. вонꙗ 'запах', рус. вонь, в.-луж. woń, н.-луж. woń 'запах', чеш. vůně, словац. voňa, с.-хорв. vȍnj то же). Шире представлена протеза u̯- в западнославянских языках, но засвидетельствована она в этих языках сравнительно поздно: в чешском — с XIV в.,[3] как и в польском[4]. В лужицких языках это также новое явление. Вошедшие в немецкий язык древние местные названия еще не знают никакой протезы, ср. Ostro-Wotrow, округ Каменц (1215 г.: Oztro, Ostrowe), 1006 г.: Ostrusna, совр. Ostritz, округ Гёрлиц, Oehna — Wownjow, окр. Бауцен (1245 г.: Eunowe, 1843 г.: Hownjow). Древнее, чем в серболужицких, протеза u̯-, напротив, в полабско-поморском, где она засвидетельствована уже в древних местных названиях (1160 г.: Wurle ≤ *Orьlьje, 1244 г.: Wustrow ≤ *Ostrovъ, 1177 г.: Wilsne, 1209 г.: Wilsna ≤ *Olьšьna или *olьšina и т.д.[5] Эта протеза была известна также новополабскому (vid'en ≤ *ognь, vǻpăk ≤ *opakъ и т.д.).

Более древней является протеза i̯- перед a- (*ā), но она также непоследовательно реализуется всеми славянскими языками, ср. ст.-слав. ꙗгньць при агнѧ'ягненок', болг. áгне, я́гне, рус. ягнёнок, др.-рус. ꙗгнѧ, польск. jagnię, чеш. jahně, в.-луж. jehnjo, н.-луж. jagnje; болг. я́года, рус.,др.-рус. ягода, польск., н.-луж. jagoda, чеш., в.-луж.,словац. jahoda и т.д.; ст.-слав. аице при рус. яйцо. Сюда же примыкают единичные случаи с v-: чеш. vejce, др.-чеш. vajcě 'яйцо', с.-хорв. vatra 'огонь' при др.-словен. jatra 'утро'[6]; рус. вапа 'краска', др.-рус. вапь ж. р. 'краска', вапьно 'известь' при с.-хорв. vápno, japno и словен. jápno, ápno, vápno то же. Лужицкие языки обнаруживают перед a- наряду с j- (прежде всего в в.-луж., в меньшей степени в н.-луж.) также более позднее h-: в.-луж. a, диал. ha, союз 'и', н.-луж. a то же, в.-луж. abo, более старое aby, диал. habo, союз 'или', в.-луж. hač, част. 'ли, до тех пор, пока', н.-луж. ac, част. 'как, ли', в.-луж. ani, диал. hani(c), част., н.-луж. daniž, част. то же, в.-луж. hakle, нареч. 'сперва', в.-луж. jako(ž), диал. hako, н.-луж. ak(o) союз 'в то время как, после того как', в заимствованиях: в.-луж. haperleja 'апрель', (h)aptyka 'аптека', в.-луж. jałmož(i)na, н.-луж. wołomužna 'подаяние', в.-луж. (h)amjeń 'аминь', в.-луж. japoštoł 'апостол', н.-луж. диал. haw, нар. 'здесь', также hew и how, в.-луж. jow то же, в.-луж., н.-луж. hewak, нар. 'впрочем'.

Сходная картина, как в примерах с a, наблюдается перед *ĭ (i, ь-)

и перед *е. *ě, *ę. Здесь протетическое i- очень древнее, ср. ст.-слав. ити идѫ, рус. *идти, иду*, польск. *iść, idę*, чеш. *jít, jdu (*jьdǫ)*, в.-луж. *hić, du, njeńdu*, н.-луж. *hyś, źom, njejźom (h- ≤ j-*, как в в.-луж. *hižo;* с-*ń*- в в.-луж. *njeńdu*, см. ниже); с.-хорв. *ìti, ìdêm*, словен. *íti, ídem*, ст.-слав. ꙗти, имати, в.-луж. *jeć, jimać* 'хватать, брать'; ст.-слав. игрь ж. р. 'игра, шутка', играти 'играть, шутить, скакать', рус. *игра, играть*, диал. *грать (*jьgrati)*, ст.-чеш. *jhra, jhráti (*jьgrati)*, слвц. *ihra, hrati*, польск. *gra, grać*, в.-луж. *hra, hrać* 'игра, играть', в.-луж. *zejhrawać* 'размахивать, выражать радость движениями'; рус. *еда́*, укр. *їда́*, в.-луж., н.-луж. *jěsć, jěm* 'есть'; также в.-луж. *Jěwa*, имя; ст.-слав. ꙗзыкъ, рус. язык, польск. *język*, в.-луж. *jazyk*, н.-луж. *jězyk;* ст.-слав. ѥго, ѥму, и, в.-луж. *jeho, jemu*, н.-луж. *jězyk;* польск. *jego, jemu*. Как возможный исходный пункт в плане относительной хронологии протезы *i̯*- перед *ě может приниматься наблюдаемый в отдельных славянских лексемах переход *ě ≥ 'a* после *č, š, ž* и после *i̯*. Но это последовательно проведено только в древнеболгарском и болгаро-македонском. Отсюда вытекает, что *i̯*- протеза перед *ě* начала развиваться лишь к концу праславянского, при этом она не сразу охватила все позднепраславянские диалекты[7].

На отсутствие протезы *i̯*- перед *е — указывают, напр. вост.-слав. примеры с переходом *е- ≥ о-*, как в случае рус. *оди́н, о́зеро, оле́нь, оре́л, ольха́* 'ольха' при польск. *jeden, jezioro, jeleń*, н.-луж. *jerjeł* 'вид хищной птицы', слвц. *jelša*, 'ольха' и т.д.[8]

Внутри слова, т.е. собственно в позиции сандхи, в славянских языках развивались в общем и целом те же протетические звуки, что и в начале слова, ср. примеры вроде чеш. *pavouk* 'паук', словац. *pavúk*, укр. блр. *павýк*, в.-луж., н.-луж. *pawk (≤ pawuk)*, рус. *паýк (≤ *pa(u̯)-ǫkъ)* при польск. *pająk* 'паук', *pajęczyna* 'паутина', словен. *pájek*, болг., макед. *пáяк (≤ *pa(i̯)ękъ);* в.-луж. *zabiwać* 'убивать' при н.-луж. *zabijaś;* польск. *napoić* 'напоить' и *napajać/napawać* то же; н.-луж. *natšojiś se* 'настроиться, вести себя, делать вид, готовиться' при н.-луж. *natšawaś se* то же и т.д.

Особая ситуация имела место в славянских языках в позиции перед *ǫ-. Здесь наряду с протезой *u̯*- (ср. польск. *węgieł* 'угол', словен. *vogál*, укр. *вýгол* то же при ст.-слав. ѫгълъ, рус. *угол*, с.-хорв. диал. *ȕgal*, чеш. *úhel* и т.д.) в ряде случаев развилось также протетическое *g*-, ср. польск. *wąż* 'змея', в.-луж., н.-луж. *wuž*, без *u̯*- — рус. *уж*, чеш., словац. *užovka* то же, но с.-хорв. диал. *guž*, словен. *gôž* наряду с *vôž, ôž* то же, далее польск. *wąsienica, gąsienica* 'гусеница', словен. *vosénica, gôsenica*, болг. *въсéница, гъсéница*, рус. *гýсеница*, рус.-цслав. *усеница, юсеница* (с *j*- перед *u ≤ *ǫ*-), укр. *гýсениця*, диал. *гýсень, ýсениця, вýсень, всéльник* то же; польск. *gążwa* 'кожаный ремень цепа', словен. *gôža, vôža* 'ремень', *ôža* 'веревка, бечевка', с.-хорв. *gȕžva* 'жгут из гибких прутьев; соломенный жгут; трос, канат; давка, толкотня', рус. *гуж* 'канат, трос; супонь', укр. *гужвá, гуж, вуж* 'бечёвка, веревка', блр. *гуж*, полаб. *vózé (≤ *ǫžьje)* 'перина', чеш. *houž, houžev*, слвц. *húžva* 'гуж, клубок, моток'[9].

Эту аномалию славянского анлаута традиционно пытались объяснить влиянием семантически близких слов, при этом ссылаются на

с.-хорв. *gůšter* 'ящерица', кашуб. *guščor* 'вид рыбы' (Vasmer I, 322), но это невероятно, поскольку имеются свидетельства с *ø-* и *j-*. Аномалия остается необъясненной. По нашему мнению, в данном случае речь идет лишь о двух фонетических вариантах одной и той же анлаутной протезы. При *u̯-* — лабиальный элемент, а при *g-* гуттуральный элемент назальной артикуляции следующего **ǫ* сильно влияют и соответственно видоизменяют артикуляцию воздушной струи, выходящей из открытой полости рта[10]. Но в отдельных случаях протеза *g-* могла выступать в славянском также перед назальным сонорным *n-* — факт, на который до сих пор мало обращалось внимания. Г. Шевелев[11] ограничивает ее вообще лишь позициями перед *ń-* (т.е. перед начальным *n* + *i̯*). Древнейший лексикализованный пример, восходящий еще к праславянской эпохе, — слав. **gnězdo* 'гнездо' ≤ **ne-isdos* или **noisdos*, ср. лат. *nidus* то же, др.-инд. *nīḍá-* 'ложе, гнездо', арм. *nist*, нов.-в.-нем. *Nest*. Восходит к и.-е. **ni-*.'вниз' и и.-е. **sed-* 'сидеть'[12]. Ср. далее рус. *гнетить* 'разжигать, подрумянивать хлеб', диал. также *загнежать* 'разжигать' при польск. *niecić* 'разжигать, распалять', чеш. *nítit*, слвц. *nietit'*, словен. *nétiti* то же, с.-хорв. стар. *unititi* 'разводить огонь'; болг. диал. *гнúва* 'поле' при литер. *нúва*[13]; н.-луж. диал. *gnić, gnitka* 'нитка', *gnilki* 'мелкий' при н.-луж. *měłki, miłki* то же, в.-луж. *niłki* (≤*hniłki*) то же (Schuster-Šewc 1, 233; 2, 897), сюда же чеш. диал. *hnělkej, hnílkej* то же; н.-луж. диал. *gniski* 'низкий' при н.-луж. *niski* то же, н.-луж. стар. диал. *pognurić* 'тонуть, погружаться' (Jakubica NT 1548), с.-хорв. *gnjuriti* 'погружаться, окунаться', *gnjurac* 'ныряльщик' (с вторичной палатализацией группы согласных *gn-*[14]), далее болг. диал. *гмур(к)ам се, гмурвам се* 'нырять', н.-луж. стар. *pogmuriś* то же, н.-луж. диал. *muriś*, в.-луж. диал. *mórić* 'нырять' при н.-луж. *nuriś*, в.-луж. *nurić* и *nórić* то же (в плане диссимиляции *gn-* ≥ *(g)m-* ср. также н.-луж. диал. *mić* 'нить' ≤ *gmić* ≤ *gnić* то же -Schuster-Šewc 2, 1021) и болг. диал. *гмездо* 'гнездо' (ср. БЕР I, 255). Но имеются и примеры, в котрых упомянутое *g-* выступает непосредственно перед *m-*, ср. н.-луж. стар. *gmozdgi* мн. 'мозг' при н.-луж. *mo(r)zgi* то же; польск. *gmatwać* 'путать, перемешивать' при польск. *motać się* 'мотаться'; чеш. *hmatat*, слвц. *gmatat'* 'касаться, дотрагиваться' при польск. *macać* 'щупать ощупывать'; чеш. *hmoždit se* 'биться, мучиться над чем-л'. при ст.-чеш. *namožděný* 'измученный, разлавленный', польск. *możdzierz* 'ступка' и рус. диал. *можжить* 'дробить, толочь'; болг. *гмéчкам* 'сжимать, разминать' при словен. *mečkáti* 'мять, давить', рус. *мя́чкать* 'мять' и чеш. диал. (морав.) *ṁačkat'*, литер. *mačkat* 'жать, давить, комкать'; болг. диал. *гмýца* 'нечто мягкое или хрупкое' ≤ *múca (≤ buca)* (БЕР I, 94)[15].

С учетом того, что в славянских языках особая протеза *g-* могла развиваться также перед *n (m)-*, можно предложить новые этимологии для ряда трудно объяснимых слов с начальным **gn-*, обычно относимых к разряду "темных". Речь идет о следующих словах: 1 праслав. **gněvъ* 'гнев' (рус. *гнев*, польск. *gniew*, чеш. *hněv* и т.д.); 2 рус. диал. *гнобúть* 'мучить, угнетать', укр. *гнобúти* 'угнетать, докучать', польск. *gnębić*, стар. *gnąbić*, болг. *гня́вя* 'мять; бить, колотить', *гня́вим* то же, словен. *gnjáviti* 'мять, давить; жестоко обращаться', чеш.

диал. *hňavit'* 'угнетать, притеснять; жадно есть' (вал.), *gňavit, gňabit* то же (вост.-морав.) и 3. праслав. **gnědъ-jь* (рус. *гнедой* 'темнорыжий (о масти, лошадей)', укр. *гнідúй* то же, польск. *gniady,* чеш. *hnědý* то же, словен. *gnêd* 'сорт винограда с синевато-красными ягодами').

По нашему мнению, праслав. **gněvъ* (ЭССЯ 6, 169—170) родственно лит. *naivà* 'тяжелая болезнь, слабость, чахотка или какая другая болезнь', *naĩvoti(e)s* 'прихварывать', *náivyti* 'мучить, убивать', *néivoti* 'хулить, порицать, бранить, отчитывать кого-л.; мучить, терзать', лтш. *nìẽva, nievs* 'хула, презрение', *niẽvât, neivuôt* 'хулить, порицать, унижать, презрительно относиться, угнетать, подавлять'. Семантическое развитие: 1. 'мучить, презрительно относиться, хулить, порицать, унижать' > 2. 'неудовольствие, досада, недомогание' > 'гнев'. Что касается балтослав. фонетического соответствия *ě: ai,* ср. еще праслав. **sněgъ* 'снег' при лит. *snaĩgala* 'снежинка'. Восходящие к раннепраславянскому формы типа рус. *гнобúть* (ЭССЯ 6, 180—182), укр. *гнобúти* мы соотносим с лит. *nõvė* 'мука, мучение, смерть', *nõvyti* 'замучить до смерти', лтш. *nâve* 'смерть', *nâvêt, nâvît* 'убивать, уничтожать', ср. сюда же др.-рус. *навь* 'покойник, труп', ст.-чеш. *náv* 'царство мертвых', с новообразованием *náva* 'могила, потусторонний мир, ад'. Палатальное *ň* в чеш. диал. *hňabit'* и словен. *gnjáviti* фонетического происхождения, обусловлено предшествующим *g-*, ср. также с.-хорв. *pognjuriti.* В случае польск. *gnębić,* стар. *gnąbić* мы, по всей видимости, имеем дело со старым вставным *m-*, как и в в.-луж. диал. *kumpać* 'купать', или ассимилятивным влиянием предшествующего *n.*

Также праслав. **gnědъ-jь* едва ли может быть родственно праслав. **snědъ* (ср. чеш. *sněd* 'смуглость', *snědý* 'смуглый'), как это предполагает Махек (Machek[2] 171), а вслед за ним и ЭССЯ (6, 167). По нашему мнению, следует исходить из праслав. формы **nědъ* (≤ и.-е. **noid-*), которая может быть родственна лат. *niteō, -ēre* 'блестеть, сиять', *nitidus* 'блестящий', *re-nīdeō* 'заблестеть, засиять', происходящими от и.-е. корня **nei-* 'блестеть'. Ср. в связи с этим словарь Покорного (Pokorny I, 766), где в том же контексте упомянуто др.-инд. *nīla* 'темносиний'. Значение 'гнедой (о масти лошадей)' в таком случае — из первоначального 'отливающий коричневатым цветом, переливающийся оттенок'.

О форме с первоначальным протетическим *g-* может идти речь также в случае с праслав. **gnatъ* 'длинная, крупная кость', ср. польск. простореч. *gnat* 'кость', чеш. *hnát* 'длинная кость конечности', диал. также 'рука', 'нога', слвц. *hnát* то же, с.-хорв. *gnjât* 'голень', также 'нога', словен. *gnât, gnjât* 'ягодица; окорок'. На это указывают прежде всего с.-хорв. и словен. формы с *gň-* (ср. приведенные выше словен. *gnjábiti,* чеш. диал. *hňavit'*). Но дальнейшие связи трудно поддаются раскрытию. Возможно, прямо к корню праслав. **natь* 'ботва' (ср. польск. *nać,* чеш. диал. *nat', ňat, mňat,* слвц. *vňat',* рус. *натúна,* словен. *nát* то же, лит. *nõterė, notrė* 'крапива', лтш. *nâtre, nâtra* то же).

Функцию протезы в славянском могли выполнять также *h-/w-*, ср. такие примеры, как в.-луж. *hnydom,* нареч. 'тотчас, немедленно' (стар. *hned-*) при н.-луж. *ned* то же, чеш. *i-hned,* диал. *hned* то же, слвц. *hned',* *hned'ka* то же, польск. *wnet, wnetki,* стар. *hnet, hnetki,* кашуб. *vnet, vnetk,*

vnetka то же[16], далее — рус. диал. *внет* 'недавно. (у Даля с пометой "*внет* или *внед*"), сюда же слвц. *vňat* 'ботва' при чеш. диал. *(m)ňat* то же, в качестве сандхи внутри слова в н.-луж. стар. и диал. *suwnica* 'лесная земляника, Fragaria Vesca L.,' с гиперкорректным *ł* также *sułnica* то же, ст.-польск. *sumniczki* мн. то же (*mn-* ≤ *wn-*) и, возможно, н.-луж. *suwnuś* 'сунуть, толкнуть' (если не под влиянием итеративной формы *suwaś*) при в.-луж. *sunyć*, польск. *sunąć* то же[17]. В диалектах появляется протетическое *h-/w-* иногда также перед другими сонорными (*r*, *l*): чеш. диал. *hřemyk* 'ремешок' (литер. *řemen* 'ремень'), *hryz, hryzec, hryzek, hryzík* 'рыжик' (Machek[2] 528), польск. *hrymnąć* 'падать с грохотом', *wrzeciądz* наряду с *rzeciądz* 'цепь' и польск. *wrzepić* 'вцепляться (о летучих мышах)', ст.-чеш. *vřepiti* 'запустить руку в волосы' при слвц. *repit'* то же.

Подробный анализ славянского материала показывает, далее, что перед **ǫ-* наряду с вышеназванными протезами *u̯-/g-* могла быть также протеза *n-*, особо следует указать на 1. в.-луж. *nuh(e)l* м.р. 'угол', н.-луж. *nugeł* то же при польск. *węgieł*, словен. *vogál*, укр. *вýгол*, блр. *вýгол* и без анлаутной протезы — рус. *ýгол*, с.-хорв. диал. *ȕgal*, болг. *ъ́гъл*, как и ст.-слав. жгълъ; 2. рус., укр. *нутрó* 'внутренности', чеш. *nitro* то же, словен. *nóter* 'внутрь', в.-луж. *nutř* 'внутрь', *nutřka* 'внутри', н.-луж. *nutśi* то же при ст.-слав. жтрь, др.-рус. *утрь* 'внутри, внутрь', болг. *вътре* 'внутри' и ст.-слав. жтроба 'утроба (материнская)', рус. *утрóба* 'утроба,недра, лоно', польск. *wątroba* 'печень', стар. диал. также *jątroba*, в.-луж. *wutroba*, н.-луж. *wutšoba* 'сердце'.

Засвидетельствованы также случаи с усилительным *w-(wn-)*, ср. рус. *внутрь, внутрú, внýтренний* и укр. *нýтряний, внýтри* и *внутрó* 'внутренности', блр. *внýтры* 'внутри', с.-хорв. *unútar* то же (*u* ≤ *u̯*), болг. *внътре* то же, чеш. *vnitř* то же, *uvnitř*, ст.-чеш. *vňutř* то же, слвц. *vnútri* 'внутри', *vnutor, vňútor* 'внутрь', польск. *wnętrze* 'внутренности, потроха', *wewnątrz* 'внутрь', ст.-слав. *вънжтрь* 'внутрь'. Здесь нельзя говорить о первоначальном предлоге, как ошибочно по большей части характеризуется фактическое состояние (Vasmer I, 211; Machek[2] 995—996). Отмечаемый в старославянском звук ъ может, конечно, указывать на смешение протезы *u̯* с предлогом **vъ*, ср. особенно польск. *wewnątrz* 'внутри, внутрь' ≤ **vъ* + *vnątrь;* в.-луж. *nuchać*, н.-луж. *nuchaś* 'нюхать, вынюхивать', польск. *niuchać* то же, *niuch* и *niąch* 'обоняние', чеш. *ňuchat*, слвц. *ňuchat'*, также диал. *nuchat'*, с.-хорв. *njȕšiti* 'нюхать', словен. *njúhati, njóhati, njȕšati* то же и польск. *wąchać* 'нюхать', словен. *vóhati* 'нюхать, чуять' и рус. *-ухать* в *благоухать*. Первоначально носовой гласный (ǫ) также в формах на *u* доказывают польск. *niąch* и прежде всего словен. дублет *njóhati*. Огласовка *u* могла появиться под влиянием семантически тождественного *čuch-* (ср. в.-луж. *čuchać* 'нюхать, чуять', чеш. *čichat* то же, рус. *чýхать* 'чуять, распознавать вкусом, обонянием'). Но вероятнее речь идет о наступившей уже в позднепраславянском диссимиляции (*n* + *ǫ* ≥ *n* + *u*).

Соответствующий анлаутный вариант с усилительным *u̯-* представлен в рус. *внушать, внушить* 'воздействовать на волю, сознание, побудить к чему-л.' и ст.-слав. вънжшати то же (звук ъ, как и в ст.-слав. вънжтрь, вторичен!). Существующая этимология этого слова

(Vasmer I, 211 со ссылкой на Горяева), предполагающая сложение префикса **vъn-* и имени *ucho* 'ухо', вне всякого сомнения, явно ошибочна (народная этимология!), она не имеет и словообразовательных параллелей. Скорее следует исходить из **ăn-* (ср. др.-инд. *ániti* 'дышать', гот. *uz-anan* 'выдыхать', греч. ἄνεμος 'дуновение, ветер'), расширенного в славянских языках элементом *-ch-*. Констатация наличия *u̯*, усиливающего протезу *n-* перед **ǫ*, позволяет, в свою очередь, пересмотреть этимологию славянского слова с значением 'внук', ср. рус. *внук*, диал. *уну́к*, укр. *внук, ону́к*, блр. *внук*, польск. *wnuk*, диал. и ст.-польск. *wnęk*, диал. также *gnuk* и *znuk*[18], чеш. *vnuk*, диал. также *vňuk* и *mňuk*, слвц. *vnuk*, в.-луж., н.-луж. *wnuk* (произносится *nuk*), с.-хорв. *ùnuk*, диал. *nȕk*, словен. *vnúk*, болг. *внук, вну́ка*, м. р., также диал. *гну́к, мну́к* и *уну́к(а)* м. р., макед. *унук*. Исходной базисной морфемой (корнем слова) является не *-ъn-* (**v-ъn-ukъ* или **v-ъn-ǫkъ)*, как это общепринято (Brückner 628; Vasmer I, 211), а **ǫ* (≤ *an*), которое родственно (идентично) др.-в.-нем. *ano*, ср.-в.-нем. *ane*, нов.-в.-нем. *Ahn* 'предок' и имеет в качестве расширителя *-k-* (**vn-ǫ-kъ*). Неорганическая (протетическая) природа *v-* подтверждается также диалектными формами с *gn-* (польск., болг. *gnuk*) и *mn(ň)-* (чеш. *mňuk*, болг. *мнук*). Следует также отметить в связи с начальной группой *vn-* развитие палатализации *n(ň)*, ср. уже упомянутые слвц. *vňat*, болг. *гня́вя*, словен. *gnjáviti*, чеш. диал. *hňabit'*, чеш. *ňuchat*, ст.-чеш. *vňutř*, чеш. *vnitř*. Остается не вполне ясным *u*, засвидетельствованное в словен. и болг. формах, вместо ожидаемого носового или его соответствий, но ср. и здесь параллелизм форм с чистым и носовым гласным в словен. *njúhati, njóhati* и польск. *niuch/nięch*.

Далее, представляется возможность объяснить пока что еще совершенно неясное польск. *wnęk* м. р. 'ниша (углубление в стене)', *wnęka* ж. р. 'наполнение', согласно Брюкнеру (Brückner 628), сюда же *wnuk* 'внутренности', *wnyk* 'петля, сеть' (*pętlica — siatka*) и *wnik* 'силок (для птиц)', кашуб. *vnëk* 'незастекленное отверстие'. И здесь может идти речь о протетическом *wn-* в анлауте. Собственно корень **ǫ-k-*, понимаемый 'как изгиб (вогнутый внутрь)', легко поддается сближению с серб.-цслав. *ѫкоть* 'крюк', рус.-цслав. *укоть* 'якорь' (др.-рус. также *юкоть*) в том же значении, ср. особенно лит. *ánka* 'петля из веревки; сетчатое полотно, петля, которая надевается на мачту парусника' (Fraenkel I, 11), др.-инд. *áñcati, ácati* 'гнет, сгибает', *aŋká-ḥ* м. р. 'изгиб, крюк; часть тела между грудью и бедром'. Параллельные формы с *u(y)*, как и в отмеченных выше случаях *niuch* и *vnuk/wnuk*.

Но описанные случаи протетического *(u̯)n-* в славянском не ограничиваются только позицией перед *ǫ-*. Протеза появляется также перед *i̯(j)*, ср. такие примеры, как чеш. *níстěj*, ст.-чеш. *niestějě* 'очаг, устье, отверстие очага', в.-луж. *něść* ж. р. 'очаг, печь, камин' при н.-луж. *jěśća, jěśćija* ср. р., мн. 'устье, жерло печи' и словен. *istéja* ж.р., мн. то же; чеш. диал. *něhně* 'ягненок' при литер. *jehně* то же; с.-хорв. *(n)ikavac* 'вьюрок, юрок' при чеш. *jíkavec* то же, в.-луж., н.-луж. *njerk* 'рыбья икра, лягушачья икра' при в.-луж., н.-луж. *jerk* то же и польск. диал. *jekra* то же; ст.-польск. *nadro* 'sinus, пазуха', польск. *zanadrze* то же, чеш. *ňádro* 'пазуха, грудь', ст.-чеш. также с *-ě-*: *na nědrech* мест. мн.

'за пазухой', слвц. *ňadra* мн. 'пазуха, грудь', *záňadrie* 'пазуха', в.-луж. *nadro,* обычно *nadra* мн. 'женская грудь, пазуха' при *jadro* 'ядро', диал. также 'пазуха', н.-луж. *nadro*, обычно *nadra* мн. то же, более архаичное диал. *nědra (nedra)* 'груди, грудь' (Schuster-Šewc 981), рус. *нéдро* 'нутро, внутренность, лоно', укр. *нáдро* 'лоно, внутренность', *нíдра* 'внутренности' при др.-рус. ꙗдра мн. 'внутренности, лоно', ст.-слав. нѣдра ср. р. мн. то же при ꙗдра ср. р. мн. то же, с.-хорв. *njȅdra* 'недра, внутренность' и словен. *nêdro, nêdrje* ср. р. то же. Исходное праслав. **(i)ědro* ≤ **ědro* ≤ и.-е. **oidhro* признается родственным греч. οἶδος 'опухоль'. Ошибочным является предположение о том, что формы типа *nadro, nědro* могли сложиться в результате усвоения элемента *n* из так называемого предлога **vъn (vъn ědrěchъ)*, т.е. в результате нарушения морфемной границы. И в этом случае речь идет только о протезе: **n-i̯adro, *n-i̯ědro*. С моей точки зрения, не существовало праслав. предлога **vъn* (соответственно также и **sъn*). Существование его явно противоречило бы закону открытого слога в праславянском (см. также ниже). Формы с усилителем *u̯-* представлены в рус. диал. *внедрó* 'нутро' и рус. *внедрúться* 'войти, укорениться, укрепиться в ком, чем.-л.', ст.-слав. вънѣдрити сѧ то же. Следует обратить внимание, с другой стороны, на чеш.-слвц. примеры с палатальным *ň (ňádro, ňadro)*. Следующие славянские слова с древним протетическим *u̯n-* перед *i(j)-* представлены в рус. *внимáние, внимáть, внять,* без *u̯-*: укр. *няти*, блр. *няць* то же, ср. далее ст.-слав. вънꙑмати, вънѧти, вънꙑмѫ 'внимать, слушать' при ст.-слав. имати, в.-луж. *jimać, zajeć* 'захватить в плен', *jaty* 'пленный' и т.д. 2. рус. *вни́кнуть, вникать,* польск. *wniknąć* 'проникнуть, углубиться' при с.-хорв. *níći, nȉknuti* 'взойти, прорасти, возникнуть' и словен. *níkniti* 'прорасти'.

Звук *n-* в качестве устранителя зияния вообще имел в славянском более широкое распространение, чем принято считать в славянской компаративистике до настоящего времени, и притом не только в начале, но также и внутри слова (между предлогом и началом слова), ср. такие примеры, как чеш. *sníst,* слвц. *sniesť* 'съесть', н.-луж. диал. *zněść,* ст.-слав. сънѣсти то же ≤ **sъ-n-i̯ěsti,* чеш. *snídat,* польск. *śniadać,* в.-луж. *snědać,* н.-луж. *snědaś* 'завтракать' ≤ **sъ-n-i̯ědati;* чеш. *snít'* 'снимать', ст.-слав. сънѧти то же ≤ *sъ + *n* + *ję̨ti;* ст.-польск. *wnić, wniść,* ст.-слав. вънити 'входить' ≤ **vъ-n-i̯iti*. В названных случаях до сих пор ошибочно реконструируют **sъn-(i̯)ěsti, *sъn-(i̯)ědati, *vъn-(i̯)iti* и таким образом выделяют префикс **sъn-* и **vъn-*[19], который, как префикс *vъn-*, о котором речь шла выше, в этой форме никогда не существовал.

То же самое относится и к представленным в различных западнославянских диалектах префиксальным формам глагола **iti, *i̯ьdǫ* 'идти', ср. в.-луж. *dóńć, dóńdu* ≤ **do-iti, *do-i̯ьdǫ, nańć, nańdu* ≤ **na-iti, *na-i̯ьdǫ, njeńć, njeńdu*≤**ne-iti, *ne-i̯ьdǫ, póńdu* ≤ **po-i̯ьdǫ, př eńć, přeńdu* ≤ ≤ **per-iti, *per-i̯ьdǫ, přińć, přińdu* ≤ **pri-iti, *pri-i̯ьdǫ, wuńć, wuńdu* ≤ **vy-iti, *vъ-i̯ьdǫ;* чеш. диал. *dondu, ńandu, nendu, přindu, sendu, vendu, zendu*[20], польск. диал. *dońdę, przeńdę, přińdę, wyńdę, zeńdę* и т.д.[21] И в этих случаях вставное *-ń-* обычно пытаются объяснить влиянием того или друго из упомянутых гипотетичных предлогов или префиксов.

На том же самом ошибочном допущении основано, наконец, и объ-

яснение начального *n-* в зависимых формах праславянского анафорического местоимения **jь*, **ja*, **je* после предлогов (**do-nego*, **na-nego*, **otъ-nego*, **izъ-nego*, **o-njemь*, **sъ-nimь*, **vъ-nego*[22]), где также имеет место только древняя протеза *n-*. Реконструкция **sъn-*, **vъn-* как основание для форм на *n-*, является, как уже подчеркивалось выше, результатом неправильного определения первоначальной морфемной границы. Следует реконструировать только **sъ-* или **vъ-*, при этом ъ представляет ступень редукции **ǫ* (и.-е. *on, om*), которое содержится в именных префиксах **ǫ-* (**ǫ-dolъ* 'долина', **ǫ-tъkъ* 'уток', **ǫ-vozъ* 'ущелье') и **sǫ-* (**sǫsědъ*, **sǫ-prǫgъ*) (Schuster-Šewc, 1380).

Использование звука *n* в качестве заполнителя зияния в начале славянского слова не является, впрочем, чисто славянской особенностью, это явление известно также и другим языкам. Так, Э. Дит указывает в своей книге "Путеводитель по фонетике" на швейцарско-немецкие диалекты, в которых в той же функции используется *-n-*: *"wo-n-i = wo ich, da-n-i = da ich, 8Komma-n-8, früe-n-er = früher, mit de Schue-n-e = Schuhen"*[23].

В связи с описанными возможностями устранения зияния мы хотели бы в заключение остановиться еще на одной, до сих пор лишь фрагментарно изученной особенности западнославянских языков. Речь идет о протетическом *u̯(w, v)-* перед *i̯(j)*, представленном в нижнелужицком (местами также в верхнелужицком), кашубском и полабском, ср. напр., н.-луж. *witšo* 'утро', *witśe* нар. 'утром', *wiwa* 'ива прутовидная', *wiłowizna* 'изморозь, иней на деревьях', *winak* и *hynak* 'иначе', *wjaskolicka* и *jaskolicka* 'ласточка', *wjaseń* и *jaseń* 'ясень', *wjatšy* и *jatšy* мн. ч. 'пасха', *wjatka* и *jatka* 'мясная лавка', *wjazor* и *jazor*, вост.-н.-луж. *wězor* 'озеро', стар. диал. *zawěc* 'заяц' (Megiser 1603) при н.-луж. диал. *zajec* то же, в.-луж. диал. *zawjac* при в.-луж. *zajac* то же, в.-луж. *wjerjebina* 'рябина', диал. *wjermank* при литер. *jermank* 'ярмарка', в.-луж. стар. *wjerab* (≤ *jerjab*) 'ястреб', кашуб. *vitro, vjitro, jitro* 'утро', *vigo, vjigo* 'иго' (≤ **jьgo*), словин. *wjiwa* 'ива', *wigwo, jigwo,* 'иго' и т.д., полаб. *vistăraićă* 'ящерица' (*ješčerica) и т.д. Как показывают н.-луж. примеры типа *wjaseń, wjaskolicka, wjatka, wjatšy,* а также кашуб.-словен. *wjitro, wjigo, wjiwo,* протеза *u̯* возникла здесь не прямо перед гласным, а как в случае с *ń* (в в.-луж. *přińdu, zańdu* и т.д.), перед уже имеющейся более старой протезой *i̯-*. Это стало возможным, потому что *i̯* в лужицких, а также других западнославянских диалектах обнаруживало вначале сильную вокализацию и имело статус неслогообразующего варианта собственно фонемы *i*[24]. К. Хандке, более детально описавшая отношения в кашубском[25], ставит в связь эту вторичную протезу *u̯-* с когда-то более сильно выраженным развитием протезы перед *o-* на северо-западе западнославянских языков.

Итак, резюмируем: в славянском после падения согласных, закрывающих слог (закон открытого слога, закон возрастающей звучности), создаются особенно благоприятные условия для развития протетических звуков, устраняющих зияние. Самый древний слой при этом образует протеза *u̯-* перед *y-/ъ-*, которая должна была развиться еще до делабиализации исходного для него и.-е. долгого **ū*. Очень древ-

ней в славянском является также протеза *i̯*- перед *ĭ (i, ь)* и другими гласными переднего ряда, а также перед *a*. Однако частичное отсутствие этого явления прежде всего в древнеболгарском (старославянском), а также параллелизм *i̯*- и *u̯*- в некоторых лексемах с *a*- в анлауте указывают на уже начинающуюся диалектную дифференциацию праславянского. Аналогично понимаем мы также параллелизм *i̯e*- в западно- и южнославянских языках и *o*- (≤ *e*-) в восточнославянских. Относительно поздно получили протезу *i̯*- слова с анлаутом *u̯*- и в отдельных случаях также с анлаутом *ǫ*-. Здесь также налицо четкие хронологические и территориальные различия. Меньше всего был подвержен протезированию в славянских языках гласный *ǫ* и сплошь и рядом также *u*. Протетическое *u̯* перед *o* развилось лишь очень поздно и при этом охватило только отдельные западнославянские диалекты, прежде всего полабский и лужицкий, где протеза *u̯* последовательно появляется перед *u*-. В верхнелужицком практически вплоть до настоящего времени действовала четко выраженная тенденция к образованию протезы, устраняющей зияние (*h*- перед *a*, *j*- перед *ě* также в заимствованиях).

Особая ситуация в славянском перед носовым **ǫ*, который наряду с *u̯*- (в отдельных случаях также *g*- и *i̯*) получает в ряде примеров также *n*-. Это обстоятельство обусловлено спецификой фонемы *ǫ*, в артикуляции которого, кроме собственно назального элемента, содержатся также лабиальный и гуттуральный элементы.

В отдельных случаях в славянском развивались протетические звуки также и перед назальным сонорным *n*, прежде всего *g*-, также *u̯*-, последний одновременно и как усилительный элемент собственно протезы *n*-.

Исследование, основанное на новом (прежде всего диалектном) материале, углубляет и расширяет в значительной степени существующие знания о протезе, устраняющей зияние в славянском, вместе с тем оно несет в себе целый ряд выводов для этимологического истолкования слов и исторической грамматики.

Перевела с немецкого *Л.В. Куркина*

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ср.: *Arumaa P.* Urslavische Grammatik I. Heidelberg, 1964. 101—110; *Shevelov G.* A Prehistory of Slavic. Heidelberg, 1964. 235—248; *Lamprecht A.* Praslovanština. Univerzita J.E. Purkyně v Brně, 1987. 36—37.

[2] Ср.; *Lamprecht A.* Op. cit., 36; *Журавлев В.К.* Генезис протезов в славянских языках//ВЯ. 1965. 4, 32—43.

Основываясь на структуралистском подходе, Г. Шевелев разработал опыт хронологического и функционального описания славянской протезы. Он различает при этом протезы, которые (1.) обусловлены только структурой гласных (*v*- перед *ŭ* и *j*- перед *ĭ*), (2.) связаны со структурой гласных и зиянием (*j*- перед *ā* и, вероятно, также *v*- перед *ā*) и (3.) где причину следует искать только в зиянии (*j*- перед *ā*). Нельзя не заметить искусственный характер этого деления, оно с трудом поддерживается материалом. Особенно это касается предполагаемых им особых глайдовых звуков и их значения при возникновении славянской протезы в анлауте (сходное скептическое отношение см. также: *Бирнбаум Х.* Праславянский язык. Достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987. 110—111).

В плане хронологии развитие протезы, по мнению Шевелева, происходит в следующей последовательности: 1. *v*- перед *ŭ*- и *j*- перед *ĭ* еще до падения конечных согласных (I—V вв. н.э.), 2. *v*- перед *ₒā* и *j*- перед *ₑā* после падения начальных согласных (приблизительно VI в.), 3. утрата *v*- перед *ₒā* и его рефлексами после падения глайда *o* (приблизительно VIII в.) и 4. развитие в славянских диалектах протезы *j*- перед *ā* ≤ *ₒā*. Здесь нельзя не видеть противоречий. Почему *j*- перед *ĭ* должно было развиться уже до падения конечных согласных, а в других позициях лишь после их падения? Неясными остаются основания, по которым *v*- сначала должно развиться перед *ₒā*, а затем снова отпасть. Далее, с моей точки зрения, недостаточно обосновывается предлагаемое хронологическое различие между *j* перед *ā* и *j* перед *ĭ*, та же самая протеза появляется также перед *u* (**u* ≤ *ou, au*, **ǫ* ≤ *on, an*), в отдельных случаях даже перед **ǫ*.

[3] Ср.: *Komárek M.* Historická mluvnice česká. I. Hláskosloví. Pr., 1958, 116.

[4] Ср.: *Stieber Zd.* Zarys dialektologii języków zachodnio- słowiańskich. Z wyborem tekstów gwarowych. W-wa, 1956, 25; *Dejna K.* Dialekty polskie. Ossolineum. Wrocław etc., 1973. 102.

[5] Ср.: *Trautmann R.* Elb- und Ostseeslavische Ortsnamen I. 1, 34 , 43.

[6] Ср. *Schuster-Šewc H.* Beiträge zur vergleichenden slawischen Wortforschung, westsl. *jastry, jutry* 'Ostern'/ Letopis ISL A 23 (1976), 22—43; *Idem.* Zur Etymologie und Wortgeschichte von südslawisch *vatra* 'Feuer, Herd'// ZPSK 32, 6 (1979), 699—72; *Idem.* Etimologija i istorija južnoslovenske reči *vatra* // MSC, Naučni sastanak slavista u Vukove dane 8, 1 (1982), 345—349.

[7] Речь идет о следующих лексемах: 1. праслав. **(j)ědъ* 'яд': ст.-слав. ıадъ, болг.-макед. *яд*, с.-хорв. *jȇd*, диал. *ȉjed, jȃd* 'гнев, злость' и *jȁd* 'беда, несчастье', словен. *jád* 'яд; гнев', рус. *яд*, укр. *яд*, диал. (лемк.) *їд*, блр. *яд*, др.-рус. *ѣдъ* и *ıадъ*, чеш. *jed*, ст.-чеш *jěd*, диал. (зап.-морав) *jadet se* 'злиться, сердиться' (Machek[2] 219), слвц. *jed, jedit'sa* 'злиться, сердиться' ≤ и.-е. **oį-d*, ср. лит. *aidìnti* 'раздражать, возбуждать', др.-в.-нем. *eiter*, нов.-в.-нем. *Eiter* 'гной', др.-в.-нем. *eiz*, нов.-в.-нем. диал. *Eis* 'нарыв, опухоль' (сюда также в.-луж. *jědmo* 'гнойник, нарыв'), 2. праслав. **(j)ěsti*, **(j)ědmь* 'есть': ст.-слав. ıасти, ıамь, болг. *ям*, макед. *јаде*, рус. *есть, ем*, укр. *їсти, їм*, болг. *ям*, с.-хорв. *jȅsti, jȇm*, словен. *jésti, jem*, польск. *jeść, jem*, в.-луж., н.-луж. *jěsć, jěm*, но в старой в.-луж. песне также *woda jadomna* 'питьевая вода' ≤ и.-е. **ēd-*, ср. лит. *ésti, édu, émi, édmi* 'есть, пожирать, жрать'; 3. праслав. **(j)ěd-*, **(j)ězd-*, **(j)ěch-* 'ехать, ездить': ст.-слав. ıаздити, болг. *яхам*, рус. *ехать, еду*, укр. *їхати, їду*, др.-рус. *ıаздити, ѣздити*, с.-хорв. *jezditi, jȁxати*, словен. *jézditi, jáhati*, польск. *jechać, jadę*, стар. также *jać, jachać* (Brückner 203), чеш. *jet, jedu, jechat*, слвц. *jazdit'* ≤ и.-е. **ei-d-* (аблаут к *id-ti*) и **ād-* (лит. *jóti, jóju* 'ехать, ездить', *jódyti* 'ездить верхом'; 4. возможно, также ст.-слав. ıадра ср.р. мн. и нѣдра то же.

В других словах с начальным **ě*- совершенно отсутствует переход *ě* ≥ *'a*, ср. 1. н.-луж. *jěsća* 'устье печи, очаг, горн', в.-луж. *něsć* то же, чеш. *nístej* то же, словен. *istéje* то же ≤ и.-е. **oist-* (лит. *aistrà* 'страсть, пристрастие'); 2. н.-луж. *jěsćiś* 'хвалиться, хвастать', н.-луж. *jěsny* 'быстрый, скорый' (этимология общая с *jěsća*); 3. в.-луж. *jětro*, н.-луж. *jětšo* 'гной' ≤ и.-е. **oitr-* (лит. *aitrùs* 'горький, жгучий'),4. в.-луж. *jěry* 'терпкий', в.-луж. *jěrki* 'терпкий' при *jara* 'очень' ≤ **(j)ěr* ≤ **ēr-* и *(j)ar* ≤ **ār-*).

Точно так же в таких случаях, как в.-луж., н.-луж. польск. *jasny* 'ясный', чеш. *jasný*, стар. *jastný*, слвц. *jasný* то же; *jastrit'* 'смотреть в упор' или н.-луж. *jašćiś se* 'сиять, сверкать', ст.-польск. *jaszczyć* 'радоваться, прыгать от радости', польск. *jaskry, jaskrawy* 'яркий' и рус. *яска* 'яркая звезда' речь идет не о переходе *ě* ≥ *a*, а о первоначальном *ā*-. Ср. сюда же соответствующие статьи моего словаря, см. Schuster-Šewc 1, прим. 14.

[8] Ср. в частности: *Popowska-Taborska H.* Z dawniejszych podziałów Słowiańszczyzny. Słowiańska alternacja *(j)e-: o-*. Polska Ak. Nauk — Instytut Słowianoznawstwa 37. Wrocław, etc. 1984, 141.

[9] Ср.: *Чальков М.* Началното консонантно редуване *g-: v-* в славянските езици. // Славянски сборник. С., 1986. 19—29.

[10] О лабиальном элементе в артикуляции польских носовых ср. *Kuraszkiewicz W.* Wargowość samogłosek nosowych // Lud Słowiański III, 1 (1934), A 3 — A 17. См. также *Чальков М.* (Указ. соч.), который усматривает в протезе *g*- результат "особой интенсивной артикуляции": "Перед гласными заднего ряда в качестве протетического звука развивается преимущественно *u̯*-, которое в некоторых словах при более интенсивной артикуляции может измениться в g^{u} перед носовым гласным заднего

ряла под влиянием фразовой фонетики и интонации". На мой взгляд, нет надобности в таком сложном объяснении.

[11] *Shevelov G.* Op. cit., 209.

[12] Ср.: *Pokorny* I, 887. Вокализм *ě* слав. слова еще полностью не объяснен. Другие индоевропейские примеры указывают на наличие *i*. Едва ли может быть принято во внимание постулируемое Чалыковым (Указ. соч. 28) влияние слова **nesti, nesǫ* в значении 'нестись (о курице)', потому что оно представляет краткое *e*. Вероятнее всего, уже древний и.-е. аблаут (*ī : ei̯* или *oi̯*), ср. сходные отношения чередования в праслав. **sněgъ* при лат. *nix, nivis* то же и *nivit* 'идет снег'

[13] Ср.: *Чальков М.* Указ. соч. 27.

[14] Ср. также в связи с этим: *Schuster-Šewc. H.* // ZfSl. XVI, 1971, 1, 50 (примечание).

[15] *Чальков М.* Указ. соч. 28.

[16] Ср. в частности: *Schuster-Šewc H.* Os. *hnydom* '(so)gleich, sofort', ns. *ned* dass. und Verwandtes. Ein Beitrag zur Wortbildung im Bereich der Adverbien und Pronomina // ZfSl XX, 3, 1975. 364—368.

[17] Ср.: *Schuster-Šewc H.* Jeszcze raz o etymologii słowiańskich nazw poziomki (Fragaria Vesca L.) // Slawistyczne studia językoznawcze 1987. 346—368.

[18] Ср. *Szymczak M.* Nazwy pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w historii i dialektach języka polskiego. W-wa, 1966. 71.

[19] Ср. *Мейе А.* Общеславянский язык.М., 1951. 125; *Lehr-Spławiński T.* Zarys gramatyki języka cerkiewnosłowiańskiego na tle porównawczym. Wydanie trzecie. Kraków, 1949, с. 59: "*vъ* и *sъ*... имели первоначально *-n* в конце слова: *vъ-n-* ≤ **ą*, ср. лит. *į*, *sъ* ≤ *sъn* ≤ *sъm*, протои.-е. *sm*..." *Vasmer* III, 564: "Праслав. редуцированное **vъn-* из **ъn-* по отношению к полной ступени *on-*...".

[20] Ср.: *Bělič J.* Nastin česke dialektologie. Pr., 1972. 79.

[21] Ср.: *Dejna K.* Dialekty polskie, 222—223.

[22] Ср.: *Lehr-Spławiński.* T. Op.cit. 59: "Перед гласным началом следующей формы *-n* сохранялось в праславянском: **vъn-jemь*, **sъn-jimь* вследствие чего его начали рассматривать как принадлежащее местоимению: *vъ-ňemь*, *sъ-nimь*, отсюда формы с *ń* распространились в сочетаниях со всеми другими односложными местоимениями".

[23] Ср.: Vademekum der Phonetik, Phonetische Grundlagen für das wissenschaftliche und praktische Studium der Sprachen, von *E. Dieth* unter Mitwirkung von *R. Brunner*. Bern, 1950. 110.

[24] Ср. в связи с этим: *Michalk S.* Der Dialekt von Neustadt. Bautzen, 1962, 73: "...о *i̯* можно не прямо, а лишь косвенно сказать, что оно фонетически отличается от *i*"; *Schroeder A.* Die Laute des Wendischen (sorbischen) Dialekts von Schleife in der Oberlausitz. Tübingen, 1958, 36: " *i̯/j*, звонкий передненебный дорсальный узкий звук, после гласных тавтосиллабичен, полностью лишен фрикативного шума (*j*)".

[25] Ср. *Handke K.* Kaszubsko-słowińskie protetyczne *v-* przed nagłosowym *j-* oraz *i-* // SFPS 11 W-wa, 1972, 95—99.

В.И. Дегтярев

СЛАВ. **MĘSO* — **MĘSA*

Происхождение формы множественного числа

Общеслав. **męso* ср.р. в древних славянских языках, по данным памятников письменности старшей поры, имело два близких значения — обобщенно-вещественное 'мясо' (продукт питания) и конкретно-предметное 'живое тело; плоть' или 'туша (часть туши) животного'. Оба значения выражались преимущественно формами множ. числа: им.-вин. п. *мѧса,* род. п. *мѧсъ,* дат. п. *мѧсомъ,* твор. п. *мѧсы,* мест. п. (въ) *мѧсѣхъ.* В старославянских источниках — Синайской псалтыри, Евхологии, Енинском апостоле и Супрасльской рукописи это

слово зафиксировано только во множ. ч.; напр.: 1. Мясо. єда ѣмь мѧса юнъча μὴ φάγομαι κρέα ταύρων Син. пс. 63[b] 12; васъ насытѧтъ мѧса. мене же молитвы κρέα Супр.р. II. 10, 16—17; не имамъ мѧсъ ѣсти въ вѣкы Енин. ап. 36. 12—13; добро не ѣсти мѧс҃ ни пити вина҃ там же, 4а. 12. 2. Тело, плоть. Толико же стръганъ бысть ст҃ыи б҃жии мѫченикъ. дондеже мѧса ѥмоу падошѧ вь'са на земи αἱ σάρκες Супр. р. X. 76, 20—22; в'сѣкомоу неджгоу ходѧщюмоу по плъти і скозѣ мѧса по жиламъ вънѫтрьниимъ Евх. 42а, 15; възбрани емоу всѣхъ пѫтеи. сѫщиихъ по плъти. скозѣ мѧса. і по жиламъ там же, 36а, 2—5 и др. Формы множ. ч. преобладают также в среднеболгарской и сербскославянской письменности, например, в среднеболгарском памятнике конца XII в. Охридском апостоле: не имамъ ꙗсти мѧсъ въ вѣкъ, л 55. VIII. 13; добро есть не ꙗсти мѧсъ, л 55 об. IX. 21; в древнесербском Шишатовацком апостоле: не хощоу ꙗсти месь I. Cor. VIII. 13; добро не ꙗсти месь Rom. XIV. 21. В церковнославянских текстах древнерусской редакции или сугубо книжных, особенно переводных древнерусских источниках, как и в старославянских, слово *мѧсо* употребляется преимущественно во множ. ч.: не сокы и мѧсы ласкръдоуѭштїими братии горьчаишеѥ ласкрьдиѥ, нъ въкоушаѩще и разоумѣваѩще, ꙗко благъ г҃ь Гр. Наз. XI в. 137 Срезневский II, 11; не ямь мѧсъ въ вѣкъ Панд. Ант. XI в. 137 Срезневский II, 255; сѣдяхомъ надъ котлы мясъ свиныхъ Исх. XVI 3 по сп. IV в. Срезневский I, 1304; привяза ся мясѣхъ ἁπτόμενος τῶν κρεῶν, tangens carnis Лев. VI. 27 по сп. XIV в. Срезневский II, стб. 1389 и др. Формы ед. ч. в вещественном значении равноценны формам множ. ч., например: зельѥ ѥсть чемерь ї бѣленъ, капуста, а мясо выпеличьѥ, ворѡньѥ Мерило Прав. 67, 70, но употребляются в письменности старшей поры весьма редко. Так, в Хронике Георгия Амартола мн.ч. *мѧса* отмечено 16 раз, а ед.ч. *мѧсо* — только 2 раза. В значении 'плоть; живое тело' ('мягкие места на теле, мускулы' и т.п.) также обычны формы множ. ч.: волить бо богатыи своихъ мясъ урѣзати, нежели погребеннаго злата Златоструй XIV в.; краи мѧсомъ Успенский сб. XII в., л 117а, 11; възьмъ тоѩгъ, тольми ся биꙗше по стегнома, ꙗко же и мясомъ посинѣти Жит. Нифонта XIII в., 17 и др.

В западнославянских переводах христианских книг преобладают уже формы ед. ч. В старочешском языке *maso* имело оба указанных значения — 'мясо как продукт питания' и 'тело, плоть; туша животного'. Во втором значении оно синонимично слову *tělo,* например, в Жилинской книге: *pakli by udělal v maſſe* (т.е. 'в теле') *ránu* 140 a.[1].

Вместе с тем в старочешских переводах евангелия латинскому *caro*, как правило, соответствует слово *plt'*, и, следовательно, ст.-чеш. *maso* ограничено в употреблении. Редкие в переводах псалтыри с латинского формы множ. ч. соответствуют латинскому мн.ч. *carnes* 'мясо' ~ 'куски мяса; тело', например, ст.-чеш. мн.ч. *masa* (наряду с ед.ч. *maso*): *čili budu jiesti maſſa byková carnes taurorum* ŽKlem 49, 13[2] В более поздних текстах псалтыри здесь ед. число: *maſſo bykov* ŽKap 49, 13, 27 a[3]; *maſſo bykové ŽWitt.*[4]

В значении 'тело; плоть' встречаются редкие архаические формы множ. ч. в соответствии с латинским мн.ч. *carnes*, например: *meč*

moj sežře maſſa devorabit carnes ŽKlem. Deut. 42; *aby giedli maſſa má carnes ŽKap* 26. 2. Но и здесь преобладают формы ед. числа: *aby jědli maſſo mé ŽWitt* 26. 2.

Как видно из сравнения различных по времени текстов псалтыри, в старочешском формы множ. числа единичны и отмечены лишь в старейших списках.

Ст.-польск. мн.ч. *mięsa*, наряду с ед.ч. *mięso* и в таком же значении, в старой письменности оказывается еще более редким явлением. Słownik staropolski фиксирует форму множ. ч. только один раз: род. п. *miąs [mąsch].* 1434. *Ks Maz* III nr. 525 (*Sł. stpol.* IV, 248—249). Ср. в Флорианской псалтыри XIV в. ед. ч. *mięso* на месте форм множ. ч. в приведенных выше старочешских примерах: *Aza iescz bódó móso bicow carnes taurorum Fl.* 49, 14; *bichó iedli móso moie carnes meas* Fl. 26, 3.[5]

Тенденция очевидна: в более позднее время формы множ. ч. как архаичные в вещественном значении 'мясо' последовательно вытесняются формами ед. ч., утвердившимися в качестве узуальных форм для выражения обобщенного понятия вещества (продукта), а во втором, предметном значении — 'тело; плоть' используются синонимы *ciało* (в старопольской транскрипции *czalo* или *czyalo*) и *płeć* (ст.-польск. *plecz*). Об архаическом значении слова *mięso* = *ciało* свидетельствует следующий пример из Флорианской псалтыри: *Gen dawa karmó wszemv czalv albo massv omni carni Fl.* 135, 26. В этом же значении употреблялось слав. **plъtь*. На семантическую близость мн.ч. *мѧса* и ед. ч. *плъть* указывает то, что последнее в старославянской письменности стало принимать форму мн. ч. по аналогии с первым, например, в старославянской и славянорусских текстах: о сьнѣстı плътеı моıхъ Син.пс., л 31а 16—17, о сьнѣсти плътии моихъ Панд. Ант. XI в., л 19 Срезневский I, 1001 (в ст.: *зълобовати*).

В.-луж. ед.ч. *mjaso*, по данным катехизиса Варихия 1597 г., обозначает 'тело; плоть', полаб. *mangsie, mangsei* — 'мясо', но также и 'бедро; ляжка', что особенно интересно в связи с русским профессиональным мн.ч. *мясá* 'ляжки борзых' (Даль[2] II, 374). Уже приведенных примеров достаточно, чтобы заметить, что мн.ч. *мѧса* в древнеславянских переводах греческих и латинских христианских книг соответствует формам мн.ч. первоисточников: греч. κρέᾰ и лат. *carnes.* Греч. κρέας τό 1. Кусок мяса ~ мясо, говядина; 2. Плоть, тело — собственно вещественное значение выражает формами множ. ч. им. п. κρέᾰ, род. п. атт. κρεῶν, также κρειῶν и κρεάων, дат. п. κρέασι и κρέεσσιν, ср. также: κρέα ἀνάβραστα 'вареное мясо', κρέα βοῶν 'говядина', в сочетании с числительным: τρία κρέα 'три куска (порции) мяса'. В значении 'тело; плоть' славянскому мн.ч. *мѧса* соответствует также греч. мн.ч. αἱ σάρκες (ед.ч. σαρξ). Лат. *caro* м.р. 'мясо; тело; плоть; мякоть плодов' (первоначальное значение слова — 'отрезанный кусок мяса' (тела, плоти): и.-е. **(s)qer-* 'резать' (Walde, 133), как можно проследить по тексту Библии, в ед. числе обозначает 'тело; плоть', а в множ. числе *carnes* — вещественное понятие 'мясо'. Соответствующие славянскому мн.ч. *мѧса* формы множ. ч. в греческом и латинском языках аналогичны по характеру предметно-логического содер-

жания, что объясняет славянскую форму как собирательное множественное. Вместе с тем соответствие форм наводит на мысль, что слав. мн.ч. *мѧса* может быть грамматической калькой греч. κρέα и лат. *carnes*. Однако такое представление не согласуется с широким и устойчивым (до начала XVIII в.) употреблением форм мн.ч. *мяса* в древнерусском старусском языке за пределами возможного влияния старославянской книжности. Обратимся к историческим фактам русского языка. В Начальной русской летописи Повести временных лет по Лаврентьевскому списку (редакция начала XII в.) слово *мясо* представлено только формами множ. ч. (всего 7 употреблений): *мѧс не юдуще ни вина пьюще,* л 5 об.; *егда емлют месячину... хлѣбъ, вин и мѧс* Радз. сп., л 15 об.; *возъ по собѣ не возяше. ни котьла ни мѧсъ вара,* л 19, 964; ѡ *неюденьи мѧсъ,* л 27 об., 986; *юдахомъ мѧса лукъ и хлѣбы до сыти,* л 32, 986; *и похвати быка рукою за бокъ и вынѧ кожю съ мѧсы, елико ему рука заю,* л 42 об., 992; *повелѣ пристроити кола. /и/ въскладше хлѣбы, мѧса, рыбы,* л 43 об., 996; *бываше множество ѡт мѧсъ, ѡт скота и ѡт звѣрины,* л 43 об., 996. Формы ед. ч. на месте более древних форм множественного появляются в более поздних списках (Академическом, Радзивиловском, Троицком) и новых редакциях. В Лаврентьевской и Новгородской первой летописи по Синодальному списку XIV в. (Харатейная) употребляются только формы множ. числа. В более поздней Новгородской первой летописи младшего извода по Комиссионному списку (XV в.) лишь в одном случае из 7 зафиксирована форма ед. ч. В Ипатьевской летописи (1425 г.) на 13 употреблений приходятся 2 формы ед.ч. в заключительных статьях — 1288 и 1289 гг. В дальнейшем старорусские летописи XV — XVI вв. отражают постепенное вытеснение форм множ. ч., замену их формами единственного.

Для целей настоящего обзора форм слова *мѧсо* особенно важны показания древнерусских грамот и юридических документов и актов, отражающих живую речь народа и не испытавших сколько-нибудь существенного влияния книжно-славянского типа литературного языка. В русской Правде по Новгородской кормчей 1282 г. слово *мѧсо* отмечено в ед. и во множ. числе: *а* мѧсо *дати. ѡвьнъ или польть,* л 621 об. 608—609; *за кормъ. и за вологу. и за мѧса, и за рыбы. ·з҃· коунъ на недѣлю,* л 625 об. 1037—1039.

В открытых до настоящего времени новгородских берестяных грамотах слово *мѧсо* отмечено трижды — 2 раза в ед. и в одном случае во множ. ч.: *на мѧс[ѣх]о* (Грамота № 575, стратиграфическая дата — 70—80-е гг XIII в., найдена на Троицком раскопе)[6]. В старорусской деловой письменности XV—XVI вв. понятие мяса как продукта выражается, как правило, формами ед. ч., но наряду с ними употребляются и формы множ. ч. без каких-либо ощутимых различий в значении. Примеры — из Переписной оброчной книги Шелонской пятины 1498 г. (Новгородская земля): ед. ч. *полоть мяса,* НПК IV[7], с. 109; *полшеста полти мяса,* с. 145; *8 полоть мяса,* с. 151 и мн. ч. *полшеста полти мясъ,* там же, с. 109; *а мясъ 2 борова,* с. 159; *6 полоть мясъ*, с. 186; *4 полти мясъ*, с. 187 и др. В количественном отношении формы ед. ч. преобладают. Так, в записях

по Дубровенскому погосту переписной оброчной книги Шелонской пятины 1498 г. из 17 случаев употребления слова *мясо* в 14 случаях отмечена форма ед. ч. и только в 3-х — множ. Но и в дальнейшем, в актовой письменности XVII — начала XVIII вв. встречаются формы множ. ч. в штучном значении 'туша, часть туши животного, предназначенные в пищу' (при подсчете). Ср. с приведенными ранее по Новгородской земле примеры из таможенных книг Устюга Великого и Тотьмы XVII в.: *Чюхломец... вез на байдаре... свой товар — мяса свиные.* Там. кн. Уст. В. 1633 г., ТКМГ I[8], с. 116; продал мяс говяжьих. Там. кн. Тотьмы 1675 —76 гг., ТКМГ III, с. 581; *продал мяса говяжья и боранья*, там же, с. 582 и др. Форма множ. ч. обычно соотносится с конкретными названиями частей туши — *полть, стяг* и под. Ср., например: (дано) *месникомъ за мяса говяжья за 111 задовъ по 12 алтын по 2 денги зад.* Приходо-расход. книга 1674 г., с. 254[9].

Очевидно, что мн.ч. *мѧса* ст.-рус. *мяса* — это исконно славянская архаическая форма, унаследованная из праязыкового состояния. О происхождении этой формы и характере ее первоначального значения можно судить на основе соответствий в других и.-е. языках: санскр. *māṁsám* ср.р. и *mās-* 'мясо', тох. В *misa* , алб. *mish* ср.р., арм. *mis,* гот. *mimz* 'мясо' и особенно близких балтийских: лит. диал. (жемайт.) *meisa* ж.р. 'мясо', лтш. арх. *miesa* ж.р. 'живое тело; плоть', др.-прус. *mensā* то же (< **mensā*).

В эпическом санскрите слово *māṁsá-* образует форму множ. ч. в значении 'тело', 'плоть' (как и слав. мн.ч. *мѧса*), см. форму вин.п. мн. ч. *māṅsāni* в примерах из Рамаяны и Махабхараты: *Svāni māṅsāni khādati* Rām. III. 18, 34 'он ест свою плоть'. *Khādantu mama māṅsāni* Rām. IV. 19, 20 'пусть едят мою плоть'. *Khādanto naramāṅsāni pivantaḥ çonitāni ca Mbh.* X. 452 'пожирающие человеческое мясо и испивающие кровь'[10].

Тох. В *misa* 'мясо' относится к именам *pluralia tantum.* Заметим, кстати, что и греч. мн.ч. κρέά, лат. мн.ч. *carnes,* др.-слав. *мѧса* тоже проявляют явную тенденцию к лексикализации в обобщающем значении 'мясо' на основе собирательного множественного 'куски мяса; части туши', о чем свидетельствует их высокая частотность в этом значении. Ср. также аналогичные древнегреческие лексикализованные формы множ. ч. имен вещественных: ἅλες 'соль' (как совокупность мелких частиц, кристаллов соли), ед. ч. ἅλς 'крупинка соли', ξύλα 'дрова' ~ 'бревна, поленья', ед. ч. ξύλον 'полено'; латинское мн. ч. *ligna* 'дрова', ед.ч. *lignum* 'полено' и др.

Ст.-алб. *mish* (определенная форма *mishtë*) 'мясо' в тексте Служебника Гьона Бузука (XVI в.) тоже имеет конкретно-предметное значение 'плоть; тело' наряду с вещественным 'мясо'.

Прямые соответствия славянскому мн.ч. *мѧса,* позволяющие объяснить происхождение этой формы, находим в балтийских языках. В Эльбингсом словаре древнерусского языка нач. XIV в. дважды зафиксирована форма *menſo [mensā]* 'тело; мясо', которая получает двоякое толкование — как форма ср.р. множ. ч. (Fraenkel, 427) и как форма ж.р. ед. ч. склонения с основой на **-ā* (Mažiulis II, 289). Ви-

димо, незадолго до письменной фиксации в балтийских языках происходил процесс падения категории среднего рода, в результате которого древняя форма ср.р. мн.ч. **mensā* могла быть переосмыслена в форму ед.ч. ж. р. на основе вещественного значения, поскольку балтийские основы на *-*ā* исторически стали формами ж. р. Действительно, в более поздних памятниках прусского языка (Катехизисах 1545 г. — первом и втором, Катехизисе 1561 г.) формы слова *mensā* при некотором разнообразии в основном укладываются в парадигму склонения ж. р. на *-*ā*: ед. ч. — им. п. *mensā*, род. п. *mensas*, вин. п. *mensan*, мн.ч. — род. п. *mensun* (*Mažiulis* II, 289).

О.-балт. **mensā* и слав. мн. ч. ср. р. *męsa*, объединенные генетической общностью, восходят к индоевропейской словообразовательной форме собирательной множественности **memsā*, в которой тематический формант *-*ā* является основообразующим суффиксом собирательности. Значение индоевропейской праформы **memsā*, по крайней мере для позднего праязыкового состояния, можно представить следующим образом: 1. Разделанная туша или части туши животного ~ куски мяса; 2. Тело человека как совокупность мягких участков, мускулов и т.п.[11]. Единичное значение 'кусок мяса', 'определенная часть туши' выражалось формой с основой на *-*ŏ*, которой соответствуют исторически засвидетельствованные формы ср.р.: слав. *męso*, санскр. *mā̐sám* и др. Известную аналогию такому соотношению форм составляют греч. (гомер.) мн. ч. μῆρα ср. р. 'бедренные части жертвенного животного' (ед. ч. μηρός ὁ 1. Бедро, ляжка. 2. Бедренный сустав) и лат. мн. ч. *membra* 'тело' — к ед. ч. *membrum* ср. р. 'член (тела)'. Греческая форма заключает в себе и.-е. **mēs-* (неназализованная согласная основа), ср. санскр. *mā́s-* ср. р. 'мясо'. Латинская форма восходит к назализованной согласной основе **mēms-*. Таким образом, данные формы отражают два варианта и.-е. основ: **mēs-ro-*/**mēms-ro-* (*Machek*[1], 287).

К семантической характеристике исходной формы как выражающей первоначально предметное значение 'кусок, отрезок мяса' можно указать ирл. *mír* 'кусок', обычно отмечаемое в ряду соответствий индоевропейскому **mēs-ro*.

Таким образом, слав. форма мн. ч. ср. р. *мѧса* восходит к индоевропейскому собирательному имени **mēmsā*. Как теперь окончательно установлено, формы им. — вин. п. мн.ч. имен ср. р. произошли от имен собирательных инактивного (пассивного, большей частью неодушевленного) класса.

Происхождение форм им. — вин. п. ср. р. из первоначальных имен собирательных на *-*ā* установил и глубоко исследовал на богатом фактическом материале индоевропейских языков еще 100 лет назад И. Шмидт.[12] Основные положения его концепции с подборкой славянского материала, которым оперировал исследователь, изложены в статье О.Н. Трубачева "Заметки по этимологии и сравнительной грамматике"[13] в связи с этимологизацией слав. *cěpa*. Но и спустя 20 лет к ней не лишне возвратиться, потому что классический труд И. Шмидта по-прежнему известен лишь узкому кругу индоевропеистов.

И. Шмидт убедительно доказал, что в индоевропейском языке формой им.п. мн.ч. ср.р. служили имена собирательные ед.ч. на *-*ā*/*ə* (варианты обусловлены характером гласного конца основы), которые в исторический период воспринимались уже как формы мн. ч. ср. р. с окончанием -*а*, а имена существительные мужского и женского рода в им. п. мн.ч. имели подлинные флективные формы, т.е. именно грамматические формы мн.ч., выражавшие значение расчлененной или простой, абстрагированной множественности, но могли принять и собирательную форму ед.ч. на *-*ā* для обозначения совокупного множества. Ср., например, греч. мн.ч. μηροί 'отдельные нарезанные куски бедра жертвенного животного' и мн.ч. μῆρα τά (Гомер) 'совокупность кусков бедра жертвенного животного' — от ед.ч. μηρός ὁ 'бедро, ляжка'; мн.ч. δρυμοί и собир. ср. р. δρυμά эпическое (Гомер) 'дубрава, дубовая роща' — от ед.ч. м.р. δρυμός, греч. ед.ч. м.р. σῖτος 'хлеб' во множ. ч. принимает собирательную форму ср.р. в вещественном значении: τὰ σῖτα, σίτων, σίτοις. Ср. также лат. мн.ч. *loci* 'места' (раздельно) и мн.ч. собир. ср.р. *loca* 'местность как целое' — от ед.ч. м.р. *locus* 'место', лат. *acina* 'гроздь (винограда)' как мн.ч. ср.р. и как ед.ч. ж.р. от ед.ч. м.р. *acinus* 'ягода (обычно виноградная)'.

И.-е. основообразующий суффикс *-*ā* (<*-*aH*) оканчивал имена ж.р. ед.ч. собирательных и отвлеченных значений, например, греч. родоплеменные названия *φυλά́ и *φρά́τρᾱ. Как установил И. Шмидт, греч. эпическое ион. *φρά́τρᾱ 'фратрия, колено' соответствует форме множ. ч. к скр. *bhrātrám* ср. р. 'братство'. Равным образом лат. *terra* ж.р. 'земля; страна; край' является собирательной формой по отношению к оск. *terúm* 'огороженный участок земли' и т.д. Среди примеров И. Шмидта находятся и славянские: ст.-слав. **слама** ж.р. 'солома' — собир. к лтш. *salms* 'соломина', нем. *Helm*, греч. κάλαμος 'тростник', лат. culmus м. р. 'стебель, соломина', слав. **зима**, ж.р. вместе с санскр. *híma-* 'снег', лит. *žiemà* 'зима' — собир. к санскр. *himá-s* м.р. 'холод', слав. **слава**, ж.р. соотносится как собир. форма с слав. **слово** ср.р., греч. κλέος ср. р. 'молва, слава', др.-инд. *çravaḥ* то же , ст.-слав. **срѣда** — собир. к и.-е. *k̑erd- (скр. *hṛd* ср. р. 'сердце', греч. κῆρ ср. р., лат. *cord-*, др.-прус. *seyr [sēr]* то же), слав. **юха** 'уха; похлебка' — собир. к санскр. *yūṣ-* м.,ср.р. 'отвар; бульон; соус', лат. *jūs* ср. р. 'похлебка; суп; подливка', ст.-слав. **яра** ж. р. 'весна' собир. к гот. *jēr* ср. р. 'год'. Аналогично соотносятся слав. **жза**, ж.р. ед.ч. — лат. *angōs*, санскр. *áṁhas*, слав. **спина** — лат. *spinum* ср. р. Таким образом, праславянские имена ж.р. ед.ч. на *-*ā*, соотносительные с и.-е. именами ср., отчасти, м.р., являются именами собирательными по происхождению. К собирательным наряду с указанными формами ед.ч. ж.р. И. Шмидт возводит имена pluralia tantum **кола** 'повозка; воз' (ед.ч. **коло** 'колесо') и **врата**, которые в новое время в болгарском и македонском языках трансформированы в формы ед.ч. ж.р. в условиях утраты падежной парадигмы.

Следует заметить, что сингуляризация данных форм сама по себе не может быть основанием для того, чтобы объединить в одном словообразовательном типе имена pl. t. ср.р. и собирательные ед.ч. ж.р.

Основанием для этого служит общность или единство их происхождения.

И. Шмидт считал собирательные на *-ā в грамматическом отношении формами ед. ч. ж. р. Но это положение относится к позднему этапу развития праязыка, к эпохе развитого флектизма. Происхождение же и.-е. словообразовательного типа собирательной множественности на *-ā уходит в древнейшее, дофлективное состояние праязыка. И.М. Тронский писал, что "мы имеем все основания доводить дальнюю реконструкцию до эпохи, предшествующей возникновению флексии".[14] В другой своей работе он утверждает, что „множественность, выражаемая в индоевропейских языках одной лишь флексией, — сравнительно молодая категория, которой в дофлективном состоянии индоевропейских языков могла предшествовать только собирательность"[15]. Именно к такого рода собирательным относятся и.-е. словообразовательные формы на *-ā, соотносительные, как показал И. Шмидт, главным образом, с основами ср.р.

Флексия возникла для выражения субъектно-объектных отношений в предложении или, может быть, для различения активной и пассивной позиции предметов, и, следовательно, флексия имела первоначально иные функции. К выражению количественных противопоставлений она была приспособлена позже, причем сначала в номинальном классе активных предметов. Отсутствие грамматических форм мн.ч. восполнялось в этот период словообразовательными средствами выражения множественности — именами собирательными. Современная категория мужского, женского и среднего рода тоже связана с оформлением флексии. Грамматическому роду в праязыке предшествовала номинальная классификация, различавшая имена двух классов — активного и пассивного. Собирательные формы на *-ā функционировали в качестве средства выражения совокупной множественности в классе пассивных предметов, составившем в дальнейшем основу среднего рода.

Таким образом, если отнести происхождение форм собирательности на *-ā в дофлективный период индоевропейского языка, то их можно интерпретировать следующим образом. Прежде всего это были дородовые словообразовательные формы. Выражая первоначально совокупно мыслимую множественность неодушевленных предметов и отвлеченных понятий, они не имели грамматического (формально выраженного) значения ни ед., ни мн. ч., т.е. вообще не были оформлены в числе. В дальнейшем имена собирательные на *-ā, функционировавшие в качестве лексического (словообразовательного) средства выражения множественности, были осмыслены как собственно грамматические формы мн.ч. ср.р. им.-вин.п. (на базе вещного класса) в связи с формированием словоизменительной парадигмы форм ед. и мн. ч., а те из них, которые выражали целостные предметные и вещественные понятия, как, например, *земля, слама* и под., утратив значение множественности, стали формами ед.ч. ж.р. подобно основной массе имен существительных на *-а*.

К настоящему времени в духе концепции И. Шмидта этимологизированы общеслав. *икра*, ж.р. от **jьkró* как этимологическое мно-

жественное число ср.р., трансформированное в форму ед.ч. ж.р. (ЭССЯ 8, 219),[16] праслав. **sěra* (др.-рус. *сѣра*) — собир. по отношению к лат. *serum* ср. р. 'сыворотка', ст.-слав. **дара** ж.р. 'милость' (Супр. р.) как соответствующее греч. мн.ч. ср.р. δῶρα от ед.ч. δῶρον ср.р. 'дар; подарок' (ЭССЯ 4, 189). Эти факты не исчерпывают лексический фонд данного типа в праславянском языке. К этому ряду можно прибавить еще несколько примеров: Праслав **mьzda* ж.р. 'оплата; награда' (ст.-слав. и др.-рус. мьзда, болг. *мъзда*, чеш. *mzda* и др.) имеет прямое соответствие в гот. *mizdō* ж.р. то же и может быть представлено как собирательная форма к и.-е. основе на *-ŏ, которая отражена в санскр. *mīḍhàm* ср. р. 'вознаграждение, плата' (*ḍ* предполагает предшествующее церебральное *s* : *sd*), авест. *mīždəm* 'награда, выигрыш', греч. μισϑός м.р. 'плата, жалованье, мзда'.

Праслав. **pelva* ж.р. 'мякина, полова' (ст.-слав. **плѣва,** но обычно мн.ч. **плѣвы,** ст.-чеш. мн.ч. *plevy,* ед. ч. *pleva*, словац. *pleva*, ст.-польск. мн.ч. *plewy,* ед.ч. *plewa,* в.-луж. мн.ч. *pluwy,* н.-луж. мн.ч. *plòwi* (Hauptmann), полаб. мн.ч. *plavăi, plavói,* болг. *пля́ва,* с.-хорв. мн.ч. *плѐве* и ед.ч. *плѐва*, словен. мн.ч. *pleve* и ед.ч. *plę́va* 'мякина, полова, вывевки', др.-рус. мн.ч. *половы,* ед.ч. *полова,* диал. *пелева* и *пелёва* 'шелуха') ближайше родственно др.-прус. *pelwo [pelvā]* ж.р. 'мякина' и наряду с др.-рус. мн.ч. *пелы,* зафиксированном в письменности в тв.п. мн.ч. *пельми*, соответствует др.-лит. *pẽlūs* то же, лтш. *pęlus* то же, мн.ч. *pęlavas,pęlęvas* 'мякина, полова' и далее др.-инд. мн. ч. *palā́vāh* м.р. 'мякина', лат. *palea* (< **palēva*) то же. Образовано от основы **peleu-,* заключающей в себе глагольный корень **pel-/*pol-* 'покрывать, обволакивать', прибавлением суффикса собирательности *-ā.

Праслав. **pěna* (ст.-слав. и др.-рус. мн.ч. пѣны, ед.ч. (редко) пѣна, с.-хорв. *njена* и далм. *cnjена*, чеш. *pěna*, словац. мн.ч. *peny*, ед.ч. *pena,* польск. *piana* и др.) связано ближайшим родством и соответствием с др.-прус. *spoayno* ж.р. 'пена бродящего пива' (из общебалт. **spáinā*) и лит. *spáinė* 'полоса пены' (Куршат), *spaĩnė* то же) образовано от основы **(s)poi-n/m-ŏ-*, в которой глагольный корень распространен основообразующим согласным *n/m.* **(s)poinā* — собирательное на *-ā по отношению к форме, отраженной в скр. *phénas* м.р. 'пена, накипь'.

К словообразовательному типу собирательности имен инактивного класса восходят также следующие имена pl. t.: праслав. **drъva* (< **drŭu̯ā*) ср.р. 'поленья' ~ 'дрова', ср.лит. собир. *dervà* ж.р. 'смолистая сосновая щепа, смолье; смола'; праслав. **usta* ср.р. 'рот', известное во всех славянских языках только во мн.ч., но в новое время осмысленное в болгарском и македонском как форма ед.ч. ж.р., форма ед.ч. *усто* употреблялась еще в древнесербском языке. Слав. мн.ч. **usta* имеет ближайшее соответствие в др.-прус. *austo* ж.р. то же и может быть соотнесено как собир. с вед. *ṓṣṭhas* м.р. 'губа', авест, *aošta-* м.р. то же. Собирательным по происхождению является древнее славянское название легких: ст.-слав. **плюшта,** др.-рус. *плюча,* польск. *płuca*, словац. *pľúca*, с.-хорв. *плу́ћа*, словен. *pljúča* и др., употребляемые преимущественно во мн.ч. Ср. балтийские соответствия мн.ч.: лит. *plaũčiai* 'легкие', лтш. *plaušas* то же. Др.-прус.

plauti, по определению В. Мажюлиса, является именем собирательным ед.ч. ж.р. (*Mažiulis* II, 303). В этот ряд плюралей, по происхождению имен собирательных ср.р., входит и слав. мн.ч. **męsa*. Замечательно то, что эта форма вышла непосредственно из праиндоевропейского языкового состояния и, следовательно, генетически она представляет отношения, которые предшествовали формированию собственно грамматической (словоизменительной) категории числа.

В связи с этим получает свое объяснение (тоже как форма собирательной множественности в прошлом) ст.-слав. мн.ч. желѣза в следующем примере: и желѣза сковрады мѫчаиша сѫть твоѥго срьдьца Супр.р. 118. 20. Этой форме соответствует др.-прус. *gelso [gelzā]* ж.р. 'железо' (Mažiulis II, 269).

По мере того, как в истории славянских языков архаические отношения перестраивались, мн.ч. *męsa* в вещественном значении было вытеснено формами ед.ч., но кое-где остатки форм мн.ч. лексикализовались или получили стилистические функции, например, болг. мн.ч. *меса* в значении 'обнаженные участки тела, голое тело; телеса': (Тело) *испокъсано страшно, така щото се виждаху голите меса на скитника* (И. Вазов. Под игото). Это свидетельствует о том, что функции языка так богаты и многообразны, что языковая система удерживает и находит новое применение выпадающим из нее архаическим формам.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Žilinská kniha (1473). Vydal V. Chaloupecký. Br., 1934.

[2] Žaltář Klementinský z I. pol. 14. stol. Vydal A. Patera. Praha, 1890.

[3] Žaltář Kapitulní (z konce 14. stol.): Der alttschechische Kapitelpsalter. Einleitung, Text mit kritischen Anmerkungen, Wörterbuch. Von E. Rippl. Prag, 1928.

[4] Žaltář Wittenberský, rkp. z I. pol. 14. stol. K tisku připravil J. Gebauer. V Praze, 1880.

[5] Psalterz Florianski (w. XIV): Psalterii Florianensis partem Polonicam ad fidem codicis recensuit ... Wł. Nehring. Posnaniae, 1883.

[6] *Янин В.Л., Зализняк А.А.* Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1977—1983 годов): Комментарий и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951—1983 гг.). М., 1986. 41.

[7] Новгородские писцовые книги, изданные Археологическою комиссиею. Т. IV. Переписные оброчные книги Шелонской пятины. I. 1498 г.; II. 1539 г.; III., 1552—1553 гг. Спб., 1886.

[8] Таможенные книги Московского государства XVII века. Т. I—III. М.; Л., 1950—1951.

[9] Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею Т. 23. Спб., 1904. 254.

[10] *Шерцль В.И.* Синтаксис древнеиндийского языка. I. О согласовании частей речи, об употреблении чисел и падежей. Харьков, 1883, 7.

[11] Этимологию и.-е. **mēms-ŏ* > слав. **męso* см. в соч.: *Трубачев О.Н.* Заметки по этимологии и сравнительной грамматике//Этимология. 1970. М., 1972. 13—14.

[12] *Schmidt J.* Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar. 1889.

[13] *Трубачев О.Н.* Заметки по этимологии и сравнительной грамматике//Этимология. 1968. М., 1971. 55—58.

[14] *Тронский И.М.* Общеиндоевропейское языковое состояние. Л., 1967, 50.

[15] *Он же.* К семантике множественного числа в греческом и латинском языках//Уч. зап. Ленингр. ун-та. Сер. филол. наук. Вып. 10, 1946, 62.

[16] Раньше см.: *Stenbock, C.-M.* Zur Kollektivbildung im Slavischen. // Årsskrift, Uppsala Universitets, 1906.

В.А. Никонов

ДРАГОЦЕННЫЕ СВИДЕТЕЛИ

Историки русского языка горько сетуют: скуден материал. Письменные источники сохранили только малую часть всего богатства древнерусской речи. Еще хуже с историко-диалектными данными. Поэтому непростительно упустить каждый источник. А так редко привлекают имена собственные, которых не меньше, чем нарицательных. Они не возникали "из ничего", основа каждого — употребительное живое слово. Топоним и фамилия *Осташков* указывают, что бытовало имя *Осташ* в характерной для своего времени форме (из *Евстафий*).

Бесчисленны донесенные до нас фамилиями и топонимами утраченные и забытые слова. В названиях селений даже одной Тотемской волости (на р. Сухоне) по списку 1623 г. их десятки: *Булахтино, Варлыгино, Доможирово, Запинкино, Засыскино, Колыгино, Копылово, Корепово, Кувакино, Лобаково, Лодыгинская, Обирково, Осовая, Пигилево, Скребехово, Слудка, Тарабукино, Унжалово, Хороброво, Цывилево, Черепаново, Чу́рилково...* Они изобильны архаизмами и диалектизмами, многие из которых ускользнули от записи.

Таковы и фамилии. Взять наугад любой район, например, Пронский, Рязанской области: в с. Елшино — *Балабошины, Дворниковы* (значение противоположно современному – не 'уборщик', а 'арендатор двора'), *Колгановы, Хазовы,* в Болотово — *Алабины, Жамновы,* в дер. Алютово — *Бушевы, Веретенниковы, Евдокухины, Толстоушкины,* в с. Красное — *Жигалины, Камаевы, Шишеровы* и т.д. Это не из архивов, это — сегодня, рядом с нами. Ясно, что вся масса существующих фамилий рождена не десятилетиями, а столетиями. Они сберегли слова и формы XVI—XVIII вв. Непосредственно вокруг нас разбросаны сокровища, которых мы не замечаем.

Следы множества старинных или диалектных слов уцелели только в фамилиях. Никем и нигде не записаны слова *засора, жижики,* а фамилии *Засорин, Жижикин* в Городищевском районе Пензенской обл. напоминают о них, как *Шустановы, Буровкины* в Вадинском районе той же области — о словах *шустан, буровка.* Лишь фамилии свидетельствуют о ряде исчезнувших профессий. Основы массы фамилий пока необъяснимы, например, северных — *Бурмагины, Видякины, Водынины, Лихотуровы, Односторонних, Пересторонины.*

Абсолютному большинству русских неясна этимология фамилии *Шаньгин*, да и сама фамилия мало где известна, зато на Севере она распространена и основа ее всем понятна — *шаньга* ('лепешка со сметаной'), любимое кушанье северян. Не единичны случаи, когда фамилия часта на одной территории, а слово, раскрывающее значение ее основы, — на другой: *Голдобины* записаны в Шенкурском и Онежском уездах прошлого столетия, а слово *голдоба* 'беднота' отмечено В.В. Палагиной в словаре старожильческих говоров по среднему течению р. Оби. И обратно: фамилия *Пластинины*

бытует в Сибири, слово *пластина* — давний производственный термин разделки рыбы на Северной Двине и Белом море, откуда и пришло в Сибирь. Собственные имена — своего рода "меченые атомы", указывающие на маршруты народных миграций.

Безгранично множество таких примеров, но еще чаще — архаизмы и диалектизмы не лексические, а фонетические (ведь, даже самое частое слово уступает по частоте самому редкому звуку языка). На русском Севере характерно превращение канонических имен *Самуил, Эммануил* в *Самыл, Мамыл*. Соответственно распространены там фамилии *Самылов, Мамылов*. Нередки вологодские и вятские топонимы *Манылово, Маныловцы, Маныловский погост, Самылово, Самылково, Самылиха*, южная граница их проходит через север Калининской области, Ярославскую и Костромскую. Но сама замена *уи* на *ы* произошла раньше прихода русских на Север: название с. *Самылково* в Дедовичском районе Псковской области не могло быть занесено с Севера.

На Севере топонимия сохранила и форму *Патрак* при повсеместном *Патрикей* (из лат. *patricius**).

Там же не единичны топонимы, удерживающие древнерусское *е*, замененное вне ономастики на *о*: *Елень, Езеро*.

Прославленное еще былинами женское имя *Олисава* (каноническое — *Елизавета*) оставалось на Севере нередким еще и в XVIII в.; перепись 1717 г., содержащая рожденных на исходе XVII в., застала в дер. Дуброва (ныне Вельский район Архангельской обл.) даже четырех носительниц этого имени (одна записана в промежуточной форме *Елисава*). На Севере были распространены и фамилии *Молоснов* (из *молосной* 'молочный') и шире — *Труфан* (от *Трифон* — по древней колеблющейся передаче греческого ипсилона, как *Кипр*, но *купорос*).

Фамилии *Евтипов, Евтишев* (из канонических имен *Евстигней, Евстафий*) выдают свое происхождение — результат псковской утраты согласного *с* из сочетания *ст*, ср. в Тамбовской обл. — *Евстюфейкины* (Уметский р-н), на других территориях и *Астаховы, Остаповы, Осташковы, Астаповы, Останкины, Остафьевы, Стахеевы* и во множестве прочих метаморфоз. Не только не изучены, но и не собраны превращения *Аким — Еким — Яким* (из *Иоаким*).

Фамилии *Востров, Вострецов, Востропятов* обязаны говорам с протетическим согласным (для датировки можно напомнить помещика *Вострая Сабля* при Петре I: его потомки стали *Востросаблины*). Так и *Гостроверховы* (в с. Решетовка, Тамбовской области). Напротив, *Стрекопытовы* (от петровского же дворянина *Острое копыто*) утратили оба первых *о* — *острое* превращено в *стре*. И мелкие фонетические изменения, сплетаясь с переосмыслением, когда основа стала непонятна, превращают фамилию в неузнаваемую: *Локтивонов* (из *Галактион*), *Ларьков* (из *Илларион*), *Политов* (из *Ипполит*) и т.п. В терминах теории информации это помехи

* Через греческий, см. Фасмер[2] III, 217. — Прим. ред.

в каналах связи. Для изучения диалектов и истории языка это неоценимые свидетели!

Еще дороже помощь собственных имен для самого запущенного раздела истории русского языка и его диалектов — словообразования, самостоятельность которого (наравне с лексикой, грамматикой, фонетикой) признана очень поздно, лишь в конце 50-х гг. нашего столетия.

Достаточно обратиться к карте: как размещены формы названий населенных пунктов? Преобладающих форм — две: *-ов* (включая *-ово, -ова,* с их фонетическими вариантами *-ев, -ево, -ева,* присоединяемыми к основам на гласный или мягкий согласный), и *-ка* (включая *-овка, -евка*) — по данным середины прошлого века, в %:

Зона	губерния	уезд	*-ов*	*-ка*
северней Москвы	Вологодская	Тотемский	44	5
"	Ярославская	Пошехонский	40	10
южней Москвы	Пензенская	Городищенский	5	42
"	Курская	Белгородский	27	37

Ясно, что распределение десятков тысяч названий сложилось за несколько столетий. Полученное соотношение их — проекция времени на плоскость карты. Налицо резко выраженный поединок двух имяобразующих форм. Там, где вся масса русских названий возникла до середины XVI в., господствует суф. *-ов.* К этой дате его употребительность упала, а восторжествовал формант *-к* который и получил преобладание южней линии приблизительно Брянск—Тула—Арзамас, по которой пролегал рубеж Московского государства середины XVI в. (конечно, границу нельзя представлять в современном смысле слова).

Более широкую перспективу времени отражает "дуэль" *-ица* и *-ка* в русских названиях рек: чем северо-восточней, тем резче преобладает *-ка.* В этом же плане географичны и другие суффиксы топонимов. В ряде моих работ показана историческая суть выразительных ареалов *-иха.* Чрезвычайно частые в бывших Суздальских землях (в треугольнике между Волгой и нижним течением Оки каждый четвертый населенный пункт и сегодня носит название с *-иха*: *Блошиха, Затеиха, Хвостиха*), оттуда они хлынули за Вятку и Каму, узкой полосой пересекли Урал и широко разлились по Сибири; на юго-восток они продвинулись по Суре и Волге; на запад и юго-запад их разнесли старообрядцы, уходя от религиозных притеснений — на Западную Двину, на Десну, даже в Польшу. Совсем иначе размещены топонимы на *-ичи.* Колоритны "островки" с *-ята* (*Дубята, Озерята, Ярята*).

Для каждой территории характерен свой "спектр" формантов топонимии, могущий служить ее "топонимическим паспортом". Удивительна устойчивость ономастических форм. В XV—XVI вв. на территории бывшей Бежецкой пятины произошла широкая смена топонимов — большинство лексических основ заменено, а частотность формантов осталась прежней! Так и на наших глазах: из топонима *Екатеринодар* выброшена негодная основа, а второй компонент, утратив всякую связь с *дарить*, уцелел: *Краснодар.*

Аналогично в переименованиях с *-град*. Формант "нейтральней" основы. У всего своя хронология.

Красноречива территория, — то есть история! — в изобильных топонимах и фамилиях, образованных формантом *-хно*. Максимально густы они на юго-западе. 52 населенных пункта Украины содержат *-хно* (из них 20 в Хмельницкой и Винницкой областях — *Вахновка, Вахновцы, Дахновка, Ивахновцы*), откуда они устремились к северо-востоку до верхнего течения Оки (*Алехново* в Орловской области, *Вахново* в Тульской, г. *Юхнов* в Смоленской). И на севере в б. Псковской губернии их было даже 93 (*Дахново, Ивахново, Лехно*), дальний отклик их единичен в Архангельской обл. Фамилии с *-хно* нередки у белорусов и украинцев, но преимущественно они дооформлены русским *-ов*.

Каждое личное имя употребляли преимущественно не в основной форме, а в многочисленных производных: от *Василий* — *Вася, Васька, Васенька, Васяка, Васёк, Васюк, Василь, Василько, Васюта, Васютка, Васей, Васяй, Васюха, Васюша, Васяня, Васяха, Вака* и т.д.; от самого частого у русских в прошлом имени *Иоанн* насчитано почти полтораста производных форм. Из них возникали топонимы и фамилии. У многих формантов свои ареалы на карте. Так, *-ута* чаще на Севере (мезенские *Личутины* и др.), вероятно, пройдя через Псков и Новгород из Польши и Белоруссии, а туда — из Литвы. В Верхнем Поочье наибольшее скопление фамилий с *-очкин*, от имен уменьшительно-ласкательных (может быть, ироничных? см. *Ванюшечкин, Звездочкин, Ниточкин*), а фамилии на *-сков* (*Земсков, Донсков, Сотсков*) преимущественны на юго-востоке России, характерны для русских пограничных зон XVII—XVIII вв.; много примеров их у яицких казаков собрал Н.М. Малеча, у донских — Л.М. Щетинин. Положенные на карту 20 фамилий на *-итин* (*Костромитин, Пермитин, Веневитинов*) с удивительной точностью очертили территорию Московского государства на исходе XV в.; их основы обозначали зачисленного на военную службу по определенному уезду, в котором зачисленный получал земельное поместье.

Очень выразительна география фамилий из формы родительного падежа множественного числа: *Белых, Долгих, Молодых, Ивановских* (они выражали принадлежность не главе семьи, как все другие фамилии, а семье в целом). В XVII в. эта форма именований господствовала в бассейне Северной Двины. По "переписи часовен" 1692 г. в Шенкурских волостях так именовали больше трети всех привлеченных. Позже образования на *-их* вытеснены, но и в 1897 г. они еще охватывали 6% всех крестьян Шенкурского уезда. С Севера они хлынули в центрально-черноземное междуречье (между Орлом—Курском—Воронежем), а на восток — за Вятку, Каму, Урал и настолько распространились в Сибирь, что нашим современникам фамилии *-их, -ых* кажутся сибирскими (хотя принесены туда они из обоих их массивов — северного и среднерусского).

Напротив, фамилии из уничижительных именований с *-ка*, обязательных в XVI—XIX в. для всей народной массы, о которых с болью и гневом писал В.Г. Белинский в бессмертном "Письме к Го-

голю", повсеместны в России (*Гришкин, Васькин, Кондрашкин*), кроме Севера, куда не распространилось крепостное право.

Связям большинства формантов с территорией соответствуют и их связи с определенным временем. Эта картина пестра и сложна. Здесь приведены лишь немногие факты, все остальные еще ждут исследователей. Задача не из легких. Необходимо знать и законы русской исторической фонетики, историческую географию России, весь набор личных имен. Мало кто раскроет в фамилии *Веденеев* имя *Бенедикт*, а в *Охромееве, Фоломине, Вахрушеве* узнает *Варфоломея*. При этом еще надо учитывать и контаминацию, например, форма *Ганя* возможна и из *Гавриил*, и из *Агафон*, и из нескольких других имен.

* * *

Так территориально и диахронично характерны собственные имена на всех уровнях — фонетическом, лексическом, словообразовательном. Это относится не только к топонимии и антропонимии, затронутым здесь, а и ко всем остальным разделам ономастики, изученным слишком мало или не изученным совсем. Ономастика располагает транспортом, о каком не может и мечтать самая богатейшая экспедиция диалектная или историческая — фантастической "машиной времени" Г. Уэллса.

У каждого вида собственных имен свои преимущества и свои минусы, если рассматривать их как источники по истории языка и его диалектов. Топоним не монета, на которой высечена дата, зато он прикреплен к месту (хотя многие топонимы перенесены: например, русская топонимия Сибири — своего рода "повторительный курс" топонимии тех территорий, с которых шли переселенцы, но уже само это — замечательный исторический источник). Фамилии перелётны вместе со своими носителями, но ценно их преимущество — их основы не гадательны, строгая форма канонического имени известна точно, ее сопоставление с живой раскрывает процессы, обусловленные закономерностями истории русского языка и его диалектов.

Русская ономастика — огромный котел, который массу притяжательных прилагательных переплавляет в существительные (*иваново* село — гор. *Иваново, кузнецов* сын — фамилия *Кузнецов*). Еще существенней картина, обнаруженная подсчетами фамилий больше 3 миллионов русских: оказалось, что нет единой преобладающей фамилии. В Новгородской, Псковской и соседних областях решительно преобладали *Ивановы*, на Севере — *Поповы*, во всем Северном Поволжье — *Смирновы*, южней и восточней Москвы — *Кузнецовы*; всюду вне северо-запада *Ивановых* — в сельских местностях 2—3 десятка, как и *Смирновых* — вне своего массива. Случайность исключена объемом подсчетов. Налицо — состояние ко времени становления русских фамилий, протекавшего в основном с XVII по XIX век. Перед нами 4 массива, непосредственно предшествующие сложению всероссийского рынка.

Из всего приведенного видно, что ареалы собственных имен очень часто не соответствуют рубежам диалектов, установленным по апеллятивам. Ничего удивительного. Ведь и в нарицательных граница между *г* взрывным и фрикативным совершенно не совпадает ни с какими диалектными; так же наперекор установленным границам расположены многие другие явления. Тем более оправданно, что у ономастики — свои "диалекты". Подчиняясь многим диалектным чертам, акающие произносят *Арлоф, Варонин.* Но наряду с этим огромно количество ономастических примеров, независимых от диалектов апеллятивных. Внутренние, специфические закономерности ономастики, конечно, усложняют привлечение ее в помощь другим отраслям языкознания. Тем дороже каждая отрасль! Не нужно радоваться взаимным сходствам и огорчаться расхождениями. Взаимные иллюстрации подтверждают известное, а расхождения открывают неведомое.

ПРИМЕЧАНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ

Статься покойного В.А. Никонова, известного советского специалиста в области ономастики, публикуется в том виде, в каком она осталась в рукописном наследии автора. Возможно, при редактировании работы автор устранил бы некоторые неточности в отношении конкретных случаев. Так, среди слов, упоминаемых в статье как неизвестные за пределами ономастики, есть и такие, которые зафиксированы современными региональными словарями (например, относительно *засора* см. Филин 11, с. 49).

А.К. Матвеев

НАЗВАНИЯ С ОСНОВОЙ *КОНЕ-* В ТОПОНИМИИ РУССКОГО СЕВЕРА

В Онежском районе Архангельской области Севернорусской топонимической экспедицией Уральского ун-та (СТЭ) было записано название *Ко́непаньга*, которое, на первый взгляд, принадлежит к многочисленным субстратным названиям на -v + *ньга.* Фактически же оно не имеет к ним никакого отношения, хотя по своему фонетическому облику и акцентуационной характеристике (типичному для финно-угорских названий ударению на первом слоге) должно рассматриваться как субстратный топоним.

Поскольку перед нами скорее всего двукомпонентное слово, а топооснова *конеп-* в картотеке СТЭ не засвидетельствована, напрашивается предположение о том, что это название надо членить не на компоненты *конеп-* и *-аньга*, а каким-либо иным способом.

Так как *Ко́непаньга* — залив в озере Нижнее *По́ньгозеро*, находящемся в верховьях реки *По́ньга*, есть все основания считать, что при записи была допущена ошибка, связанная с редукцией заударных гласных, сплошь и рядом наблюдаемой в современном полу-

диалекте, на котором говорит сейчас население Русского Севера. Поэтому название следует реконструировать в виде *Кóнепоньга* (*коне* + *поньга*), что позволяет, во-первых, ввести его в ряд субстратных наименований с топоосновой *поньг-* (*понг-*) — *Поньга* (*Понга*), *Поньгозеро* (*Понгозеро*), *Понгота* (ср. в Карелии — *Поньгагуба, Поньгома*), а, во-вторых, выделить топооснову *коне-*, которая засвидетельствована в картотеке СТЭ. Компонент *коне-* не может быть топоформантом, потому что в агглютинативных субстратных языках ни географические термины — детерминанты, ни словообразовательные аффиксы не могут находиться в начале сложения.

Поскольку топоформант *-поньга* на Русском Севере не засвидетельствован, а названия типа *Поньгозеро, Понгота* со своей стороны указывают, что компонент *поньг(а)* в языке-источнике употреблялся как атрибутив, приходится допустить, что в *Кóнепоньга* отражено сочетание двух атрибутивов.

Топооснова *поньг-* (*понг-*) до сих пор не получила убедительной этимологической интерпретации. Фасмер приводит гидроним *Понга* (Костромская область) и с большой осторожностью сопоставляет его с марийским *poŋgə* 'гриб', в конце концов резюмируя, что в этом случае ясности нет[1]. Действительно, топооснова *поньг-* (*понг-*) неоднократно зафиксирована на Русском Севере, а семема "грибной" встречается редко. Уже поэтому с обсуждаемой этимологией согласиться нельзя. Однако для наших целей не столько важна надежная этимология топоосновы *поньг-, понг-,* сколько сам факт ее достаточно широкого распространения в севернорусской топонимии, что со своей стороны подтверждает правильность членения топонима на компоненты *коне-* и *-поньга* и тем самым выделения топоосновы *коне-*.

Эта топооснова отмечена в целом ряде названий Русского Севера, причем обращают на себя внимание некоторые структурные и фонетические особенности таких названий и прежде всего несочетаемость основы *коне-* со всеми без исключения субстратными топоформантами, а также передвижка ударения с первого слога на второй.

Все это сразу наводит на мысль, что перед нами особый случай и что основа *коне-* не имеет отношения к субстратной топооснове *кон(о)-*, выступающей в сочетании с различными топоформантами, а в полукальках с русскими географическими терминами в таких топонимах, как *Кóноша, Кóнокса, Кóнюг, Кóноваж, Кóностров, Кóнозеро* и т.п. Картина проясняется, если рассмотреть другие примеры употребления загадочной основы *коне-*.

В Каргопольском районе Архангельской области есть урочище с названием *Конечёлма*, в котором основа *коне-* безударна, а второй компонент восходит к рус. диал. *чёлма* 'пролив' < саам. *čoalme* 'пролив' (Фасмер IV, 371), поскольку в субстратной топонимии компонент *-чёлма* в качестве детерминанта не засвидетельствован. При всех отличиях это позволяет поставить *Конечёлма* в один ряд с названием *Кóнепоньга.*

Аналогично обстоит дело с топонимом *Конéщелье.* Так именуются

луга в Пинежском и Лешуконском районах Архангельской области. В этом случае ударение перенесено на второй слог, а компонент -*щелье* тождествен рус. *щелья* 'каменный берег', которое связано с *щель* (Фасмер IV, 501). В топонимии подобного рода преобразования обычны: *поле — полье* (*Азополье*), *курья — курье* (*Вондокурье*), *щелья — щелье* (*Белощелье*). Значительно интереснее, что топооснова *коне-* может сочетаться и с русским по происхождению географическим термином.

Наконец, можно привести еще не совсем ясное наименование мыса *Конéщерки* (Белозерский район Вологодской области), в котором ударение опять-таки перенесено на второй слог топоосновы *коне-*, а компонент -*щерки* затемнен.

Необычность этих названий в акцентуационном (кроме *Кóнепоньга*) и других отношениях, особенно неупотребляемость топоосновы с типичными субстратными формантами, заставляет думать, что перед нами псевдосубстратная топооснова, объяснение которой нужно искать в русском языке и что, следовательно, и *Кóнепоньга* — гетерогенное название — оригинальный русско-финно-угорский гибрид: русский компонент в этом сложении предшествует финно-угорскому, что бывает нечасто.

Предложенную версию поддерживают и другие факты, засвидетельствованные в топонимии Русского Севера, в частности, топоним *Конецщелье* (ударение возможно на любом из первых трех слогов) — название деревень в Мезенском и Лешуконском районах Архангельской области, зафиксированный также и в вариантной форме *Конещелье.*

Таким образом, топооснова *коне-* представляет собой усеченное рус. *конец* и, следовательно, *Конечёлма* надо толковать 'Конец чёлмы (пролива)', *Конепоньга* — 'Конец Поньги'[2], а *Конещелье* — 'Конец щельи'. Семантически эта трактовка не вызывает никаких осложнений: названия такого рода повсеместно распространены в топонимии. Остается выяснить, как они появляются и почему происходит переработка *конец-* > *коне-*.

Возникая как генитивные конструкции прежде всего в микротопонимии, названия такого типа с течением времени субстрантивируются и становятся сложными существительными. Все стадии этого перехода хорошо отражены в картотеке СТЭ. Здесь находим название населенного пункта *Конец Острова*, рыболовецкой тони *Конец Ниток*, урочища *Конец Долгих Песков*, поля *Конец Дома*, луга *Конец Наволока* и т.п. Впоследствии на основе таких названий возникают сложные образования двух типов.

Первый тип представляет собой сопложение двух существительных, из которых первым является слово *конец*, ср.: *Конецлуг, Конецнаволок, Конецулица, Конецпоселок, Конецслободка, Конецкурья,* а также в сочетании с русскими и субстратными топонимами — *Конец-Кирильево, Конец-Мондра.* Этот тип словосложений особенно характерен для Русского Севера и нетипичен, например, для Урала, хотя и там зафиксировано название населенного пункта *Конец-Бор* (Пермская область). Поэтому вполне возможно, что названия такого

рода возникли не без влияния со стороны финно-угорского материала (ср. фин. *Lintuoja* 'Ручей птицы', 'Птичий ручей', дословно 'Птица-ручей'), правда, полностью аналогичные в семантическом и синтаксическом отношениях финно-угорские структуры нам неизвестны, и это, кстати, тоже указывает на русскоязычное происхождение таких гибридов, как *Кóнепоньга.*

Второй тип в большей степени может считаться общерусским. Он представлен широко распространенными названиями типа *Чистополье,* ср. в картотеке СТЭ: *Конецполье, Конецозерье, Конецгорье, Конецдворье.* Эта модель отражена и в севернорусской диалектной лексике, ср. *конецгубье, конецполье* (Филин 14, 254).

Как же объяснить фонетические изменения, происходящие в слове *конец,* когда оно находится в препозиции? Оказывается, эти изменения выражены особенно рельефно в положении перед субстратной топоосновой (*-поньга*), а также заимствованным (*-чёлма*) или деэтимологизированным словом (*-щерки*). Напротив, перед исконно русскими словами или вообще не происходит изменений или они факультативны (ср. *Конецщелье* и *Конещелье*). Отсюда следует, что при этимологически неясном втором компоненте сложный звук *ц* (обычно *ц'*) в возникающей на стыке топооснов труднопроизносимой группе согласных (особенно перед глухими согласными *ч, щ*) может легко исчезать, чему способствует такая особенность архангельских говоров, как мягкое цоканье[3], облегчающее ассимилятивные процессы. Иными словами, семантическая неясность одного из компонентов ведет к затемнению смысла всего сложения, а процесс деэтимологизации в свою очередь способствует фонетической переработке, вызываемой трудностями произношения.

Понимание всех этих особенностей употребления сложений со словом *конец* позволяет объяснить некоторые весьма загадочные топонимы Русского Севера.

В Шенкурском районе Архангельской области есть старинное русское село *Шеговáры,* название которого в форме *Шоговаръ* упоминается уже в документах XV в.[4] Форма *Шеговáры* в настоящее время считается официальной, но коренное население наряду с ней до сих пор употребляет и старинную форму *Шóговара,* явно усвоенную из языка местного дорусского населения. Фасмер справедливо объясняет топоформант *-вары, -вара* из саам. *varre* или фин. *vaara* 'гора', толкуя топооснову из саам. *šakk* 'свинья'[5]. Однако с учетом соответствия современное саам. *s* — древнесаам. двинское *š*[6] предпочтительнее интерпретировать название *Шоговара* не 'Свиная гора', что маловероятно также в историко-этнографическом отношении, а 'Березовая гора', ср. саам. *soakke* 'береза'.

Как бы то ни было, субстратное происхождение этого названия несомненно. Напротив, неофициальное название примыкающей к Шеговарам деревни Пищагинской — *Конишóговара* скорее всего гетерогенно.

Связь смежных названий *Шóговара* и *Конишóговара* совершенно очевидна, поэтому, на первый взгляд, и компонент *кони-* должен быть отнесен к числу субстратных, а само название *Конишóговара*

к тем весьма редким и потому очень ценным реликтам, которые содержат два субстратных атрибутива, т.е. имеют структурный тип A+A+S при обычном A+S, ср., смежные гидронимы *Вáмшереньга* (*вам+шер+еньга*) и *Шéреньга* (*шер+еньга*). Но если топооснова *вам-* в гидрониме *Вáмшереньга* подударна, а в топонимии Русского Севера достаточно популярна, причем в сочетании с различными субстратными топоформантами (*Ваманга, Вамыш* и т.п.), то *кони-* безударна и не зафиксирована в других топонимах.

Сказанное позволяет отнести название *Конишóговара* к уже рассмотренным топонимам с основой *коне-* в препозиции. Что касается перехода *е* > *и* в безударном положении, то он должен объясняться так же, как *о* > *а* в *Кóнепоньга*, т.е. постепенным внедрением элементов литературного произношения в диалектную речь, которое особенно легко охватывает слова с неясной внутренней формой. Поскольку *Конишóговара* находится рядом с *Шеговáрами*, толкование этого названия 'Конец Шеговар' выглядит достаточно убедительно.

Другой пример интересен с методической точки зрения. Северо-западная часть озера Великое в Пинежском районе Архангельской области носит название *Конéчерье.* С учетом мягкого цоканья и его неточной фиксации (передачи *ц'* как *ч*) это деэтимологизированное слово надо восстанавливать в виде *Конéцерье* (ср. название луга *Конéчестрово*, в котором первичное *Конец Острова* изменено почти до неузнаваемости).

Структура топонима *Конéцерье* становится, однако, прозрачной, если иметь в виду, что во многих севернорусских названиях озер сохранился субстратный формант *ер* 'озеро', родственный фин. *järvi*, мар. *ер* 'озеро', т.е. *Конéчерье* — 'Конец озера'. В этом случае особенно хорошо видна ценность подобных названий для выявления, так сказать, "скрытого" субстратного материала.

Наблюдения над функционированием и преобразованиями слова *конец* в севернорусской топонимии будут, однако, неполными, если не упомянуть об его изменениях при образовании сложных слов в постпозиции.

В свое время, изучая оттопонимические наименования жителей на территории Русского Севера, Л.В. Кульмаментьева показала, что названия типа *верхнекóна* (*верхокóна*) и *нижнекóна* образованы от ойконимов *Верхне(верхо)конская* < *Верхний Конец* и *Нижнеконская* < *Нижний Конец*, прокомментировала пути их образования и описала методический прием для восстановления старых форм наименований населенных пунктов по названиям жителей, ср. ойконим *Жабий*, название жителей *жабокона*, восстановленный топоним *Жабоконская* < *Жабий Конец*[7].

Все эти наблюдения в настоящее время полностью подтверждены наблюдениями над ныне функционирующими вариантами названий (ср. *Чухчин Конец* и *Чухчеконская* в Холмогорском районе Архангельской области). Они действительно открыли перспективы для восстановления по крайней мере некоторых уже не существующих топонимов.

Так, есть все основания считать, что название околка (небольшой деревни) в селе Юрома (Лешуконский район Архангельской области) *Тишеконская* восходит к *Тихий Конец*, а название районного центра *Лешуконское* — к *Леший (Лесной) Конец*, поскольку это большое село расположено в конце длинного лесного волока между Пинегой и Мезенью[8]. Замечательно, что в пределах того же села Юрома еще один околок раньше назывался *Пачеконская* < *Пачеконец* (с субстратной основой *паче-* в препозиции), а другой — *Некрасоконская* (теперь *Некрасово*) < *Некрасов Конец*. Возможность существования названий типа *Пачеконец* подтверждается названием одного из заливов Ундозера в Плесецком районе Архангельской области — *Похконец*.

Процессы изменения исхода слова *конец* в начале и конце сложения имеют разную природу: в одном случае у них прежде всего фонетические причины, подкрепляемые деэтимологизацией, в другом — фонетико-морфологические, имеющие прямое отношение к словообразованию. Общее здесь, пожалуй, можно усмотреть только в тенденции к экономии языковых средств.

Сложные названия с топоосновой *коне-* (*кони-*) в препозиции, которые употребляются в сочетании с субстратными основами, поучительны в методическом отношении, поскольку показывают, как легко можно ошибиться при этимологическом изучении топонимов и посчитать исконно русскую основу субстратной, если не считаться с фактором взаимодействия языков, обусловливающим широкое развитие разного рода гетерогенных форм в топонимии.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *Vasmer M.* Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. III. Merja und Tscheremissen // SPAW. Phil.-hist. Klasse, XIX, Berlin, 1935. 542.

[2] Перенос ударения **Конéпоньга* > *Кóнепоньга* связан, видимо, с полным забвением структуры названия и втягиванием его в ряд чисто субстратных наименований.

[3] См.: Русская диалектология / Под редакцией Н.А. Мещерского. М., 1972. 39.

[4] См.: Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI в. Т. III. М., 1964. 32.

[5] См.: *Vasmer M.* Beiträge... IV. Die ehemalige Ausbreitung der Lappen und Permien in Nordrussland // SPAW. Phil.-hist. Klasse, XX, Berlin, 1936. 205.

[6] См.: *Матвеев А.К.* Происхождение основных пластов субстратной топонимии Русского Севера // ВЯ. 1969. № 5. 47.

[7] См.: *Кульмаментьева Л.В.* Оттопонимические бессуфиксальные названия жителей на территории Русского Севера // Вопросы ономастики, № 10. Свердловск, 1975. 79—80.

[8] В этом случае *у* вместо *е* может быть объяснено забвением повода наименования и как следствие этого сближением по народной этимологии с диалектным словом *лешукаться* 'поминать лешего' (Филин, 17, 30), образованным от той же основы (при более обычном *лешакаться*).

Е.С. Павлова

РУС. ДИАЛ. *ГОМЫЛЬКА*

В архангельских говорах отмечается редкое и на первый взгляд необъяснимое значение у слова *гомы́лька* (варианты *гому́лька, гуму́лька*) 'большой платок, подаренный невесте женихом в день свадьбы' (Подвысоцкий 33, Филин 6, 356; 7, 231). Значение 'платок' как будто не соотносимо с другими значениями, присущими словам данного этимологического гнезда. Ср. структурно идентичные образования: чеш. *homolka* 'небольшой сыр конической формы; что-либо конусообразное', словац. *homôl'ka* 'кусок сыра', в.-луж. *homlka, homulka* 'кочка, комок', польск. *gomółka* 'кусок, ком шарообразной или овальной формы', 'деревенский сыр округлой формы', рус. диал. *гомо́лька* 'соска для младенца', укр. диал. *гомы́лка* 'межа в виде кучи камней' (материал взят из ЭССЯ 7, 19).

Все эти формы являются производными от вариантного **gomola/*gomula/*gomyla* с исходным значением 'ком, кусок' (ЭССЯ 7, 18). Для слав. **gomola* (и вариантов) отмечается параллелизм с балтийскими формами: лит. *gãmalas, gãmulas, gamulà* 'ком, ломоть, кусок'[1]. Вопрос дальнейшей идентификации корня решается по-разному. Так, одни исследователи считают правомерным соотнесение с корнем **gem-* (**gę-, *žę-*), ср. *жом, жать, жму* и дальнейшее родство с греч. γέμω 'я полон, изобилую', γόμος 'корабельный груз', норв. *kams* 'ком' (Berneker I, 326; Brückner 150; Преображенский I, 181; Фасмер I, 435—436; ЕСУМ I, 559).

Иная точка зрения изложена в Этимологическом словаре славянских языков. О.Н. Трубачев, отмечая, как и другие исследователи, близость лит. *gãmalas* 'ком, ломоть, кусок', полагает, что "при этом едва ли можно говорить о регулярности соответствий, поскольку перед нами, по-видимому, экспрессивная лексика, что проявляется (независимо) как в балт., так и в слав. языках" (ЭССЯ 7, 19), ср. наличие в литовском синонимичного *gãbalas* 'ком, кусок', а для славянского — наличие глухого дублета: **gomolъ/*komolъ* 'безрогий' (там же).

В.Э. Орел в специальной статье, посвященной этимологии слова **mogyla*, анализируя славянский, балтийский и балканский языковой материал, пришел к заключению, что **mogyla* является метатезированной формой слова **gomyla*, которое (вместе с суффиксальными вариантами **gomola/*gomula*) в свою очередь восходит к индоевропейскому названию земли **dhĝhŏm/*ghdhŏm*[2].

В балканских и славянских языках известны вариантные формы, ср. алб. *mágulë, gámulë* 'холм, бугор'[3], *gamule*, ж. 'куча земли и травы' (Фасмер II, 634), с.-хорв. *го̀мила, мо̀гила* 'могила' (там же), *гомила* 'куча' (РСА III, 183), *gomuļa* 'большая куча камней' (RJA III, 265), диал. *gomȉla* 'навозная куча, мусорная куча', в.-луж. *homola, homula* 'ком, холм' (Pfuhl 212) — цит. по ЭССЯ 7, 18; болг. [*гоми́ла*] 'могила', словен. *gomíla* 'куча земли; могила, курган', укр. диал. [*моги́ла*]

'куча, груда': "насыпав *могилу* пшениці; *могила* снігу..." — цит. по ЕСУМ I, 558; рус. диал. *могѝлы*, мн.ч. 'длинная насыпь, вал', курск. (Филин 18, 190), *могѝльник*, м.р. 'берег реки или луг, усеянный продолговатыми кочками, ямами': "*Могильник* — земля кочками. *Могильник* не пашут", челяб. (там же, с. 191); 'место, покрытое кочками, буграми', ярослав. (Ярослав. словарь 6, 49).

В балтийских языках представлены только формы с начальным *-g-*: *gãmalas, gãmulas, gamulà*, вероятно, с первичной семантикой 'ком' (откуда возможно развитие значений 'кусок, ломоть' и 'возвышение, холм; могильный холм').

Однако помещаемый выше материал еще не доказывает необходимость генетической связи[4] между **gomyla* и **mogyla*, хотя совпадение этих форм в сфере значений 'куча, холм, насыпь' достаточно показательно, поскольку может указывать на позицию своеобразной "семантической нейтрализации", т.е. такого контекста, в котором происходит совмещение значений[5]: 'ком, кусок' и 'курган, могильный холм'.

Отсутствие вариантных форм для слова **mogyla* может быть вызвано не только более поздним характером происхождения этого слова по сравнению с **gomyla*, но и спецификой его функционирования — закрепленностью за сакральной, табуизированной сферой лексики (связь с погребальным обрядом).

Решающим аргументом, на наш взгляд, в пользу подтверждения возможного преобразования **gomyla* → **mogyla* служит зафиксированное в архангельских говорах русского языка производное слово *гомы́лька* (и *гомýлька*) в значении 'платок, подаренный невесте женихом в день свадьбы'.

Общеизвестно значение народных обрядов как источника сведений о древнейших формах жизни и верований людей. Вот как описывается тот момент свадебного ритуала, когда жених дарит невесте свой подарок — платок: «Когда перед отъездом в церковь родитель благословляет невесту, — жених набрасывает на нее *гомыльку* 'большой теплый платок', так, чтобы лицо было закрыто, и в это время свадебницы поют: "Пала *гомылька* на буйну голову, её ветром не сдует и частым дождем не смочит". При входе в церковь сватья снимает гомыльку, а после окрутки снова накрывает ею невесту, которая не открывается и по приезде молодых в дом жениха, — даже и садясь за свадебный стол, пока не принесут сладкий пирог. Тогда свекровь благословляет хлебом, обращается к гостям со словами: "Свадебники и свадебницы, суседи и суседушки, смотрите на мою невестушку, какова!" — и затем снимает с молодой гомыльку», арханг., Повысоцкий (Филин 6, 356).

Смысл этого ритуала (как и многих других) ныне забыт. Да и сам ритуал покрытия (с головой!) невесты почти не сохранился в наши дни (описание Подвысоцкого сделано в конце прошлого века); большой плотный платок заменен легкой прозрачной фатой. Не только участники свадебного действа, но и большинство ученых-этнографов, фольклористов объясняют обычай покрывания невесты лишь как желание уберечь ее от дурного глаза[6].

Между тем есть все основания видеть в этом обряде отголоски древнейшего похоронного ритуала. С семиотической точки зрения такое предположение оправдано: брак являлся важнейшим переломным этапом в жизни молодых людей — менялся их статус в обществе, начиналась новая жизнь. И если взросление юноши предполагало прохождение через обряд инициации (где также происходила ритуальная смерть участников обряда и возрождение их уже в новом качестве: воинов, взрослых мужчин, полноправных членов племени), то логично предположить ритуальные похороны девушки-невесты на пороге вступления ее в новую жизнь, включенные в свадебный обряд. Покрытие невесты платком, таким образом, означает имитацию ее похорон. Важно, что происходит оно в момент, когда жених собирается выводить невесту из родительского дома (т.е. кончается ее прошлая жизнь) и снимается платок в доме жениха, где невеста является уже в новом качестве — жены, женщины. При этом снятие покрывала производится, как правило, кем-то со стороны жениха: им самим, свекровью или кем-то третьим (ясно, что венчание в церкви и промежуточное раскрытие невесты — явления поздние, внесенные в свадебный обряд под влиянием христианства).

Плач невесты из приведенного отрывка почти дословно воспроизводит фрагмент из ритуального оплакивания покойника, ср.:

Уж и расколись-ко ты, мать сыра земля,
Уж откройся, да гробова доска...
Уж разбудись-ко, да родна матенка,
Уж ты наложь на нас да благословленьицо.
Уж чтобы ветром да не сдувало,
Частым дождиком да не секало,
Уж красным солнышком да не спекало,
Уж чтобы век оно существовало...

(*Из надгробного плача детей по матери*)[7].

Прощание с невестой, оплакивание ее близкими — продолжение того же погребального эпизода свадебной церемонии. Еще более тесно проявляется связь между погребальным и свадебным ритуалом в тех областях, где было принято обряжать невесту в момент вывода ее к жениху в *куколь* — специальную одежду, сшитую из белого холста в виде мешка с отверстием для лица[8] — в куколь обряжали покойника. Видимо, не случайно свадебное платье для невесты и саван до сих пор одинаково шьются из белых тканей. Во многих областях России сохранился обычай беречь свадебную одежду "на смертный день" ("в чем женился, в том и в гроб ложился"), и дело не только в том, что крестьянам было не по средствам за всю их жизнь справить еще раз праздничную одежду, но, видимо, и в более глубокой связи, существовавшей между свадебным и погребальным обрядами: ведь и смерть осознавалась не как окончательное исчезновение, а как переход в новый мир, иную жизнь[9].

Раскрытие невесты, снятие покрывала (в качестве которого использовали шали, скатерти и даже одеяла) в доме жениха должно

было означать освобождение невесты, "выход" ее из "могилы". Интересно, что снятие покрывала призводилось не руками, а каким-то предметом (имитирующим заступ?): "дружко снимал покров кнутовищем плети", "свекровь подходила к невесте со сковородником (рогачем), приподнимала им шаль..." (снятое покрывало бросалось на печь, что, видимо, тоже не случайно)[10].

В том виде, в каком описывает обряд А. Подвысоцкий, он практически не сохранился — отдельные элементы этого ритуала встречаются в различных описаниях русской (и шире — славянской) свадьбы[11]. Однако в некоторых случаях удается проследить смещение действий, первоначально направленных в адрес невесты, перенесение их на какой-то предмет[12]. Таким заместительным предметом, взявшим на себя функциональную нагрузку ритуальных похорон невесты, стал специальный свадебный хлеб, пирог, который пекся накануне свадьбы в доме невесты, участвовал в центральных эпизодах свадебного ритуала (причитание над ним невесты и ее родни, благословение молодых, выкуп этого хлеба женихом или дружкой) и затем торжественно перевозился в дом жениха. Важно, что по форме этот хлеб (пирог) должен был быть обязательно округлым, выпуклым, довольно большим (нередко размеры его были столь велики, что приходилось разбирать переднюю стенку печи, чтобы вынуть пирог[13], — т.е. практически повторял форму холма, насыпи, могилы. Назывался этот пирог по-разному. Наиболее важным для нас оказывается свидетельство чешского языка, сохранившего в качестве наименования свадебного хлеба слово *homola*— из праслав. **gomola*. В русском языке, кроме традиционного *каравая* (о его этимологии см.: ЭССЯ 11, 112-116: **korvajь*), известны следующие названия свадебных пирогов: *шишýля* 'круглый пирог, подается на другой день свадьбы' (Даль[2] IV, 637) — от *шиш, шишка,* т.е. в основе значения — 'нечто вздутое, выпуклое' и *бáнник* (Даль[2] I, 45), *бáйник* (*бáенник, бáянник*). Этимология последнего наиболее интересна, поскольку кажущаяся очевидной связь со словом *бáня, бáйна* (ср. *бáенник, бáеник, бáйник* 'свадебный пирог, приносившийся после мытья молодых в бане' — Арханг. словарь 1, 89), вероятно, должна быть признана вторичной.

В ряде славянских языков сохраняются в качестве наименования различных печеных изделий (главным образом, слоеных) производные формы от глагола **gъbati* 'гнуть, сгибать', возводимые к праслав. **gъbanica, *gybanica*: болг. *бáница, гибáница* 'слоеный пирог', макед. *баница, гъбáјнца* 'слоеный пирог с мясом, брынзой...', словен. диал. *bgánca* (с метатезой) 'печеное изделие из теста' и некоторые другие (см.: ЭССЯ 7, 187; 216). Очевидно, в эту же группу может быть включено и название свадебного пирога *бáнник, бáйник,* первоначально отпричастного образования от глагола **gъbati — *gъban-(ьn)ikъ*, подвергшегося вторичному сближению со словом *бáня, бáйна.* Основой этого сближения (а, возможно, и наделение особым символическим смыслом эпизода мытья невесты в бане перед венцом[14]) явилось формальное отождествление двух слов после упрощения группы согласных **gb-*, связанного с падением редуцированных.

Отвлечение в сторону возможного происхождения слова *банник* (*байник*) потребовалось для объяснения более глубокой, на наш взгляд, связи, существующей между названиями свадебных пирогов (*шишу́ля, ба́нник,* чеш. *homola* — общее значение: 'ритуальный хлеб выпуклой, закругленной формы, в виде холмика'), платка, которым покрывают невесту (*гомы́лька*) и названием погребального холма, могилы.

Множество совпадений ритуального характера можно увидеть между описанным выше эпизодом покрывания невесты и так называемым "баенным циклом" русской свадьбы, имевшим место еще в первой четверти XX в. среди поморов (кстати сказать, на той же территории, что и описываемый А. Подвысоцким эпизод с *гомылькой*).

"Баенные обряды" входили в довенчальный цикл и включали в себя ритуальное посещение бани невестой (что сопровождалось причитанием и плачем самой невесты, ее подруг и близкой родни) и собирание *байника.* Причем, байник собирался даже в тех случаях, когда не принято было невесте перед свадьбой посещать баню.

Вот как описывается этот обряд в книге Т.А. Бернштам "Русская народная культура Поморья в XIX — начале XX в.": "Собирание байника было очень ответственным делом, в нем принимали участие божатка (крестная мать) и невеста. Основу байника составлял хлеб с зернами жита (вар.: соль, луковица, деньги), положенными в вырезанное вверху углубление в хлебе. В ряде мест к хлебу добавляли чашку, стакан, миску, ложки... Зашивался он особым образом в кусок белой... материи так, чтобы была видна форма хлеба — круглого или в виде усеченного конуса..."[15]. В Приморском районе Архангельской области в байник, кроме всего прочего, зашивалась прядь волос невесты ("*Ба́йник* — волосы зашивали" — Арханг. словарь 1, 96). Перечисленные выше предметы (хлеб, деньги, посуда) и, в особенности, волосы составляли необходимый инвентарь, сопровождавший умершего.

Зашивание байника требовало определенного мастерства: концы материи и нитки должны быть искусно запрятаны. Завязывание полотна крест-на-крест, как отмечает Т.А. Бернштам, стало возможно, по признанию самих жителей, в последнее время, когда разучились "шить байник". Иногда байник зашивался в ту же скатерть, которой была покрыта невеста после бани. Любопытно, что в Пинежских и Приморских говорах Архангельской области у слова *ба́еник* (*ба́йник, ба́нник*), кроме значения 'свадебный пирог' отмечается еще и следующее: 'скатерть, платок, в которые зашивались (закалывались) подарки и угощение невесте и гостям на свадьбе. В баенник невеста перед свадьбой зашивает хлеб, соль, ложку, прядь волос. Во время свадьбы баенник распарывается, невеста одаривает гостей, а гости кладут на него подарки молодоженам' — Арханг. словарь 1, 89. [Ср. аналогичное совмещение значений 'свадебный пирог' (чеш. *homola*) и 'платок (невесты)' (рус. диал. *гомы́лька*), что едва ли является случайным.]

При собирании байника невеста причитала: "Не зашивай, крест-

ная, восприемная матушка, ты мою волюшку-приволю великую". По приезде жениха в дом невесты дружка „выкупал байник" у матери невесты, которая, обнимая байник, плакала и причитала над ним[16]. Препровождался байник в дом жениха с особой торжественностью: его вёз (или нёс) впереди всего свадебного поезда подросток, который тоже назывался *ба́йником* (*ба́енником*).

Завершался "баенный цикл" обрядов в доме жениха, и его распарывание считалось концом свадьбы. Байник обычно распарывала свекровь, иногда сваты. К сожалению, описание послевенчального баенного ритуала сохранилось хуже, чем довенчального: в отдельных областях разрезанный хлеб съедали гости, либо его отдавали на корм скоту (ср.: покрывало, снятое с невесты, забрасывалось на печь, а не складывалось вместе с прочими подарками — т.е. ни покрывало, ни пирог, несмотря на тщательность его приготовления, не предназначались непосредственным участникам свадебного обряда).

На Зимнем берегу распарывание байника проводилось после первой брачной ночи и явно влилось в ряд "шутейных" мероприятий, связанных с испытанием невинности невесты. В большинстве же описаний свадьбы момент распарывания байника лишь констатируется, судьба его после венца предстает довольно неопределенно, что дало основание Т.А. Бернштам сделать вывод о том, что "уже к началу XX в. смысл и значение байника были по существу забыты поморским населением"[17].

Полагаю, приведенный выше материал может свидетельствовать об исконной связи — с одной стороны, между обрядом покрывания невесты и действиями вокруг свадебного пирога и, с другой стороны, о связи этих обрядов с похоронным ритуалом. Связь эта прослеживается на с е м и о т и ч е с к о м (совпадение действий) и на л и н г в и с т и ч е с к о м уровнях (*лексические* совпадения: *homola* 'пирог', *гомы́лька* 'платок, покрывало', *gomyla/mogyla* 'могила' и *семантическое* совпадение: исходным для всех этих образований является значение 'холм, бугор, возвышение').

Таким образом, для рус. диал. *гомы́лька* 'платок...' можно допустить первичное значение 'могила, могильный холм', и в таком случае, это слово подтверждает предполагаемую этимологией В.Э. Орла генетическую связь **gomyla* → **mogyla*.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *Лаучюте Ю.* Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982. Слово *гомола* помещено в разделе: "Слова, происхождение которых недостаточно аргументировано" (140).

[2] *Орел В.Э.* Слав. **mogyla* // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1981. М., 1984, 301—306. По мнению В.Э. Орла, центром иррадиации данного слова на европейской территории был балканский лингвистический ареал, а в качестве языка-источника указывается иллирийский, как язык, одновременно удовлетворяющий необходимым фонетическим требованиям, т.е. язык, "в котором и.-е. **o* отразилось, как *o* или *a*, mediae aspiratae перешли в mediae, а палатальные гуттуральные развились по кентумной норме" (305).

[3] Там же, 304.

[4] Иная точка зрения выражена в Этимологическом словаре славянских языков: признавая очевидность близости **mogyla/*gomyla* к **gomola/*gomula*, автор статьи

Ж.Ж. Варбот отмечает вероятность не исконной, генетической связи между ними, а вторичного сближения **gomola/*gomula* 'ком, кусок' и **mogyla* 'холм' в области вторичных значений ('куча'), "что и имело своим результатом контаминированное (или метатезированное) **gomyla*" — см.: ЭССЯ 18.

[5] О нейтрализации значений в определенных контекстах и о роли выявления этих контекстов для решения вопросов об омонимах — см.: *Трубачев О.Н.* Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976, 147—180; *Аникин А.Е.* Опыт семантического анализа праславянской омонимии на индоевропейском фоне. Новосибирск, 1988, 17.

[6] *Маслова Г.С.* Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX — начала XX в. М., 1984.

[7] Русские народные песни / Сост. *В.В. Варганова.* М., 1988, 370.

[8] *Маслова Г.С.* Указ. соч. 55, 90.

[9] Ср.: "Женщин и девушек хоронили в подвенечном уборе; старух "опрятывали" более скромно." — *Рыбаков Б.А.* Язычество древней Руси. М., 1987, 111.

[10] *Маслова Г.С.* Указ. соч. 55.

[11] См., например: Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. М., 1987; Брак у народов Центральной и Юго-восточной Европы. М., 1988 (описание свадебного обряда у южных и западных славян).

[12] Приемы так называемой "заместительной магии", когда непосредственному воздействию подвергается не сам объект, а его предметный "заместитель", широко известны и описаны в научной литературе — см., например: *Э. Тейлор.* Первобытная культура. М., 1939; *Дж. Фрэзер.* Золотая ветвь. М., 1986.

[13] Брак у народов... 44.

[14] Широко известен обычай прятать (хоронить) невесту во время свадьбы, ср. одно из значений слова *байна* 'часть свадебного обряда': "После *байны* молодку-то прятали" — Арханг. словарь 1, 95. Ср. также популярный сказочный мотив похищения невесты во время свадьбы и поисков ее героем в тридевятом царстве (которое, как известно, воплощает идею загробного мира).

[15] *Бернштам Т.А.* Русская народная культура Поморья в XIX — начале XX вв. Этнографические очерки. Л., 1983, 126.

[16] Там же, 127.

[17] Там же, 131.

А.А. Калашников

К ЭТИМОЛОГИИ ДР.-РУС. *ВЯЖА*

Слово *вяжа* приводится в "Словаре русского языка XI—XVII вв." в значении 'место обитания бобров, бобровая хатка' (СлРЯ XI—XVII вв., 3, 282). Там же (3, 282) упоминается и слово *вяжище*, того же значения. Бобровая хатка представляет собой сооружение из сучьев, стеблей тростника, осоки и т.п., скрепленных илом (СРЛЯ, 17, 55) или грязью. Для этих слов, кажется, еще не привлекавших к себе внимания этимологов, вероятна принадлежность к гнезду глаголов **vęzati, *vęžǫ*. С точки зрения семантики ср. чеш. *vázati trámy, cihly* 'вязать (скреплять) балки, кирпичи' (Kott IV, 563), в.-луж. *wjazać třěchu* 'вязать крышу (стропила)' (Трофимович, 346), особенно польск. диал. *wiązarek* 'способ постройки изб, состоящий в сооружении конструкции из балок, скрепляемых тростником и глиной'[1], кашуб.-словин. *vǫzarka* 'стоечная конструкция стен, при которой пространство между стойками заполняется глиной и кирпичом или обтягивается

досками' (Sychta VI, 126). Важность скрепления илом/грязью для мотивации имени *вяжа* становится очевидной при учете замечания Л.В. Куркиной о том, что основа **vǫz-/*vęz-* функционирует при обозначении "не просто связи, соединения, а связующего состава, связующего основания"[2] и приводимых ею польск. *wiąz, wąz, wąza* 'первая постройка сотов в улье; сухие соты без меда', к которым следует прибавить еще и рус. *узá* 'пчелиная смола, масса, которой пчелы защищают внутренность улья от света и воздуха' (Фасмер, IV, 152). Для др.-рус. *вяжа* можно было бы реконструировать **vęža* < **vęzja*, производное от **vęzati, *vęžǫ* или даже **vęzti, *vęzǫ*, ср. такие свидетельства архаического корневого инфинитива, как польск. диал. *wiąźć* 'вязать на спицах'[3], кашуб.-словин. *vjĭsc* 'вязать' (Lorentz Sl. Wb., II, 1312), рус. диал. *вязтú, везтú* то же (Филин 6, 76 и 4, 97).

Значение цепкости, липкости, присущее словам, восходящим к основе **vǫz-/*vęz-*, удачно иллюстрируют названия разных видов подмаренника (Galium, сем. мареновых): чеш. *svízel, lepenice, lepavica*, рус. диал. *вязель трава* 'подмаренник мягкий, Galium mollugo'[4], *лепчица* 'подмаренник цепкий, Galium aparine'[5]. В связи с предыдущим следует, кажется, рассматривать и рус. диал. *вяжá* 'растение (мышиный горошек?)' (Псков. словарь 6, 111). Если речь идет действительно о мышином горошке (Vicia cracca L., сем. мотыльковых), то необходимо учитывать и такие его названия, как *вязиль* (Филин 6, 74) и *вика* (строго говоря, — это родовое название). *Вика* заимствовано в рус. из лат. *vicia* при посредстве др.-в.-нем. *wiccha* и далее польск. *wyka* (Фасмер I, 313), лат. же слово предполагает и.-е. **u̯ei-k-* 'вить' (Преображенский I, 83). Последнее обстоятельство (номинация растения именно как лианы, вьющегося, оплетающего что-л.) позволяет считать и рус. диал. *вяжá* 'растение (мышиный горошек?)' членом гнезда, основанного на праслав. **vęzti, *vęzǫ*, а точнее — продолжением **vęzja*.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Górnowicz H.* Dialekt malborski. II, 2, Gdańsk, 1974. 245.

[2] *Куркина Л.В.* Лексические архаизмы родопского диалекта // Этимология. 1980. М., 1982. 20.

[3] *Górnowicz H.* Op. cit. 245.

[4] *Machek V.* Česká a slovenská jména rostlin. Pr, 1954. 219.

[5] Большая Советская Энциклопедия, 2 изд., 33. 417.

В.Н. Топоров

ИЗ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ЭТИМОЛОГИИ IV (1)

1. И.-е. **eg'h-om (*He-g'h-om) : *men-.* 1 Sg. Pron. pers.

Попытаться ответить на вопрос об этимологии таких "первообразных" элементов словаря, как названный в заглавии, можно было в романтическую эпоху языкознания, во времена Гумбольдта и Гримма. Интерес к той древности, в горниле которой "выковывались" праязыковые формы, был велик. Он стимулировался идеей историзма, одушевлявшей как языкознание в его наиболее передовых устремлениях, так и естественные науки, и подчинившей себе две другие идеи, оказавшиеся для историзма неисчерпаемым кладезем, — сравнения и морфологизма. Но языковых фактов было накоплено еще мало, метод только складывался, исследовательская изобретательность, как и критическая верификация предлагаемых конструкций, только еще набирали силу, и поэтому особого спроса с выдвигаемых гипотез не было. Все было интересным и манящим , все внушало оптимизм. Очень многое из конкретных предложений оказалось неверным или недоказуемым и в ходе дальнейшего развития языкознания было отвергнуто. Но осталось самое ценное — тот творческий дух, который проявил себя и в постановке задач, отсылающих к "креативной" эпохе языка и языковой "органике", и в ориентации на взаимооплодотворяющую связь языка и мышления, в частности, на естественную образность языка, когда и сам язык представлялся образом неких более общих и фундаментальных сущностей и сил.

В позитивистскую эпоху младограматизма постановка вопроса об этимологии "первообразных" элементов языка могла показаться самоубийственной, и даже диссиденты младограмматизма и наиболее решительные оппоненты сравнительно-исторического языкознания в том виде, как оно сложилось к концу XIX—началу XX в., не решались ни ставить подобные вопросы, ни тем более отвечать на них. Более того, немало ценных или, по меньшей мере, кажущихся перспективными наблюдений было предано забвению. Но оказалось, спустя почти столетие, что и в наше время те же самые (и многие другие) вопросы остаются столь же (и даже еще более) существенными, а потребность в ответах на них, бесспорно, стала более настоятельной. И надежда на эти ответы и на то, что они будут достаточно доказательны или хотя бы существенно перспективны, сейчас кажется более обоснованной, чем когда-либо раньше.

Основания для надежды разнообразны, и, говоря вкратце, их следует видеть в многократно увеличившемся количестве фактов и попыток их интерпретации; в прогрессе типологических исследований, приведшем к установлению (хотя бы относительному) типов определенных языковых явлений и к выводу о существенной ограниченности разнообразия типов тех явлений языка, которые можно назвать "первообразными" и/или ключевыми; в кардинальном расширении и углублении временнóй (впрочем, и пространственной) перспек-

тивы языкового сравнения в тех исследованиях, которые исходят из реконструкции "макросемей", подобных ностратической и ряду иных; во все более специализирующейся осведомленности о связи языка и отдельных его элементов как с "подъязыковой" (мир вещей, денотатов) сферой, так и с областью человеческого сознания; наконец, в первых результатах и идеях на наших глазах складывающейся новой науки — "глоссогенетики", опирающейся на данные широкого круга наук о человеке — как естественно-природных, так и гуманитарно-культурных.

Наконец, можно назвать основные категории элементов языка (слов и формантов), которые, хотя бы условно, можно отнести к числу "первообразных" и уж, несомненно, к ключевым. Такова их роль в самом языке, которому они задают некую систему отношений общего характера, и в тех реальных условиях, в которых язык функционирует. Эти элементы (и в этом их преимущественное назначение) всегда отсылают и за пределы языка и потому дают основание для суждений и о внеязыковых мотивировках языковых фактов. Среди подобных элементов наиболее очевидным и простым образом выделяются пространственные индексы, каковыми являются предлоги, превербы, послелоги, адвербы, в очень значительной степени сохраняющие связь с соответствующими частями (или даже "сторонами") тела — перед, грудь, лицо, лоб; зад, спина; верх, голова; низ, ступни; бок; центр, середина, нутро и т.п. Часть этих пространственных индексов позже была приспособлена и для выражения временных отношений. В целом же вся эта категория в основном служебных слов может рассматриваться как проекция тела, целостного состава его частей в сферу языка. Образ тела послужил как бы источником и моделью для формирования соответствующей системы пространственно-относительных указателей в самом языке. В пределах тела естественным образом "разыгрывались" такие отношения, как внешний — внутренний, активный — пассивный, неотчуждаемый — отчуждаемый и т.п., т.е. те бинарные противопоставления, которые стали основанием для формирования соответствующих языковых категорий. И мифопоэтические конструкции и реализующие их тексты (как, например, сюжет о первочеловеке-первотеле Пуруше, из членов которого возникли все части мира), и раннеграмматическая терминология (род, лицо, "тело" /ср. др.-инд. *puruṣa-* или *śárīra-* как грамматический термин/, одушевленность, притяжательность и т.п.) явно или неявно подтверждают эту моделирующую роль тела и в отношении формируемого сознанием образа мира и в отношении категориального каркаса языка.

К кругу ключевых языковых элементов в том смысле, какой им придан выше, относятся также числительные, состав которых (а иногда и обозначения) определяется возможностями р у к и ("малой", "большой", в удвоенном варианте и т.п.) как своего рода "счетной (пальцевой) машины" тела (человека)[1]; местоимения — личные и указательные прежде всего; разные деиктические элементы, так или иначе с ними связанные; глагол бытия[2]; ряд грамматических показателей — морфологических и синтаксических (прежде всего таких, у которых собственно языковая обусловленность не затушевы-

вает полностью следов внеязыкового, число "ситуативного" субстрата[3]), и даже некоторые звенья паралигмы, граммемы и категории, реализующие какую-либо ситуацию, имеющую не только языковое выражение (ср. связь генетива с выражением языковой притяжательности, которая в свою очередь так или иначе соотнесена с "владельчески-принадлежностной" структурой мира, или связь эргатива с выражением активности в языке и вне его и т.п.).

Личные местоимения, несомненно, относятся к этому же кругу явлений, и в нем они образуют некое существеннейшее ядро, без формирования которого, строго говоря, невозможны ни сама речь (и, следовательно, язык, реализуемый этой речью), ни та стержневая ситуация, которую речь призвана решить, — обмен словами, сообщениями, языковыми знаками, в диалоге возникающий и диалог формирующий. Сколь бы ни были монологичны части такого диалога, их монологизм в принципе снимается уже тем признанием равенства сторон в диалоге (независимо от того, происходит ли в нем равный, эквивалентный обмен "ценностями"), которое проявляется в том, что *Я* и *Ты* получают статус относительных, переменных величин: *Я* всегда принадлежность того, кто говорит здесь и сейчас, партнер же его по диалогу в этих условиях всегда *Ты*, но ситуация меняется на противоположную, когда речевая партия переходит "второму" голосу в диалоге. Ясно, что эта "относительность" принципиально иной природы, нежели относительность в других сферах языка, и что она уходит своими корнями в ту языковую протоситуацию, которая должна быть основным предметом глоссогенетических исследований. Поэтому понять принцип семантической (или семантико-ситуативной) мотивировки личных местоимений 1 и 2 л. означало бы важный шаг в исследовании и самой этой протоситуации и ее участников. Но сделать этот шаг, как было сказано четверть века назад, не сможет тот, "кто боится глубокой воды".

Естественно, однако, что любое заключение в этой области по степени ответственности и тем более по своей доказательности никак не может быть даже приблизительно приравнено по этим же критериям к заключениям, относящимся к этимологии слов "обычного" типа, не предполагающей особой "глоссогенетической" доминанты. Это явления совсем разных категорий, и цель "глоссогенетических" разысканий, которым в других случаях и на ином материале могла бы соответствовать "этимология", состоит, пожалуй, в том, чтобы найти для каждой из деталей ее типологическую "нишу" (во-первых), попытаться прокомментировать реальный языковой элемент каждой из этих "ниш" в сравнительно-историческом плане (во-вторых) и выстроить некий целостный контекст, который мог бы пониматься как один из возможных локусов формирования данного явления (в-третьих). Ни на что большее претендовать, видимо, пока нельзя, хотя нельзя и исключать возможностей случайных находок.

Форма **eg'hom* (Nom. Sg. 1 Pron. pers.), конечно, представляет собой лишь приблизительный образ реальности[4], с которым, однако, приходится работать исследователю из-за неизвестности подлинной реальности (или, скорее, ряда реальностей). В этом смысле **eg'hom* не

более, чем некий обобщенный символ, удобный в одних (преимущественно "грубоструктурных") ситуациях и существенно "ограниченно-удобный" или вовсе малоудобный в других.

Прежде чем непосредственно обратиться к этой форме (*eg'hom), нужно сделать несколько предварительных замечаний. При том, что это слово применительно к определенным ситуациям кажется вполне самодовлеющим, оно все-таки не является изолированным и входит в ряд контекстов, в том числе настолько институализированных, которые (по крайней мере для относительно позднего времени, хотя и безусловно индоевропейского и даже, условно говоря, ностратического) могут пониматься как подлинные грамматические парадигмы. Из этих парадигм три заслуживают преимущественного внимания: 1) парадигма склонения *я* в единственном числе (супплетивизм *я* — *меня* ... и т.п.)[5]; 2) парадигма склонения *я* в единственном и "псевдо-множественном" числах (супплетивизм *я* — *мы, меня* — *нас* и т.п.); 3) парадигма "лица" (супплетивизм *я* — *ты*)[6]. Все три парадигмы, названные здесь, объединяются не только супплетивностью, но и особой выделенностью *я*, делающей его не просто отмеченным элементом, но своего рода уникумом. В первой парадигме одно *я* противостоит всем другим падежным формам на *мен-/мн-* (или кратким формам на *м-*). Во второй парадигме *я*, если брать индоевропейские языки, за редчайшими исключениями не подкреплено другими членами парадигмы единственного числа[7], в отличие от *мы*, которое чаще поддерживается со стороны других членов парадигмы множественного числа[8]. В третьей парадигме *ты*, в отличие от *я* в индоевропейских языках, в той или иной степени обычно поддержано формами косвенных падежей[9].

Из сказанного выше и из анализа конкретных форм индоевропейских личных местоимений следует, что формы 1 л. ед. ч. максимально н е з а в и с и м ы и несравненно реже, почти всегда лишь в порядке исключения, становятся объектом индукции со стороны других форм (во всяком случае в этом отношении они резко отличаются как от форм мн. ч. личного местоимения 1 л., так и особенно от форм местоимений 2 л.). Другая важная особенность и.-е. *eg'hom состоит в том, что, в отличие от и.-е. *tŭ, 2. Sg. Pron. pers., которое одноэлементно, монолитно и, следовательно, как бы равно самому себе (во всяком случае для определенной эпохи развития языка), и.-е. *eg'hom, как бы его ни членить (*/H/e-g'h-om или */H/eg'h-om), состоит б о л е е чем из одного элемента, из двух по меньшей мере. Обычно в первом элемента (*e-, *H'e-, *H'ei-, *H'i- и т.п.) видят деиктический элемент, совпадающий с указательным элементом; во втором (*-g'h-, *-gh-) — частицу[10], вносящую в общее значение слова элемент усилительности, подчеркнутости, эмфатичности; что касается *-om*, то в нем также обычно видят частицу, смысл которой рано был утрачен, а функция, вероятно, состояла, говоря в общем, в придании слову некоей завершенности, полновесности ("двуслоговость", отличающая эту форму от форм 2 и 3 л.). В качестве такой "пустой" частицы она могла переходить и на личное местоимение 2 л. (ср. вед. *tuvam, tvam* и т.п.). Вместе с тем обращают на себя внимание, по крайней

мере, два круга фактов: первый — известная координированность между "ауслаутом" формы 1. Sg. Pron. pers. и флексией 1. Sg. Praes. (ср. др.-греч. ἐγώ — λέγω, лат. *ego* — *lego*), которая дает некоторое основание для соотнесения *-m-* в элементе *-om-* (**eg'h-om*) с *-m-* флексии на *-mi* в 1. Sg. Praes. (ср. др.-инд. *ahám* — *bhárāmi* и т.п.[11]), и второй — допущение "сквозного" *m* во всей парадигме личного местоимения первого лица — **eg'h-om* : **men-*, **mei/*moi*, **med* и т.п.[12]. Ни то, ни другое, ни третье (введение показателей первого лица (и не только первого) еще и в склонение "посессивного" типа, как в ряде языков, например, в кетском) не противоречит типологическим данным и, более того, для многих ареалов относится к числу "фреквенталий". Поэтому все эти возможности приходится иметь в виду и в связи с проблемой и.-е. **eg'h-om*. При этом следует, однако, отметить весьма существенные различия между характером и положением этого *-m* в **eg'h-om* и в формах косвенных падежей, как правило, с этого *m-* начинающихся.

Если же обратиться к анализу всех других (кроме номинатива) форм. 1. Sg. Pron. pers., то бросается в глаза резкая выделенность среди них формы, которая на основании многих засвидетельствованных индоевропейских языков восстанавливается как **mene* и определяется как генитив. Среди всех косвенных падежей и вообще во всем склонении 1. Sg. Pron. pers. эта форма уникальна, на что, кажется, незаслуженно не обращали внимания. Она засвидетельствована (или надежно реконструируема) для ряда индоевропейских языков, ср. слав. **mene* (ст.-слав. мєнє и др.), лит. *manę̃s* (: *màno*), лтш. *manis* (: *mans*), авест. *mana*, др.-инд. *mama* (< **mana*), валлийск. (кимр.) *fy*[n] и др. Среди этих других примеров есть и такие, которые с очень большой вероятностью позволяют реконструировать **men(e)* (ср. готск. *meina*, обычно объясняемое как скрещение **mene* и **mei*)[13], но есть и иные, для которых такую реконструкцию признать трудно (ср. попытку объяснения хетт. *ammēl* из диссимиляции **amene*, ср., впрочем, энклитическое *-man*, *-min*). Самая характерная черта этого и.-е. **mene* при несомненной его "генитивности" в исторически засвидетельствованных языках состоит в том, что, строго говоря, эта форма настолько изолирована от всех известных показателей генитива, что только реальные употребления этой формы и ее продолжений оказываются аргументом в пользу "генитивности". Лишь существенно позже и притом очень изредка обнаруживаются (иногда явно окказиональные по характеру) попытки "генитивизировать" эту форму с помощью показателя родительного падежа, перенесенного из более "прозрачных" парадигм. Эта ситуация находится в разительном контексте с другими формами косвенных падежей, которые несравненно теснее связаны с соответствующими именными формами[14]. Вместе с тем нельзя упускать из вида случаи, когда элемент, так или иначе связанный с тем **men-*, которое характеризует генитив в указанных выше языках, оказывается сквозным для всей парадигмы, как, например, в литовском или латышском[15]; отчасти такая картина восстанавливается и для славянского с той разницей, что речь идет о консонантическом каркасе *m-n-*[16]. Реконструкции индоевропей-

ской парадигмы склонения 1. Sg. Pron. pers., к сожалению, обычно мало учитывают балтийскую (особенно восточнобалтийскую) или даже балто-славянскую схему, определяемую в идеализированном варианте противопоставлением продолжателей и.-е. *eg'h-om* (Nom.) и *men-* (*mon*) (косвенные падежи), при том, что, судя по целому ряду фактов, это *men-/*mon-* имело свой исходный локус в генитиве, откуда распространилось и на другие члены парадигмы склонения, модифицируясь с помощью разных флективных элементов. Во всяком случае стержень указанного противопоставления определяется полюсами Nom.-Gen., соответственно *eg'h-om — *men-/*mon-*, что типологически напоминает сходное ядро в кетском склонении (Nom. — Gen. → косвенные падежи), а отчасти, с учетом ряда дополнительных фактов и результатов правдоподобных реконструкций, и структуру склонения в обоих тохарских языках.

Эта выделенность Nom. и Gen. в 1. Sg. Pron. pers., объединяющая эти два падежа в индоевропейском, как и их наиболее контрастная противопоставленность, образуют чрезвычайно показательную черту, отсылающую к той эпохе, когда парадигматического склонения еще не существовало, а основы "пред-склонения" формировались именно в местоименной сфере и прежде всего, видимо, в кругу личных местоимений, еще конкретнее и у́же — применительно к 1. Sg. в первую очередь. Эта наиболее нерегулярная и наиболее "исключительная" часть склонения ("пред-склонения") резко отличается не только от других классов местоимений (особенно указательных), но и от существительных, которые развили гораздо более упорядоченные, регулярные, легче предсказуемые парадигмы склонения. Но отдаленным источником таких парадигм скорее всего должны были быть те "пред-парадигмы", где будущие или только начинавшие складываться грамматические отношения моделировались лексическими элементами, одновременно и разными в одном отношении и одинаковыми (или "подобными") в другом, что, собственно говоря, прямо и отсылает к идее супплетивизма, как в *eg'h-om : *men-/*mon-*, пережившем тысячелетия и отчетливо распознаваемом в большинстве современных индоевропейских языков.

На этом этапе рассуждений возникает вопрос об источнике этого супплетивизма, о том локусе (понимаемом в самом широком смысле слова), где самого этого явления еще не было, но уже сложились условия для его формирования на следующем шаге развития. Есть основания предполагать, что в данном случае супплетивизм объясняется не попыткой восполнения дефектной парадигмы (для достаточно раннего периода само предположение парадигмы выглядело бы, пожалуй, анахронизмом), но соположением двух элементов, имеющих отношение к обозначению первого лица, *Я*, т.е. того, кому принадлежит речь, голос этого места и этого времени, вовлеченных через *Я* в акт коммуникации. Иначе говоря, речь шла бы в этом случае скорее всего об элементарной двучленной синтагме[17] типа *eg'hom & *men-*, причем отношение сополагающихся членов могло бы пониматься различно — как чистая синонимия, при которой один член определяет говорящего "деиктически", а другой

"эго-центрически"; как сведение воедино этих двух определений (т.е. установление их тождества через единство денотата); как аппозитивный способ выражения синтаксических отношений (например, *эго*, которое связано (принадлежит, происходит, зависит и т.п.) с "здесь—теперь" и т.п.). В таком случае **eg'hom* и **men-*, первоначально бывшие членами синтагматического ряда, лишь вторично были оформлены как члены формирующейся парадигмы. Для более поздней эпохи **eg'hom* и **men-*, собственно, их диахронические продолжения, вполне законно трактуется соответственно как Nom. и Gen. (или — шире — Obl., т.е. некий "косвенный" пра-падеж), но для более ранней поры они едины, тождественны друг другу в рамках общей синтагмы. Эта ситуация отчасти напоминает то исходное единство форм Nom. и Gen., о котором когда-то весьма убедительно писал Н. ван Вейк, имея в виду склонение имен с основой на *-o* в индоевропейском[18]: *-os* как флексия Nom. и *-os* (с позднейшими вариациями) как флексия Gen. Во всяком случае и др.-инд. *vṛkas* (Nom.) — *vṛkas-ya* (Gen.) и тем более прусск. *deiws* (из **deiwas*) (Nom.) — *deiwas* (Gen.) и др. еще достаточно надежно сохраняют следы былого единства. А предыстория элементарной "номинативно-генитивной" синтагмы (**deiu̯-os* & **u̯ĭr-os* букв. 'бог & муж' → 'бога муж','божий муж' и т.п.) свидетельствует как о единстве ее членов, так и об условиях, в которых начался процесс дифференциации, приведший к становлению двух разных падежей. В известном отношении эта вторичная "парадигматизация" членов первичного "синтагматического" ряда того же типа, что и формирование **eg'-hom* (Nom.) — **men-* (Gen.) на основе первичной синтагмы.

Первый и, видимо, самый серьезный вопрос, который встает при допущении этой схемы, касается возможности употребления **men-*, известного в индоевропейских языках т о л ь к о в генетиве (или косвенных падежах), в п р я м о м падеже, т.е. в номинативе. Предшествующие выкладки носили характер преимущественно теоретический и сугубо реконструктивный, хотя типологические аналогии известны в ряде языков — и как исходные (базовые) и как вторичные (иногда даже окказиональные) образования. Сейчас факт употребления **me(n)-* в прямом падеже (Nom.) может быть подтвержден, если обратиться к данным той макросемьи, в которую входил индоевропейский.

В словаре В.М. Иллича-Свитыча[19] в качестве общеностратической формы личного местоимения 1. Sg. реконструируется **mi* (косв. **mi-nʌ*): картв. **me/*mi* 'я' (основа косв. пад. **me-n)*; и.-е. **me-* 'я' (основа косв. пад.: Gen. **me-ne-*); урал. **mi* 'я' (основа косв. пад. **mi-*); алт. **bi* 'я' (основа косв. пад. **minʌ-*). При анализе данных конкретных групп этой языковой макросемьи оказывается, что и в прямом падеже (Nom.) нередко выступают формы с элементом *-n-*, ср. урал. **mi(nʌ)*: финск. *minä*, саамск. *mon*, мордов. *mon*, селькуп. *man*, камасин. *man* и т.п. или др.-тюрк. *bän/män* и т.п., хотя появление *-n-* в Nom. объясняется обычно аналогическим распространением этого форманта из косвенных падежей[20]. Оставляя в стороне вопрос о том, где еще в ностратических языках это *-n-* выступало как элемент парадигмы (при глаголе как показатель лица, при имени

для обозначения притяжательности и т.п.), и соглашаясь с общим предположением, что формы 1. Sg. Pron. pers. без *-n-* в косвенных падежах (ср. **mo-i*. Dat. и др.) — результат "своеобразного обновления древней структуры", сто́ит, пожалуй, подчеркнуть общую тенденцию к разрушению и, так сказать, к "вымыванию" продолжателей ностратического **mi-* : **mi-nʌ* во многих языках. В одних случаях, видимо, можно говорить об утрате этого элемента в 1. Sg. Pron. pers. (как в семито-хамитских и дравидских[21] языках), в других о решительном оттеснении на периферию, в третьих о "перестройке" более древней структуры. Последний случай особенно характерен именно для индоевропейских языков, которые практически вытеснили *m-(n-)* из номинатива[22], сильно потеснили этот же элемент в косвенных падежах и в генитиве, где он все-таки сохранился лучше, в большинстве индоевропейских языков, и, наконец, выработали еще более упрощенную систему энклитических форм личных местоимений 1 л., параллельную более полной системе, которая, однако, тоже выступает уже как результат упрощающих преобразований ностратической системы.

Это направление динамики развития **m-n-* дает основания для предположения о том, что на ранней стадии индоевропейский мог фиксировать более сохранный облик этого элемента, который для этой эпохи мог трактоваться не как местоименный показатель, а как элемент, обладающий более полновесным и самостоятельным значением и принадлежащий (в терминах, возможно, более позднего времени) к иному грамматическому классу слов, например, к имени с корнем **men-*. Учитывая же тот факт, что в отличие от других ностратических языков (если не говорить о явно периферийных фактах, скорее их следах) индоевропейский надежно свидетельствует форму **eg'h-om* в качестве Nom. Sg. личного местоимения первого лица и что в местоименной же парадигме отмечаются комбинации деиктического элемента *e-* (< **He-*/**H'e-*, т.е. того же, что и в **eg'h-om*) и "местоименного" (условно) **me(n)-* [ср. др.-греч. ἐμε- и под.], приходится допускать для формы номинатива 1. Sg. Pron. pers. сочетание **eg'h-om* (**He-g'h-om*) & **men-*. Возможность дальнейшего продвижения по этому пути открывается лишь при определении природы и смысла элемента **men-* в его, так сказать, "доместоименном" статусе[23], поскольку "местоименный" — при всей гадательности частностей — в целом все-таки описывался, видимо, в следующих пределах — "моя вот-здешнесть", "вот-здешнесть меня", "вот-здешнесть, со мной связанная, ко мне относящаяся" и т.п., причем все это были описания г о в о р я щ е г о, данные им самим, т.е. самохарактеристика автора речи в момент ее осуществления.

Почему нельзя ограничиться только этим "местоименным" толкованием синтагмы **eg'h-om* & **men-* и почему нужно за местоименным **men-* искать его "доместоименный" смысл? Говоря в общем, потому, что деиктическое **eg'h-om* указывает только на м е с т о, а местообразующая функция и для мифопоэтического сознания и для всей философской линии от Платона до Гейдеггера предполагает р е а л ь н о е заполнение места некиим телом, принадлежащим этому месту и в

свою очередь его, если не образующим, то реализующим, актуализирующим. Это исходное отношение места и тела, его заполняющего, стало локусом, в котором началось оформление категории притяжательности и сложение системы отношений, в которые может входить это тело ("пред-падежная" стадия). Без того и другого парадигма склонения личного местоимения первого лица возникнуть не могла. Онтологически *Я* предшествует притяжательному *мое*, как и *меня, мне, мною* и т.п., и поэтому понимание *Я* как своего рода обобщения-трансформации предыдущего "моя вот-здешнесть" представляется очень маловероятным или, по меньшей мере, требующим особого объяснения[24]. Но еще менее вероятным было бы считать *Я* как институализированное и "грамматикализованное" соответствие тому, что в философизирующих исследованиях языка называют "Ichgefühl" и "Ichbegriff"[25], чем-то первичным, первообразным, лишенным некоего более реального, "безотносительного" субстрата. Во всех тех случаях, когда этимология личного местоимения первого лица прозрачна (или просто может быть определена с достаточным вероятием) за относительным *Я* обнаруживается его безотносительный субстрат. Более того, в языках культур с высокой степенью "этикетности" возникают ситуации, когда кроме нейтрального *Я* возникают иные формы самообозначения автора речи, и эти формы, как правило, восстанавливают (разумеется, не без отличий и иногда особой изощренности и изысканности) исходный субстрат *Я*. Таким образом, дело может быть представлено так, что *Я* при его возникновении было чем-то вроде грамматикализованного способа выражения лексически полноценного элемента, а появление других форм выражения *Я* в высоко-"этикетных" культурах — возвратом, с усилением, в лоно лексики.

Каким же могло быть "субстратное", лексическое значение того понятия, грамматикализованной метафорической версией которого является *Я*?[26] Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно подчеркнуть как особенно важное то обстоятельство, что этимологически "прозрачные" формы обозначения *Я* — чаще всего достояние архаичных языков и соответствующих "примитивных" культур, хотя подобные явления спорадически возникают и в совсем иных условиях. И еще одно замечание. Семантическая мотивировка *Я*-обозначений не может быть оторвана от семантической мотивировки *ты*-обозначений. В обоих случаях такие, вскрываемые при научной реконструкции, мотивировки воспроизводятся эксплицитно в "риторических" формах выражения *Я* и *ты*. Целесообразно начать с указания на более привычные типы построения "внутренней" формы слов, обозначающих личное местоимение второго лица — *ты*. Прежде всего бросается в глаза, что "торжественные", "официальные", "этикетные" способы выражения *ты*, в частности, и обозначения этого *ты* со стороны говорящего, т.е. *Я*, ориентируются на идею с о ц и а л ь н о г о престижа, ср. эксплицитно *Ваше величество, высочество, превосходительство, степенство, благородие, знатность, достоинство, честь, милость* и т.п.[27], но и "свернуто" (в разной степени) лит. *Támsta* (*Tãmista*), в обращении *Я* к другому лицу, к *ты*, из *Tàvo*

Mÿlista, букв. — 'Твоя Милость', обычно сочетающееся с глаголом во 2 л. (ср. польск. *Waszmość Pan, Waćpan, Waspan, Wasan, Asan* и т.п., из *Wasza Miłość (Pan)*, см. Fraenkel 449), или исп. *Usted* из *Vuestro Merced* и т.п. Такая ориентация в обозначении партнера *Я* по диалогу, т.е. *ты*, со стороны этого *Я*, и такие "престижные" значения, реализуемые в разных типах обозначения *ты*, не противоречили бы наиболее правдоподобному варианту трактовки и.-е. **tŭ̄* 'ты', представленному в большинстве и.-е. языков[28], а также связанных с ним форм (ср. и.-е. **teu̯o, *teu̯e-, *tu̯o-, *tu̯e-* в парадигме склонения, и.-е. **teu̯o-* 'твой' и т.п., см. Pokorny I, 1097—1098).

Конечно, и.-е. **tŭ̄*, каким мы знаем его по его отражениям в разных языках, строго говоря, не имеет лексических значений и, казалось бы, полностью исчерпывается своими грамматическими функциями. Однако есть одна категория случаев, которая, с одной стороны, генетически связана с **tŭ̄*, 2. Sg. Pron. pers., хотя и принадлежит к иному классу слов с другими функциями, а с другой стороны, не может быть (в отличие от **tŭ̄*) признана лексически совершенно "пустой" или, если быть более точным, позволяет установить следы семантического "ореола" по синтаксической функции. Речь идет об индо-иранской частице **tŭ̄* (ср. вед. *tu, tū*, последняя форма считается метрически удлиненной, авест. *tū*). Она известна и в тексте "Авесты"[29], но особенно часта она в "Ригведе" (несколько менее полусотни употреблений), где у нее две функции — усилительно-побудительная и противительная. Пример п е р в о й — семикратно повторенный призыв *ā́ tū́ na indra śaṅsaya...* (RV I, 29, 1—7) 'Дай же нам, Индра, надежду.. !'; но существенно, что в подобной ситуации при императиве появляется и *tvā́m (tu-am)*, что дает некоторые основания для соотнесения *tŭ̄* 'же' и *tvā́m (tu-am)* 'ты' — тем более, что и частица *-am* могла бы в принципе толковаться как некое усиление, подчеркнутость. Пример в т о р о й функции — из гимна Индре (RV VI, 29, 5): *ná te ántaḥ śavaso dhāyy asyá ví tú bābadhe ródasī mahitvā́* 'Не положено предела твоей силе. Но он величием (своим) оттесняет в разные стороны обе половины вселенной'.

Единство этих двух типов **tŭ̄* очевидно: и усилительность—возрастание ('же', 'еще', как бы сразу, здесь и сейчас) и контрастность—противительность ('но', 'однако'), кстати, выступающая и в ситуации "смены" категории лица (*я* → *ты, ты* → *он*), отсылают к общему источнику, "обобщенная" семантка которого могла бы кое-что объяснить и в и.-е.**tŭ̄* 'ты', 2.Sg. Pron. pers. Речь шла бы в данном случае о возможности присутствия в этом слове идеи с и л ы, в о з р а с т а н и я ее или каких-то благ (видимо, вещественных, материальных) и некоего "контрастивного" следа, чему-то предшествующему; скорее всего это предшествующее нужно искать не в парадигме, но в синтагме типа "я..., но (ты)...", или "я..., (ты) же...", вполне естественно возникающей в диалоге, и именно в партии *Я*. В этом отношении, если сказанное имеет свой резон, первенствующая роль *Я*, определяемая его связью с ситуацией акта речи, на это *Я* ориентированного, переформирует в *ты*, находящемся в той же единице диалога, так сказать, "диалогеме", состоящей из вопроса (или — шире — некоей

информации) и ответа, некие "зависимые" смыслы. Это заключение, извлекаемое из самого *ты*, из "я — ты"-текстов и, наконец, из частицы *tŭ* (не говоря уж о типологии семантических мотивировок *ты*), могло бы получить поддержку и извне, т.е. из не "ты"-сферы. Эту поддержку представляет собой соответствие элементу **tŭ* 'ты', которое можно было бы назвать со всех точек зрения идеальным, кроме одной — полной неясности семантической связи сопоставляемых элементов (или хотя бы самой внеязыковой ситуации, мотивирующей эти языковые связи). Конечно, имеется в виду исключительная формальная близость и.-е. **tŭ* 'ты' и и.-е. **tŭ-*, **tēu-*, **təu-*, **tu̯ō-* и т.п. 'вспухать; возрастать; увеличиваться; усиливаться; умножаться: становиться плотным, большим, высоким, сильным' и т.п. (см. Pokorny I, 1080—1085: в частности, с многочисленными расширителями корня), удостоверяемых такими примерами, как слав. **tyti* (< **tū-tei*) 'тучнеть' (с.-хорв. *tôv* 'откормленность'), лат. *tōtus* (< *tou̯etos*), **toveō*, реконструируемое на основании *tōmentum* (< **tou̯ementom*), др.-инд. *tu-/tav-* 'иметь силу; процветать' и т.п. (: *tavás-*, *tavasā* 'сила' (Instr.) *taviṣa-*, *tuvi-*, *tūya-* и т.п.); авест. *tav-*, *tavah-*; лит. *ta̧ukaĩ* 'жир' *tùkti* 'тучнеть' (: слав. **tukъ*); гот. *þūsundi* (: слав. **tysętja* 'тысяча'); лит. *tautà* 'народ', прусск. *tauto* 'страна', гот. *þiuda*, оск. *touto*, др.-ирл. *tūath*, хетт. *tuzzi-* 'войско', т.е. 'вооруженный (букв. — усиленный, укрепленный) народ' и т.п. Если сопоставление **tŭ* 'ты' и **tŭ* и т.п. 'становиться тучным; возрастать; усиливаться' и т.д., действительно, отражает некие языковые реалии и прежде всего генетические связи этих двух элементов, то уместно попытаться сформулировать характерные черты этой силы-возрастания, кодируемой элементом **tŭ-*. Судя по разным отражениям этого элемента в разных индоевропейских языках, обозначаемая им сила-возрастание носит в н е ш н и й характер, она зрима для каждого, ее можно увидеть и/или пощупать; она сугубо материальна, вещественна, исчислима — от жира до народа[30]. Возможно, что телесность этой силы-возрастания и, видимо, некоторая механистичность ее придают ей несколько экстенсивный характер: она — удел всех, предназначена для целого, может быть обретена каждым; сфера ее проявления — "тело" в широком смысле слова, но не более тонкие сущности, как душа или дух.

Как и.-е. **eg'h-om* предопределяет некоторые особенности *-tŭ* (ср. также слова с этим элементом правдоподобно соотносимые), так и эти проясненные хотя бы отчасти черты **tŭ*, видимо, позволяют кое-что предположить и относительно **eg'h-om* 'я', — тем более, что и *Я* (как и *ты*) в целом ряде языков имеет свои субституты, очевидно, отсылающие к неграмматическим и, следовательно, неместоименным субстратным обозначениям *Я*. Уже указывалась роль тела, души, духа, таинственной внутренней жизненной силы типа "мана" и т.п. в обозначениях *Я*, как и исследовалась вся проблема тела-души как некоего "Urphänomen" 'а в формировании элементов языка, "субъективного" источника будущих "объективных" категорий[31]. Исследователи приводили многочисленные примеры, когда понятие *Я* замещается (или выступает вместо или вместе) обозначением т е л а[32]. Поэтому здесь можно ограничиться лишь несколькими иллюстрациями, основная функция

которых — напоминательная. Речь идет, в частности, о примерах, в которых понятие тела оформляет категорию "перволичности" (хотя и не только ее) в аспектах возвратности, притяжательности, "самости". Ср. тувинск. *бодум* '(я) сам', *бодумнуң* '(меня) самого' и т.п. — при том, что *бот*, *боду* обозначает тело; примерно такая же ситуация представлена в хакасском (*позым* 'я сам' при *пос* 'тело'), тофаларском (*бодум біле* при *бот*) и др.[33]; весьма характерно, что алтайск. *бой* 'тело', родственное тувинск. *бот*, хакасск. *пос*, якут. *бэйэ*, монг. *бие* и т.п., имеет и такие значения, как 'рост; возраст; длина' и т.п., вскрывающие семантическую мотивировку понятия 'тело'. Сходная ситуация с вед. *tanū́* 'тело' (: *tan-* 'вытягивать; растягивать' и т.п.), использующимся также в функции возвратного местоимения. Ср.: *mā́ hāsmahi prajáyā mā́ tanū́bhir.* RV X, 128, 5 'Да не погибнем ни сами мы, ни потомство' и под. Но особенно характерны примеры, когда это *tanū́* относится к 1. Sg. или к некоторым специфическим употреблениям в ед. ч. Ср.: *Ayám ta emi tanvā̀ purástād.* RV VIII, 100, 1 'Вот я иду сам (собственной персоной, букв. — телом') впереди тебя' или: *svayáṃ ripús tanvàṃ rīriṣīṣṭa.* RV VI, 51, 7 'пусть обманщик сам повредит себе' (букв. — 'телу'); *yó agníṃ tanvò dáme devám mártaḥ saparyáti...* RV VIII, 44, 15 'Какой смертный почитает Агни в своем (букв. — 'тела') доме' (*tanvò dáme* в этом случае равноценно обычному ведийскому клише *své dáme* 'в своем доме') и др.

Употребление *tanū́* в подобных случаях и прежде всего в п е р в о м лице, которое, судя по многим фактам, было тем локусом, где этому слову было соотнесено значение 'я; я сам; меня самого' и т.п., может вызвать необходимость в разъяснениях, особенно если иметь в виду сказанное о возможной семантике **tŭ̄* и родственных ему слов. Понимание тела как разросшегося, увеличившегося, в ы т я - н у т о г о, конечно, скорее соответствует сфере *ты*, как она намечена выше. Ответ на этот и другие случаи, дающие повод к установлению тождества или хотя бы соотнесенности *Я* и тела, следует, видимо, искать в двузначности понятия тело в связи с рассматриваемой ситуацией. Когда тело выступает как образ з а п о л н е н и я (ср. *полнеть, быть полным*, т.е. возрастать-увеличиваться) места, оно принадлежит сфере *ты*. Но у тела есть и иной образ: оно метафора самого места, местообразующей функции (или даже его метонимия). И в этом последнем случае тело уже не материальное заполнение, не вещественная конкретность, но чистая функция, абстракция, в духе платоновской χώρα[34]. В теле главным становится не конкретное, а абстрактное, не объективное, а субъективное, не вещественно-материальное, физическое, а духовное, психическое[35], и это второе, абстрактное значение тела было высоко оценено языком и очень разнообразно использовано: "тело" многократно перекодировалось в более тонкие, более сущностные, более личностные, интенсифицирующе-личные понятия, которые в конце концов и сделали возможным становление "Ichgefühl" и "Ichbegriff", без которых говорить о местоимении как таковом вообще едва ли допустимо. Формирование указанного "чувства" (ощущения) и "понятия" *Я* обозначало введение в "пред-язык" категории личности, *Я* как автора речи, осуществля-

ющейся здесь и сейчас, а через него и самого акта речи как универсальной формы символического обмена, совершающегося с помощью звуков. Собственно говоря, только с этих пор и целесообразно говорить о языке, о прорыве в язык из "пред-языка". Но в глоссогенетической перспективе всегда нужно помнить не только о начале языке, но и о том, что ему предшествовало и как это *что* стало языком, началом его. И это снова возвращает к уже приводившимся словам Гумбольдта о том, что сами простые местоимения восходят к обозначениям отношений пространства или восприятия и — в связи с темой этой статьи — к проблеме и.-е. **eg'h-om & *men-*.

Процесс "спиритуализации" образа тела, выявления более "одухотворенных" его соответствий и продолжений не прошел бесследно для языка. Связь обозначений *Я* с понятиями души, духа, дыхания, некоей "тонкой" ментальной (не физической, а психической!) силы отмечалась тоже не раз, и поэтому здесь достаточно напомнить ведийскую ситуацию — постепенное вытеснение *tanū́* 'тело' словом *ātmán (tmán)* 'дух' в функции возвратности—самости, ср.: *priyám pitṛ́bhya ātmáne brahmábhyaḥ kṛṇutā priyám*. AV XII , 2, 34 'приятное праотцам, себе самим, брахманам приятное сделайте!' и др.[36].

На этом пути в связи со вторым членом формулы **eg'h-om & *men-*, где **men-* соотнесено с *Я* (*меня* и под.), естественно возникает проблема связи этого личного местоимения 1 л. в косвенной форме с и.-е. корнем **men-*, обозначающим ментальную деятельность, специфический вид "тонкого" возбуждения, некоего состояния вибрирования, позволяющего открыться и реализоваться особым творческим способностям — дару слова, памяти о прошлом, предвидению будущего, прорыву к сути, к ноуменальному и т.п. При всем многообразии употреблений и значений продолжателей и.-е. **men-* его исходное единство не вызывает сомнения, ср.: др.-инд. *mánas* (: *mányate*), авест. *manah-* (: *mainyeite*), др.-греч. μένος (: μεμοινάω, μέμονα), μανία, μάντις, арм. *i-manam*, лат. *meminī, mēns*, др.-ирл. *do-moiniur*, гот. *munan*, др.-англ. *mon, man*, др.-исл. *munr*, лит. *miñti (menù), mìnėti, mintìs*, слав. **mьněti, *pa-mętь*, тох. А *mnu*, В *mañu*, хетт. *memmāi* и т.п. (Pokorny I, 726—728). В данном случае, однако, максимум информации о предыстории этого *man*-понятия проще извлекается не из всего множества относящихся сюда фактов, но из данных двух наиболее архаичных и наиболее "философизированных" традиций, в которых к этому понятию обращались не раз и где оно стало важным принципом, неоднократно и с разных точек зрения анализировавшимся, — древнеиндийской и древнегреческой. В первой из них *mánas* (условно — 'ум; разум') стал одним из основных концептов умозрения. "Манас" понимался как ум в самом широком смысле, охватывающий все ментальные проявления, в частности, как интеллект, способность к пониманию (т.е. к осмысливанию впечатлений, полученных через органы чувств, и к ответу на эти впечатления); как восприятие, чувство, сознание, воля; как внутренний орган восприятия и познания, инструмент, с помощью которого возникают мысли, а объекты восприятия воздействуют на душу; как мысль,

размышление—рефлексия, воображение, интенция, аффект, желание, настроение, воля и т.п. Манас обычно помещают в сердце (начиная уже с "Ригведы"), что объясняет отчасти его вибрирующе-пульсирующий характер. Связь манаса с атманом и с пурушей как вселенской душой, жизненным принципом, сознанием, *Я* несомненна, хотя и различия очевидны: в отличие от атмана и пуруши манас принадлежит телу и, как правило, подвержен уничтожению, гибели, как и человек в его "эмпирической" ипостаси. При всех различиях в трактовке манаса в разных направлениях древнеиндийской мысли существенными оказываются его связь с человеком, с внутренним восприятием (в противоположность внешнему — "бахья"), возникающим при соприкосновении манаса с психическими состояниями (вместе с пятью органами чувств манас образует шесть органов познания; его роль организующая и суммирующая; именно благодаря ему *Я* осознает себя как таковое — и через противопоставление тому, что не есть *Я*, и через конституирование чувственно-ментальной основы этого *Я*), с нематериальностью, наконец, с жизненно-личностным началом, в частности, в том его аспекте, который связан с творчеством определенного типа. Ориентация манаса на *Я*, на преимущественную принадлежность ему (притяжательность) едва ли вызывает сомнение, во всяком случае применительно к исторически засвидетельствованным концепциям. Связь ума, мысли, мнения именно с *Я* подтверждается и "онтологической" этимологией, восходящей к Гегелю и не раз использованной Гейдеггером, согласно которой нем. *mein* 'мой' (т.е. принадлежащий *Я*) на некоей глубине связывается с *meinen* 'иметь мнение' (в экспериментальном "философском" языке — 'мóить', т.е. делать моим, присвоенным сфере "моего" и, значит, *Я*). Как бы то ни было, подчеркиваемая в этой этимологии связь *Я*, "мой" и субъективно-ориентированной мысли в высшей степени поучительна. Она объединяет как раз те элементы, которые образуют острие стрелы, направленной человеческим сознанием для освоения—усвоения новых пластов бытия.

При характеристике свойств манаса оказывается, что его основные черты, определенные независимым образом, таковы, что находятся в отношении противопоставления к "глубинным" свойствам **tŭ-* (: **tŭ* 'ты'), о которых говорилось ранее. Манас характеризуется как внутренний (**tŭ-* — внешний), незримый (**tŭ-* зримо), духовно-психический (**tŭ-* — материально-вещественный), сугубо личностный (**tŭ* как *ты* скорее неопределенно-личностно[37]), интенсивный (**tŭ-* — экстенсивный). Не приходится подчеркивать, что ментально-творческий аспект, связываемый с манасом, как и с творцом речи, с *Я*, отсутствует у *ты* и того "вещественного" прибытка, обозначения которого формально (по крайней мере) совпадают со словом для *ты*.

Все эти соображения уже дают право поставить вопрос о принципиальной возможности (аспект доказательности в данном случае никак не затрагивается, и само предположение некоей новой точки разворота в движении смысла на этой стадии представляется более важным) связи между "местоименным" **men-*, в частности, в и.-е.

**eg'h-om & *men-*, и **men-* как обозначением ментальной деятельности, ее нерва.

Не исключено, что эта связь не покажется вовсе неприемлемой, если вспомнить об аффективно-эмоциональном компоненте языка и его роли (ведущей, по признанию многих специалистов) в самом происхождении языка, об античной теории связи языка в его начальном периоде с тем, что греки обозначали как πάθος[38], об истоках "поэтической" логики и живущего ею искусства, об учении Платона о μανία, неистовстве, и одержимости (κατοκωχή) ею[39], о прикосновенности "художественного" к сфере иррационального.

Когда в ведийском слово *mánas* приурочено к первому лицу (*me, mánas, máma mánas*), оно, собственно, и само по себе выступает как своего рода обозначение—замена первого лица, как указание в *Я* его ядра, сердцевины, сути, квинтэссенции личного, опознаваемой через то специфическое дрожание-трепетание, ментальное возбуждение, которое свидетельствует о состоянии творческой одержимости. "Словно крутящееся колесо, о многопризываемый, дрожит (*vepate*) дух мой (*máno ...me*) от страха перед отсутствием (недостачей) мыслей (*ámater*)", — говорит певец в гимне, обращенном к Индре (RV V, 36, 3), и тут же: "Этот певец твой (*jaritá ta*), о Индра, словно давильный камень, высоко поднимает голос возбуждаясь (*iyarti vácam bṛhád āśuṣāṇáḥ*)". V, 36, 4. Эта мена "естественного" первого лица на третье и замена первого лица личного местоимения притяжательной формой в соединении с *mánas* позволяет предполагать исходную ситуацию и ее канонически-унифицированный вид — "Я (*ahám* [или *máma, me*, у меня] → *mano... me*) дрожу от страха... Я, певец твой, ... высоко поднимаю мой (*me, máma*) голос, возбуждаясь"[40]. Многие другие контексты также обнаруживают связь слова *mánas* с поэтическим творчеством[41], и это обстоятельство в сочетании со связью *mánas* с тем, что является сутью личности, в частности и *Я*, заставляет обратиться к тому специфическому виду поэтического творчества, который — в известной степени и с достаточным вероятием — может рассматриваться как один из вероятных локусов формирования феномена перволичности, самого *Я*. Однако уже сейчас необходимо подчеркнуть, что в ряде контекстов в слове *mánas* растворяется обозначение того (в том числе и *Я*), к кому это слово относится, или — при взгляде с противоположной стороны — само слово *mánas*, как бы сливаясь с обозначением своего обладателя, семантически "опустошается", и в этом смысле *mánas* может выступать, хотя эта форма выражения в древнеиндийском не институализирована, аналогично др.-греч. μένος в сочетаниях типа μένος Ἕκτορος (у Гомера), собств. — 'душа Гектора; сущность Гектора', практически же совершенно тождественно Ἕκτωρ; см. μένεα ἀνδρῶν (Гомер), т.е. ἄνδρες и т.п.[42]

Связь понятий *mánas*, μανία (: μένος) с поэтическим творчеством, т.е. с творящим словом, применительно к ведийской или древнегреческой традиции не вызывает сомнений. Говоря в общем, тот, у кого *mánas* приведен в особого рода колебательное движение или кто одержим μανία, — поэт. Не случайно, что одно из распростра-

неннейших обозначений поэта-певца в ведийской традиции — *vípra-*, т.е. 'внутренне трепещущий, возбужденный, воодушевленный', от *vip-* 'пребывать в трепещущем, дрожащем, возбужденном, потрясенном состоянии'. Слово *vípra-* применяется к певцу, как бы взятому в момент вдохновения, поэтического творчества; но оно же относится и к человеку, мудрецу, жрецу, богу, если они обладают соответствующей ментально-психической структурой и соответственно даром проницать в прошлое и будущее, провидческими способностями. Этим же словом, как уже было показано, характеризуются жанры религиозного словесного творчества — песнь, молитва, формула и сам дух, на них поэта вдохновляющий (ср. *mánas* как обозначение духа, ментальной настроенности на сочинение песни и т.п.).

Но как связан с поэтическим творчеством тот **men-* персонаж из формулы и.-е. **eg'h-om & *men-*, который непосредственно отсылает к перволичному местоимению, к *Я*, к автору—творцу речи, в этом (**e-*) месте и в этот (**e-*) момент ее творящему? Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, нужно поставить перед собой еще один — что могло значить говорить, т.е. пользоваться словом, применительно к эпохе глоссогенеза? Не имея возможности подробнее касаться здесь этой темы, все-таки, исходя хотя бы из самых общих предпосылок, уместно высказать несколько предположений. Во-первых, речь, говорение, произносимое слово были в это время отмеченными ("маркированными") как по отношению к "не-речи", молчанию, так и по отношению к другим знаковым системам более древнего, чем язык, происхождения (например, к жестам), и в этом смысле они могли быть и более эмоциональны, аффективны, и более импровизационны, и более информативны (в теоретико-информационном смысле), нежели устоявшиеся, отлившиеся уже в свои формы, институализированные инознаковые тексты. Во-вторых, речь, слово, говорение скорее всего должны были выступать как некий импровизационный ритуал, потребность в котором возникает в крайних условиях, в том кризисном состоянии, для выхода из которого нет заранее предусмотренных стандартных средств и полагаться приходится на случай, на шанс, на удачу, вероятность которой вычислена быть не может. Как каждый ритуал — акт, деянье, так и говорение—речь — дело (хочется сказать — "не слово, но дело", хотя именно слово и есть в этом случае дело по преимуществу). В-третьих, ритуал, в частности, и говорение—речь, касаются всего коллектива, но в данном случае весь этот коллектив как бы слит в образ того одного, кто совершает ритуал, кто берет на себя ответственность за всех и берет на себя риск говорить, т.е. стать *Я*, и кто, выступая как жрец, совершитель ритуала, как и любой жрец, ощущает себя одновременно и жертвой. В этом отношении акт говорения—речи есть знак готовности умереть, шаг к смерти, к опустошению в слове своей жизненной силы, вещества жизни (см. ниже). В-четвертых, говорение—слово в этих условиях было чем-то промежуточным и сугубо непредсказуемым: оно отрывалось от того знания, которое было до начала речи, и еще не обладало знанием, которое в случае удачи могло

быть достигнуто речью—словом. Или как у поэта:

Да вот и сейчас словарю
Придавши бессмертную силу —
Да разве я *тó* говорю,
Чтó знала, — пока не раскрыла

Рта, знала еще на черте
Губ, той — за которой осколки...
И снова во всей полноте,
Знать буду — как только умолкну[43]

(*М. Цветаева*. Куст)

Собственно говоря, указанные до сих пор свойства речи, слова на *той черте*, которая отделяет исходную "немоту" от речи на ее первых шагах, характеризуют и поэта и его творчество — прижизненное умирание, схождение в царство мертвых с тем, чтобы там обрести *живую воду*, "мед" поэзии, ту силу слова, которая превосходит то, что им описывается. В известной мере — и именно об этом говорит главный миф о поэте и поэзии — каждый, кто прижизненно спустился в царство мертвых, прикоснулся к смерти, — поэт. В этом смысле поэтом нужно считать и *Я* глоссогенетической эпохи. Для него действительно не то, что *Легче камень поднять, чем имя твое повторить*, но то, что сказать слово — что умереть. И слово — как жребий с двумя значениями: вечная смерть или вечная жизнь (вечное слово). В этих условиях перво-поэт и перво-*Я* может надеяться только на случай, и его он находит в том "тонком", от ритма космоса отличном **теп*-движении, цель которого "спровоцировать" внешнюю ситуацию, опробовать ее, вызвать ее на самораскрытие с тем, чтобы понять в ней и свое положение и через него себя, свое *Я*. Итак, шанс через риск, жизнь через смерть, согласие через разлад[44]. А для поэта особо — творение через слово; "сказал и/или подумал в сердце своем" — обычное клише, известное не только в архаичных мифопоэтических традициях (ср. помещение манаса и мысли в сердце) — часто уже и есть творение, хотя бы потенциальное[45].

К сожалению, проблема природы и характера "перво-речи" остается практически мало разработанной. Тем не менее то, что об этом все-таки известно, в ряде существенных отношений подтверждается данными о некоторых экстремальных, часто патологических (по меньшей мере, функционально патологических) видах говорения, отмечаемых у пророков, жрецов, шаманов, юродивых, мистиков, экстатиков и нередко даже у поэтов, принадлежащих к современному "цивилизованному" кругу. Сведения о "говорении" (в частности, ритуальном или ритуализованном) в архаичных культурах[46] дополняют другие данные и отвечают общим представлениям. Основные психофизические характеристики такого говорения — присутствие особого волнения, возбуждения, "дрожания" речи (как в самом произнесении говоримого, так и в том, что касается грамматики и лексики), ее прерывистость, неупорядоченность, хаотичность, бессвязность, глоссоларичность, истеричность, наконец, сама манера произнесения, с отмеченными силой голоса, тембром, скоростью

речи, иногда подражанием иным голосам и т.п.[47] Формы такой речи часто довольно непосредственно соотносятся с болезнями, называемыми *эмирячение* и *мэнэрийии*, часто свойственными именно шаманам[48]. или в период обретения шаманского дара, или во время камлания[49]; нередко эта особая речь приписывается духам, вещающим нечто устами шамана. В этом широком и важном в разных своих деталях контексте в связи с темой, рассматриваемой здесь, особый интерес вызывают два мотива, обычно связанных друг с другом: во время "шаманской" болезни человек, которому духами "предназначено" стать в будущем шаманом, помимо прочих болезненных явлений испытывает и специфическое чувство "обмирания", как бы предшествующего реальному умиранию и вызванного тем, что злые духи похитили у будущего шамана душу (ср. якутск. *кут* 'душа живых существ'), жизненную силу. Он "опустошается" от жизненного вещества, потому что, говоря языком более известных традиций, лишился того, что называют *mánas*, μένος[50]. "Дефектная", опустошенная речь — следствие обмирания-умирания[51].

Подобная зависимость. видимо, бросает луч света и на отношение *mánas*, μένος (: μανία), связанных, в частности, с поэтическим даром, и обозначений таких ментальных действий, как говорить, думать, мыслить, помнить, вспоминать, осмысливать, понимать, предсказывать, прорицать и т.п., которые обильно представлены в самых разных индоевропейских языках; др.-инд. *mányate* 'думать', *mánati* 'упоминать', авест. *mainyeite*, арм. *i-manam* 'понимать' (1. Sg.), др.-греч. μάομαι (μνάομαι) 'думать; помышлять; вспоминать', μιμνῄσκω 'напоминать; вспоминать; помнить', μαντεύομαι 'прорицать; предсказывать; вещать' (ср. искусство мантики), лат. *meminī* 'помнить; напоминать', др.-ирл. *do-moiniur* 'верить; думать; высказывать мнение', гот. *munum*, лит. *miñti* 'помнить; загадывать; отгадывать', *minėti* 'упоминать; вспоминать', *manýti* 'думать', прусск. *mēntimai* 'лгать', слав. **mьněti*, **po-mьněti*, лув. *mammana-* 'говорить', хетт. *memmāi* 'говорить' (3. Sg.), если в его основе было **men-*, и т.п. (Pokorny I, 726—728; о ностр. **manu* 'думать' см. Иллич-Свитыч [II], 42—43).

В этой перспективе и для **men-* в формуле **eg'h-om & *men-*, учитывая сказанное ранее, возникает возможность его соотнесения с говорением—мышлением, словом—мыслью, первым деянием этого *Я*. Возможность понимания **e-g'h-om & *men-* при всех ограничениях и условностях (и, разумеется, только для одного из срезов истории языка) как "вот-здешнесть & говорить (—мыслить)"[52] значила бы очень многое для понимания одного из основных локусов глоссогенеза и исходных компонентов формирующегося языка. Во всяком случае с теоретической точки зрения не должна вызывать удивления сама возможность обозначения *Я*, определяемого как тот, кто *здесь* и *сейчас* говорит, через элемент, выражающий именно идею говорения, одного из главных аспектов ментального **men*-комплекса[53]. Другой аспект этого же **men-* — мышление как предикат *Я*. Такое *Я*, опустошенное от "вещественного" и позволяющее говорить об идеальном тождестве с самим собой, имеет особые преимущества в отношении всего, что вещественно и различно. Поэтому оно неслучайно становится и принципом самой философии[54].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]Ориентация на "малую" руку (четыре пальца без большого) отчетлива в индоевропейских обозначениях четырех ($k^{\mu}etur$-) и восьми (*ok'tō/u/-, две "малых" руки). "Большая"рука (пять пальцев, в частности, сжатых в кулак) предполагается в названии пяти (*$penk^{\mu}e$), ср. *dek'm̥-(t) 'десять' как две "большие" руки. В другом месте (ср.: К семантике четверичности. // Этимология 1981. М., 1983. 128—130) была предпринята попытка понять и.-е. *du̯ō(u) как обозначение парных космических зон; *trei- в контексте мотива "универсальной удачи" — проникания—преодоления (и.-е. *ter-) всех трех царств по вертикали персонажем, нередко обозначаемым как "Третий", т.е. тот, кто, пройдя все три царства, преодолел и смерть; *$k^{\mu}etur$- как четырехугольный ("квадратный") предмет, получаемый рас-пространение вовне каждой из его четырех сторон, что придает такой конструкции особую силу, устойчивость, гарантию стабильности (ср. анат. *meu- '4', хетт. *mei̯u-*, *miu̯a-*, лув. *mauwa-*, иерогл.-лув. *muwa/i-* и т.д. при хетт. *mu̯a-* 'Körpersaft; — Seelenstoff(?)', *mu̯attal-/l/i-* 'сильный', иерогл.-лув. *muwatali-* 'сильный; могущественный' и т.п.); ср. загадку о корове (своего рода "мировой" корове) — ***Четыре четырки, две растопырки, седьмой вертун.*** Этимологическое объяснение чисел два — три — четыре (или как минимум их первоначальная предметная соотнесенность) тем более важно, что именно эти числа образуют ядро счетного ряда (по сути дела, исходный "малый" счетный ряд), распространенное позже в обе стороны — ср. один как образ единого целого, всего (в этом понимании один, действительно, как это и следует из этимологии, деиктическое местоимение) и как первый член счетного ряда, единица — при подверстывании его к два — три — четыре, но и пять как расширение "малой" руки до "большой", до нового "завершенно-замкнутого" множества. Не случайно, поэтому, что внутренняя форма числительного шесть—*u̯ek's сопоставляется с и.-е. *(H)u̯eks- 'расти' и, следовательно, понимается как "прирост" сверх уже имеющегося множества (см. *Szemerényi O.* Studies in the Indo-European system of numerals. Heidelberg, 1960. 78—79; *Винтер В.* Некоторые мысли об индевропейских числительных. // ВЯ. 1989. № 4. 34—35 и др.). В этом контексте новый "высший и окончательный" синтез — семь, образующее универсальное священное магическое множество. И.-е. форма *septm̥ дает известные основания думать об абстрактном существительном на *-ti-* ("семерка"), см.: *Винтер В.* Указ. соч., 33, с характерным замечанием — "Отсутствие мотивации не чуждо низшим числительным. Так, кажется невозможным обнаружить связь *septm̥ с каким-либо другим элементом праиндоевропейского словаря: "семь" значит просто "семь" и ничего более". И все-таки целесообразно пытаться установить возможную мотивировку числа семь, принимая во внимание микрофрагмент текста счетного ряда — пять ("большая" рука, пясть, кулак), шесть ("прирост" сверх уже завершенного множества) и, наконец, семь, а также следующий элемент восемь (*ok'tō/u/), как бы возвращающий вспять к четырем (два по четыре, две "малых" руки). Логично предположить, что в пределах этого контекста семь не только продолжение возрастания (ср. *u̯ek's- — шесть как при-рост), но и его высшая точка, вершина, с чем, собственно, идеально согласовалось бы представление о семи как "совершенном" (: верх, вершина) числе. С этой точки зрения, видимо нельзя исключать связь названия семи с и.-е. *sep-* как 'глубоко религиозно почитать; благоговеть', собственно, о высшей форме ритуального почитания—заботы, поддержки, подкрепления, также вообще 'заниматься чем-либо; держать в руках' и т.п. Ср. ностр. *zap'a-* 'брать в руки; держать' (*Иллич-Свитыч В.М.* Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь /l — ǯ/. Указатели. М., 1976. [II], 111). Как понятие по преимуществу ритуальное, и.-е. *sep- связано с соответствующей деятельностью, результат которой мог быть представлен абстрактным существительным *sep-ti- (впрочем, идея делания, занятия, приготовления, даже хлопот, забот и т.п. весьма детально отражена в продолжениях корня *sep- в отдельных языках). К этому элементу *sep- относятся др.-инд. *sápati* и *saparyáti* (уже начиная с Ригведы), *saparyā́* и *saparyú-*, на основании которых восстанавливается др.-инд. *sap-ar- < и.-е. *sep-el-; авест. *hap-* 'держать; поддерживать' (в руке, рукою); др.-греч. -ἕπω, ὁπλέω лат. *sepeliō* 'погребать; хоронить' и т.п., *sepulcrum*, *sepultūra* и т.п. (тот, кто держит (*sap-*) в руке *риту*, имеет власть, первенство; имплицируемый образ руки существен и в связи с тем, что рука — символ власти и с тем, что она как бы объединяет пальцы, инструмент счета, в целое). Связь *sep- с высшим мировым законом подтверждается такими формулами, как др.-инд.

ṛta-sáp 'лелеющий риту' ('служитель риты'), ей благоприятствующий, питающий—взращивающий ее, авест. *ašəm... hapti* (Yasna 31, 22) [: вед. *ṛtám sap-*, RV V, 12,2 и др.]. Через значения 'заниматься; хлопотать; заботиться, ухаживать; приготовлять' и т.п. с и.-е. **sep-* правдоподобно связывается хетт. *šip-*, *šippāi-* (*arḫa šippāi-*) 'скоблить; лущить' и т.п. (но и *šap-*, *šapiįāi-*), а также балто-славянские продолжения **sep-/*sop-* обычно с "ухудшением" значения (к связи с **sep-* ср. болг. *сопам ся* 'огрызаться' при болг. *грижа* 'забота', ср. *его грызет забота* и т.п.). В другом месте было предложено соотносить с этим корнем название Сипильских гор (Σίπυλος, ἐν Σιπύλῳ. Il. XXIV, 615 и др.: Σίπυλον), связанных с "лидийским" локусом Тантала и его рода. На Сипильских горах был трон Пелопса (видимо, на вершине — ср. у Софокла Σιπύλῳ πρὸς ἄκρῳ при ἄκρον, ἄκρος, ἄκρη, применительно к вершине, выступу, краю), ср. об'αφανὴς τάφος, гробнице Пелопса (Pausan. V, 13, 7). Гробница (τάφος) по-латински называется *sepulcrum* (: *sepeliō*), причем не исключены малоазиатские связи этого латинского слова. В таком случае само название горы с усыпальницей (рядом находилось и святилище — τὸ ἱερόν) отсылает к обозначению этой усыпальницы и соответствующему орониму: *sep-ul-crum* — Σιπ-ύλ-ος (можно напомнить, что Ниоба окаменела на Сипильских горах, что у нее был сын по имени Сипил, что Сипильские горы могли вообще быть своего рода усыпальницей членов Танталова рода). Эта идея первенства, вершинности и религиозного, специально ритуального почитания, связанная с и.-е. **sep-*, **sep-el-*, могла, конечно, присутствовать и в и.-е. **sep-ti-* 'семерка' (кстати, формально — и это по меньшей мере — этой лексеме точно отвечает вед. *sápti-* 'упряжка', о конях, впряженных в одну упряжку и выступающих как единое целое, ср.: *s á p t i r ná ráthyo áha dhītím aśyāḥ* (RV II, 31,7) 'Как упряжка колесницы, пусть достигнет цели..!'; связанное, судя по всему, с *sápati* (Mayrhofer Lief. 23, 432), это слово близко к таким образованиям, как *saptáśva-*, о семерке лошадей [*á sū́ryo yātu s a p t á ś v a ḥ kṣétram yád asyorviyā́ dīrghayāthé...* (RV V, 45, 9) 'Пусть Сурья (Солнце) на с е м и к о н я х приедет к полю, которое широко (простирается) на его долгом пути..!'], ср. *sáptia-* 'Genossenschaft von sieben (Geschwistern)' и т.п.). Если это так, то число с е м ь также обретает свою семантическую мотивировку. Характерно, что и и.-е. **neu̯(e)n* 'девять', н о в о е "совершенное" и сакральное число (после восьми), также, видимо, связано с и.-е. **neu̯os-*, *-i̯os* 'новый' и, значит, тоже семантически мотивировано, не потеряно для этимологии.

[2]Глагол бытия (и.-е. **es-*) стоит в центре всей онтологической системы и поэтому от того, как мотивировано это понятие в языке, зависит, ч т ó вкладывает в него мысль. Если подлинно "глоссогенетический" анализ и.-е. **es-* пока едва ли возможен, хотя некоторые важные подступы к нему зримы уже сейчас (наиболее существенный из них связан с идеей м е с т а, "просвета", пространства, в котором совершается то, что обозначается глаголом бытия, т.е. оно, бытие, является и при-сутствует; В.М. Иллич-Свитыч проницательно восстанавливает смысл ностр.* *ʔesA* — 'осесть на месте; быть на месте', ср. сем.-хам. *'jš/ 'jṯ*, урал. *ešA*, а также связь и.-е. **h'es-* 'быть' и **h'ēs-* 'сидеть', см. Опыт сравнения.., М., 1971, [I], 268—270), то внутренние притяжения и.-е. **es-* и как бы проступающие в нем "иные" смыслы говорят о многом и в плане исторической семантики, и в чисто онтологическом плане. Две идеи заслуживают здесь особого внимания — связь бытия с истиной —подлинностью (**es-* : **sont-*, ср. др.-инд. *sánt-*, *sát-* 'истинный; подлинный; сущий', *satyá-* 'правда; истина', хетт. *ašant-* 'истинный; правильный' и т.п.), отликающаяся и в учении Гейдеггера об истине — 'αλήθεια как непотаенном, явленном бытии, и связь бытия с благом, с тем, что *хорошо* (**es-* : **esu-*, ср. хетт. *aššu-* 'добро; благо', др.-греч. ἐύ/ς/, др.-инд. *su-* и т.п.), засвидетельствованная и в акте творения — "И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так ... И увидел Бог, что *это* хорошо" (Бытие I, 9—10). В подобной ситуации важно удержаться от соблазна рассматривать эти значения как производные, побочные, вторичные. Если "местообразовательная" функция **es-* оказалась востребованной и, следовательно, возможность осуществилась, бытие—истина—благо явлено, состоялось, присутствует. И в этом смысле и.-е. **es-* сродни нем. *Dasein* как ключевому понятию экзистенциалистской онтологии, потому что это "В о т-бытие" своим "вот" отсылает как раз к м е с т у (впрочем, как и *Я* — **eg'h-om*, букв. — 'в о т-здешнесть'), в котором бытие осуществляет себя. В известном отношении и с известным правом об **es-* можно говорить как об универсальном глаголе, поскольку действие или состояние, обозначаемое любым глаголом, требует для себя м е с т а как предварительного условия своего явления.

Именно эта универсальность обусловила возможность функционирования *es- как квантора существования, связи (ср. *es- как связку), отождествления, как элемента языка и языка, этот язык описывающего ("метаязыковая" функция). Особенно нужно отметить употребление *es- в посессивных конструкциях в связи, кстати, с проблемой различения "отчуждаемой" и "неотчуждаемой" принадлежности. Это свойство *es- (как, впрочем, хотя и с меньшей наглядностью, и другие свойства глагола бытия) отсылает снова к телу как, так сказать, "персонифицированному месту, где формируются и испытывают отношения притяжательности, связи, отождествления (кости есть /равны/ камни, кровь есть вода, глаза есть светила, уши есть страны света и т.п. в текстах о "Первочеловеке—первотеле").

[3]Другой вариант — когда данный формант "слеп" в отношении исходного "ситуативного" субстрата, вызвавшего его к жизни, и в этом смысле оказывается тупиковым для исследователя, но "прозрачен" с точки зрения связи с другими формантами (генетическая связь), один или несколько из которых еще сохраняют связь с исходной внеязыковой ситуацией и, следовательно, косвенным образом подключают к этой связи и тот формант, который сам по себе был "слепым".

[4]Ср. *eg-, *eg'(h)om. *eg'ō (Pokorny I, 291); *egō, *eg(h)-om (Семереньи); *hegHom, *He-g'h-om, *heg'-Hom (при реконструкциях, учитывающих ларингальные) и т.п.

[5]Более поздние и вторичные по происхождению унификации типа тох. А *ñäṣ* 'я', *ñäṣ* Obl., *ñi* Gen., *naṣac* Dat. и т.п. или тох. В *ñäś* 'я', *ñi* Gen., *ñäśäśc* Dat. и т.п., конечно, в данном случае не в счет.

[6]На несколько иных основаниях можно говорить и о более общем и расплывчатом контексте, образуемом парадигмой склонения личного местоимения 1 л. *я* и парадигмой указательных местоимений, объединяемых с точки зрения реконструкции наличием деиктического элемента.

[7]К изъятиям из правила относятся такие случаи, как позднехетт. *ammuk(ka)* 'я', но в косвенных падежах *ammēl, ammuk(ka), ammēdaza* (при более старом хетт. *uk, ukka, uga*), ср. также лид. *amu* 'я', но и 'мне' и др.

[8]Ср. лат. *nōs* 'мы', но в косвенных падежах *nostrī, -rum, nōbīs* (ср. Acc. Pl. *nōs*); ст.-слав. ны (наряду с мы), но насъ, намъ, нами и т.п.

[9]Ср. др.-инд. *tvam* 'ты', но в косвенных падежах *táva, tvā, tvad, tvayā, tve (tvayi), tubhya(m)* (ср. Acc. Sg. *tvā/m/*); лат. *tū*, но *tuī, tibī* и т.п.; ст.-слав. ты, но тебе, тебѣ, тобоѭ и др.

[10]Ср.: и.-е. *ghe-, *gho-; *g'(h)ī-; *g'(h)e- (Pokorny I, 417—418) и др.

[11]См.: *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980, 231, ср.: "...трудно понять, почему не *eg- является личным окончанием глагола в 1 л. ед.ч. Нельзя не сделать вывод, что *-mi* потому является личным окончанием, что в период образования личных окончаний не существовало еще *eg(h)ō, а было только *m*" (со ссылкой на литературу).

[12]Подобное сохранение *-m-* иногда трактуется как указание на первичный архаизм, см. *Kuryłowicz J.* The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964. 183.

[13]С достаточным основанием можно предполагать в качестве исходной формы Gen. 1. Sg. Pron. pers. в прусском *mene (*menne), учитывая, с одной стороны, то, что форма Dat. *mennei* 'мне' построена, видимо, именно на основе Gen., и, с другой, то, что Gen. *maisei* вторичен: по сути дела, это Gen. Sg. Pron. poss. 1 л. от *mais* 'мой' (ср. лит. *mãno*).

[14]Ср.: *mān — priyām* (Acc.), *mayā — priyayā* (Instr.) и т.п.

[15]Ср. лит. *manę̃s* (Gen.), *mán* (Dat.), *manè* (Acc.), *maninì* (Instr.), *manyjè* (Loc.) или лтш. *manis* (Gen.), *man* (Dat.). *mani* (Acc.). *manī* (Loc.). Для прусского восстанавливается фрагмент парадигмы — *menne (Gen.), *mennei* (Dat.) *mennim(i) (Instr.)

[16]Ср. ст.-слав. мєнє (Gen.), мьнѣ/мънѣ (Dat.), мєнє (Acc.), мъноѭ (Instr.).

[17]Двучленность понимается здесь в несколько обобщенном виде и не противоречит тому, что само *eg'hom членится на два или три элемента.

[18]См. *Wijk van N.* Der nominale Genetiv Singular im Indogermanischen in seinem Verhältnis zum Nominativ. Zwolle, 1902; ср. отчасти: *Knobloch J.* Zur Vorgeschichte des indogermanischen Genitivs der *o-* Stämme auf — *sjo* // Die Sprache 1951, Bd. 2. 131—149.

[19]См.: *Иллич-Свитыч В.М.* Опыт сравнения... [II]. 63—66.

[20]Нужно подчеркнуть, что это *-n-* как показатель косвенной формы личного местоимения 1. Sg. (и — шире — имен/ср. гетероклитическое склонение в индоевропейском/и местоимений) из всех косвенных падежей находит наиболее полное и органичное выражение именно в генитиве, часто в нем по преимуществу, а иногда и только в нем.

Следует согласиться с мнением В.М. Иллича-Свитыча — "По-видимому, до развития более разветвленной именной парадигмы элемент *-(e)n-* являлся аффиксом недифференцированной косвенной формы имени (парадигматическая функция элемента *-(e)n-* противоречит построениям, трактующим его как словообразовательный [...] элемент)", см. *Иллич-Свитыч В.М.* Опыт сравнения.., [II], 79, ср. и более широкий контекст, 78—81.

[11]Впрочем, в дравидских языках элемент *m-* сохранен в 1. Pl. Pron. pers. (основа *mā̆-*), а элемент *-n-* в показателе генитива *-(i)n̲* (ср. тамил. *ūr-in̲* 'деревни'. Gen. Sg., а также куи *-ni*, формант генитива и косвенной основы имен женского рода).

[12]Если не считать вторичных случаев, как хетт. *ammuk* 'я' (наряду с *uk*) под влиянием форм Acc., Dat.-Loc. *ammuk*, Gen. *ammēl* и т.п., или таких периферийных и сильно "замаскированных" примеров, как др.-греч. ἐμε-, ἐμός и под. (< **h'e-me* : урал. **E-mi* / манс. *äm*, венг. *én*, алт. **E-bi*).

[13]Значение **eg'h-om* на данном этапе исследования не требует, видимо, дальнейших уточнений: достаточно знать, что ведущим компонентом был деиксис — указание на место ("вот-здешнесть", "Hierheit"), с которым как-то было связано то, что обозначалось элементом **men-*.

[14]Чтобы не дать повода для неверного (хотя бы и в варианте — "узкого") понимания вышесказанного, уместно сослаться на проблему "лично-местоименности" и "посессивности" в том виде, какой она получила начиная с Гумбольдта, и соотношение "субъективного" и "объективного" в этой сфере. Ср.: "Diese Voraussetzung findet ihre Bestätigung, wenn man die Art betrachtet, in der die Sprache zum Ausdruck persönlicher Verhältnisse nicht sogleich die eigentlichen persönlichen Fürwörter, sondern die possessiven Pronomine benutzt. In der Tat nimmt die Idee des Besitzes, die in diesen letzteren dargestellt ist, zwischen dem Gebiet des Objektiven und des Subjektiven eine eigentümliche Mittelstellung ein. Was besessen wird, ist ein Ding oder Gegenstand: ein Etwas, das sich schon durch die Tatsache, daß es zum Besitzinhalt wird, als bloße Sache zu erkennen gibt. Aber indem nun eben diese Sache als Eigentum erklärt wird, erhält sie damit selbst eine neue Eigenheit, rückt sie aus der Sphäre des bloß natürlichen in des persönlich-geistigen Daseins. Es ist gleichsam eine erste Belebung, eine Verwandlung der Seinsform in die Ichform, die sich hierin ankündigt. Auf der anderen Seite erfaßt sich das Selbst hier noch nicht in einem freien und ursprünglichen Akt der Selbsttätigkeit, der geistigen und willensmäßigen Spontaneität, sondern schaut sich sozusagen im Bilde des Gegenstandes an, den es sich als den "seinigen" zueignet". См.: *Cassirer E.* Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil: Die Sprache. B. 1923. 221. Ср. далее ссылку на то опосредствование чисто "личного" (rein "personalen") через "посессивное", которое хорошо известно в развитии "детского" языка, когда обозначение собственного *Я* осуществляется раньше с помощью посессивных местоимений, чем с помощью личных. Еще очевиднее свидетельствуют об этом данные истории языка: "Sie zeigen, daß der eigentlichen scharfen Ausbildung des Ichbegriffs in der Sprache ein Zustand der Indifferenz vorauszugehen pflegt, in der der Ausdruck des "Ich" und der des "Mein", der des "Du" und des "Dein" u.s.f. sich noch nicht geschieden haben" (Ibid. 221). Ср. два способа трактовки одной и той же конструкции — "я иду" : "мое идение".

[25]В этом отношении сказанное здесь не только не противоречит, как это может показаться с первого взгляда недостаточно внимательному читателю, известным мыслям Гумбольдта, но, напротив, находит в них дополнительную поддержку. Ср.: "Мне кажется, что в одной из более ранних работ (речь идет о статье 1829 г. "О родстве наречий места с местоимениями в некоторых языках". — *В.Т.*) я сумел показать, что местоимения должны быть первоначальными в любом языке и что представление о том, что местоимение есть самая поздняя часть речи, абсолютно неверно. Представление о чисто грамматическом замещении имени местоимением подменяет в таком случае более глубокую языковую склонность. Изначальной, конечно, является личность самого говорящего, который находится в постоянном непосредственном соприкосновении с природой и не может не противопоставлять последней также и в языке выражение своего "я". Но само понятие "я" предполагает также и "ты", а это противопоставление влечет за собой и возникновение третьего лица, которое, выходя из круга чувствующих и говорящих, распространяется и на неживые предметы. Лицо, в частности "я", если отвлечься от конкретных признаков, находится во внешней связи с пространством и во внутренней связи с восприятием. Таким образом, к местоимениям примыкают предлоги и междометия.

Ибо первые выражают отношения пространства или времени, понимаемого как протяженность, к некиим точкам, неотделимым от собственного их значения, а вторые суть просто выражения эмоций (Lebensgefühl). Вероятно даже, что действительно простые местоимения восходят к обозначениям отношений пространства или восприятия" ("Родство слов и словесная форма"), см. *Вильгельм фон Гумбольдт.* Избранные труды по языкознанию. М., 1984. 113—114.

[26]Здесь нет смысла напоминать о том, что слова для обозначения *Я* часто, как и в индоевропейском, содержат деиктические элементы, потому что это очевидно (во-первых), потому что деиксис предполагает нечто более фундаментальное — то, на что указывают (во-вторых), потому что это главное и "субстанциональное" легче всего "вымывается" из конкретных форм выражения *Я*, парадоксальность функций которого плохо согласуется с присутствием "отягчающих" материальных смыслов (в-третьих).

[27]В других, противоположных по характеру случаях "социальная" ориентированность остается, хотя и выворачивается наизнанку — *Ваше ничтожество, негодяйство, подлость* и т.п.

[28]Ср. лат. *tū*, др.-ирл. *tū*, др.-исл. *þu*, гот. *þu*, лит. *tù*, прусск. *tou* (< **tū*), слав. **ty*, др.-греч. дор. τύ, гомер., ионич., аттич. σύ, тох. А *tu*, В *t(u)we*, авест. *tū (tvə̄m, tūm)*, др.-инд. *tvám, tuvám*, арм. *du* и т.п.

[29]Ср. *upa tū nō iδa yå ašaonąm mošu + iδəntō fravašayō*,... (Yt. XIII, 14, 6); *usəhišta tū* ! (V. XVIII, 26); последний пример особенно показателен, потому что квази-параллелизм *tūmqm (vyarāyeitr mqm)* может быть истолкован как указание на исходный подлинный параллелизм (*восстань т ы ! & ... м е н я; реально же — 'восстань ж е!... м е н я').

[30]В ряде традиций, в частности в американских, род, племя понимаются и/или обозначаются как жир или тело; этот же атрибут переносится на материальный символ этих общностей — "толстый, жирный" родовой столб.

[31]См.: *Cassirer E.* Op. cit. Dritter Teil: Phänomenologie der Erkenntnis. B., 1929. 108 и сл. (Kapitel III. Die Ausdrucksfunktion und das Leib-Seelen Problem), особенно о том присущем бытию *hiatus irrationalis*, который соотносится с противопоставлением "телесного" и "душевного". Ср.: "Man entgeht diesen Gegensätzen zuletzt nur dadurch, daß man wieder zu ihrer eigentlichen Quelle hinabsteigt: daß man sich in den Mittelpunkt jener s y m b o l i s c h e n Relation zurückversetzt, in der, im reinen Ausdrucksphänomen, Seelisches auf Leibliches, Leibliches auf Seelisches bezogen erscheint. Die Eigenart dieser Relation aber kann freilich als solche erst dadurch hervortreten, wenn man über sie hinausgeht — wenn man die Ausdrucksfunktion nicht als ein isoliertes Moment, sondern als Glied innerhalb eines übergreifenden geistigen Ganzen betrachtet und innerhalb dieses Ganzen ihre Stellung zu bestimmen und ihre besondere Leistung zu verstehen sucht" (Op. cit. 121). Ср. Erster Teil, 208—210 — "Die Sprache und das Gebiet der "inneren Anschauung". — Die Phasen des Ichbegriffs".

[32]Ср.: "Die Ausdrücke für "ich" oder "mich" werden daher durch andere, die etwa mein Sein, mein Wesen oder auch in "drastisch-materieller Weise", "mein Körper" oder "mein Busen" besagen, ersetzt ... In ähnlicher Weise wird z. B. im Hebräischen das Reflexivpronomen nicht nur durch Worte wie Seele oder Person, sondern auch durch solche wie Antlitz, wie Fleisch oder Herz wiedergegeben ...". См.: *Cassirer E.* Op. cit. I. 210—211.

[33]В памятниках древнетюркской орхонской письменности *bod* обозначало просто тело, организм, существо (ср. в тексте в честь Тоньюкука, 4: *Bod qalmady* 'не осталось /государственного/ организма' и т.п.). См.: *Малов С.Е.* Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.; Л., 1951, 61, 372 и др.

[34]Ср. подчеркивание Платоном разницы между м а т е р и е й как чистым становлением и п р о с т р а н с т в о м как некиим оформлением ("Тимей").

[35]Уже раньше указывалось, что *Я* и тело н е являются двумя различными объективно познаваемыми состояниями, находящимися в причинно-следственной связи. "Sie sind e i n e s und d a s s e l b e, nur auf zwei gänzlich verschiedene Weisen gegeben, — как пишет Кассирер вслед за Шопенгауэром. — Die Aktion des Leibes ist nichts anderes, als der objektivirte, d.h. in die Anschauung getretene Akt des Willens — der Leib ist nichts, als die O b j e k t i v i t ä t d e s W i l l e n s selbst" (Op. cit. I. 223), см. "Welt als Wille und Vorstellung" Шопенгауэра.

[36]Интенсифицирующий аспект в слове *ātmán*, собств. — 'дыхание', помимо таких уже указанных значений, как 'душа' и 'сам; себя' (возвратность), фиксируется и в других употреблениях слова, где *ātmán* — 'сущность; природа; характер;

специфическая особенность; высший личностный принцип жизни' (Брахма), но и тело (личность) в его целостности и противопоставленности отдельным частям тела, ср. также связь *ātmán* с идеей одушевленности и интеллекта, разума.

[37]Или абстрактно-личностно, в смысле конструкций типа *бывало, ты встаешь, идешь, видишь...* (когда речь вовсе не идет о партнере по диалогу).

[38]"Die Sprache scheint gerade, wenn wir sie zu ihren frühesten Anfängen zurückzuverfolgen suchen, nicht lediglich repräsentatives Zeichen der Vorstellung, sondern emotionales Zeichen des Affekts und des sinnlichen Triebes zu sein", см.: *Cassirer E.* Op. cit. I. 89.

[39]В "Федре" Платон вкладывает в уста Сократа фразу о том, что "величайшие для нас блага возникают от неистовства (γίγνεται διὰ μανίας)" (244a), с существенным дополнением — "правда, когда оно уделяется нам как Божий дар". Точнее, подробнее и, главное, в связи с поэтическим творчеством говорится об этом же несколько далее — "Третий вид одержимости и неистовства (κατοκωχή τε καὶ μανία) — от Муз, он охватывает нежную и непорочную душу [ср. о душе-атмане и о манасе в сходной функции. — *В.Т.*], пробуждает ее, заставляет выражать вакхический восторг в песнопениях (ἐκβακχεύουσα κατά τε ᾠδάς) и других видах творчества [...] Кто же без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом, тот еще далек от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых" (245a). Примерно то же говорит и Аристотель: "поэзия есть область одаренности или вдохновения (μανικοῦ).

[40]Тот известный факт, что певец говорит о своем возбуждении, о творческой дрожи во время исполнения гимна, должен быть соотнесен с употреблением *mánas* и под. с корнем *vip-* 'дрожать; трепетать' (ср. лат. *vibrāre*,др.-англ. *wīpian*, др.-исл. *veifa*, тох. B *wip-*, лит. *výburti* и т.п.); ср. *vip- & mánas*, о дрожащем манасе (*máno... vípaḥ...* RV X, 61, 3), а также *vip- & matí*, о дрожащей мысли (IX, 71, 3: *vepate matí*; X, 11, 6: то же, ср. также *matír... víprā* ... VII, 66, 8; *vípra ... matí*,VIII, 25, 24), *vip- & mánman*, о дрожащей, взволнованной, одушевленной молитве (*vipra mánabhir*. I, 127, 2; *viprasya mánmanām*. I, 151, 6; ... *mánmanā ... kavír víprena vāvṛdhe*. VIII, 44, 12; *íḍyo víprebhiḥ ... mánmabhiḥ*. VIII, 60, 3; ср. также сложное слово *vípra-manman*, об имеющем дрожащую молитву: ... *kavér... vípramanmano...* 'певца .., делающего молитвы одушевленными ...'). В этом же ряду и *vip- & vācas*, о "дрожащем" слове (речи), как в RV IX, 96, 7 (*prāvīvipad vācá*), ср. *vipra-vacas*, о том, чьи слова одушевлены, и *vipra-citta* и т.п.

[41]Ср.: "Это почтительное восхваление (*stómo*), о Маруты, выточенное /"вытесанное"/ сердцем (и) манасом-мыслью (*hṛdá taṣṭó mánasā*), сложено для вас, о боги. Приблизьтесь, наслаждаясь манасом-мыслью (*mánasā*). Ведь вы те, кто усиливает поклонение!" (RV I, 171, 2) или: "Вместе сливаются потоки (речи), словно ручейки, очищаемые внутри сердцем и манасом-мыслью (*hṛdá mánasā*)" (RV IV, 58, 6). Понятно, что в подобных контекстах *mánas* практически то же, что μανία в платоновском понимании, хотя более точное соответствие ему — др.-греч. μένος, обозначающее и сильные эмоции — ярость, гнев, злобу, бешенство, стремительность, неукротимость и т.п., и силу, мощь, жизненную силу и самое жизнь (ψυχή τε μένος τε, у Гомера), и кровь (μέλαν μένος, как источник силы и гнева, у Софокла), но и намерения, мысль и даже душу, суть, сущность (см. выше).

[42]Такие сопоставления вплоть до экспериментальных переводов иногда восстанавливают картину, которая, при том, что она никак не может служить доказательством реальности самого принципа сопоставления, тем не менее как бы углубляет потенциальную типологию контекстов соотносимых явлений. Так, известная новозаветная формула о предании себя (меня),с своего (моего) тела и души в руки Бога в старолитовской версии вилентовского "Энхиридиона" — ... *mane, Kuna mana ir dusche...* (19, 20 — 20, 1) — условно могла бы быть передана в ведийском приблизительно как *mām, tanvam mama* (< **mana; me*), *manas* .., сразу намечающим точки сопряжения продолжателей двух и.-е. **men-*.

[43]И далее — как контраст — о тишине, Той — *до* всего, *после* всего, о которой в последнем стихе сказано: *Полнее не выразишь: полной* и которая покрывает и сказанное и несказанное.

[44]*Откуда, как разлад возник? И отчего же в общем хоре / Душа не то поет, что море,/ И ропщет мыслящий тростник?* — тоже об этом (Ф. Тютчев).

[45]Древнеегипетские данные в этом отношении особенно показательны, и они, пожалуй, первые из известных в том ряду, который лучше всего известен по началу Евангелия

от Иоанна — "В начале было Слово...". Ср. в гелиопольской версии мифа о сотворении мира: "Я тот, кто воссуществовал как Хепра [одно из наименований солнечного бога; здесь игра слов — *хепер* 'существовать', *хепру* 'существование'. — *В.Т.*]... Воссуществовали все существования после того, как я воссуществовал, и многие существа вышли из моих у с т... Я размыслил в своем сердце, задумал перед моим лицом. И я создал все образы, будучи единым, ибо я (еще) не выплюнул Шу, я (еще) не изрыгнул Тефнут...". Или в мемфисской версии того же мифа: "Возникла в сердце (мысль) в образе Атума, возникла на я з ы к е (мысль)... Случилось, что сердце и язык получили власть над (всеми) членами, ибо они познали, что он (Птах) в каждом теле, в каждом р т у всех богов... ибо он повелевает всеми вещами, какими желает.. Девятка же богов (Птаха) — это зубы и губы в этих устах, называвших имена всех вещей... Девятка создала зрение, слух ушей, дыхание носа, чтобы они осведомляли сердце. Ибо это именно оно дает выходить всякому знанию, а я з ы к повторяет все задуманное сердцем". См.: *Матье М.Э.* Древнеегипетские мифы. М.; Л., 1956. 83—84. Поражают аналогии с манасом и та связь, которая обнаруживается между мыслью, возникшей в сердце, и языком, воплощающим задуманное в сердце, в слове.

[46]Пережиточно и в некоторых ныне существующих культурах, но в особых ситуациях и у отдельных "мифопоэтически" чутких рассказчиков (помимо имеющихся описаний автору этих строк пришлось встречаться с подобным явлением у кетов при рассказывании меморатов, иногда сказок и т.п.).

[47]Учитывая возможности правого полушария мозга в отношении речи, в контексте рассматриваемой здесь темы нельзя пройти мимо установленной зависимости между эйфорией и дефицитом функций правого полушария. Возможно, что эта зависимость многое объяснит в развитии культуры человечества.

[48]Из последних работ см.: *Алексеев Н.А.* Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск, 1984, 98 и сл. (здесь же — обширная литература вопроса).

[49]Частный вариант — "говорение" на разные голоса. Ср. также особый "шаманский" язык, специфическое "шопотное" произношение и т.п.

[50]Этому "опустошению" жизненной силы при умирании (реальном или символическом) соответствует "опустошение" наследия покойного, всего, что ему принадлежало, в ряде архаичных похоронных обрядов. Это опустошение—изживание должно быть совершено, пока покойник еще не предан погребению или сожжению. Невыполнение этой задачи может отрицательно повлиять на переход покойника в мир мертвых. Он должен быть освобожден от земных связей, подобно тому, как оставшиеся в живых члены семьи и родственники должны со своей стороны совершить "искупительный" обряд (типа индийского *śāntikarman*), который помогает отторгнуть от себя все, что связано с умершим, и вывести жизнь из-под угрозы смерти.

[51]Идея "опустошения", отчетливо возникающая в подобных случаях и даже имеющая для своего выражения особые termini technici, таит в себе соблазн соотнесения "опустошающегося" во время говорения *Я* — **eg'h-om* с такими обозначениями отсутствия—опустошения, как и.-е. **g'hē-*, **g'hei-* 1 'быть пустым; отсутствовать; покидать' (ср. др.-инд. *jáhāti*, авест. *zazāmi*, гомер. κιχάνω, аттич. κιγχάνω / < **ghə-n-u̯-/*, гот. *gaidw* и т.п.) или **g'hē-*, **g'hə- : *g'hēi-*, **g'hī-* 2 'зиять; пустовать' и т.п. (ср. др.-греч. χάσκω : χάσμα, лат. *hiō* умбр. *ehiato* 'emissos', лит. *žióti*, слав. **zijati* и др.), см. Pokorny I, 418—420, ср. там же 292—293 об и.-е. **eg'hs* 'из' (как изъятие, выход и т.п.): др.-греч. ἐξ лат. *ex*, др.-ирл. *ess-*, лит. *iš*, лтш. *iz*, прусск. *esse*, слав. **iz* и др. — при др.-греч. ἔσχατος 'крайний; конечный; последний' и т.п. В пределе **e-g'h-om* (& **men-*) — как 'вот-изъятие (опустошение, пустота, зияние) (& меня, жизненной силы, некоего ее органа и т.п.)'. Ни к чему не обязывая, эти параллели по-своему реализуют ту же идею опустошения и ее результата — зияния.

[52]О комплексе "говорить—думать" писалось немало. Заслуживают особого внимания недавние герменевтические исследования на эту тему В. Айрапетяна.

[53]Это говорение *Я* в переводе на язык современной философской традиции и составляет содержание прорыва к сфере бытийственного, к бытию (точнее, может быть, начало того пути, на котором оно тысячелетиями позже будет опознано как высшая реальность). В этом смысле можно думать, что **eg'h-om* & **men-* относится к тому же кругу понятий, что и и.-е. **es-* 'быть'. Будущее *Я* — *есмь* своего рода фиксация этой связи при том, что она предполагает и ближайшего другого, *Ты*, о котором известно тоже *Ты* — *еси* (*tad tvam asi* индийского умозрения). И тем не менее этому

ты все-таки более сродни и.-евр. **bhū-* 'быть', из 'стать; возрасти' и т.п. (др.-греч. φύω и др.; ср. обилие "растительных" обозначений от этого корня), что подтверждается и ностратическими данными, см. *Иллич-Свитыч В.М.* Опыт сравнения.., [I] 1971. 184—185. Эти соотнесения дополнительно поддерживают мысль о том, что *Я* — это место и чистая функция, а *ты* — заполнение этого места и конкретное воплощение функции. Но именно *ты* — ближайший повод для актуализации *Я*.

[54] См. "Vom Ich als Prinzip der Philosophie" Шеллинга.

Л.А. Сараджева

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

К этимологии арм. *mak'ur* 'чистый'

Для армянского слова *mak'ur* 'чистый' до сих пор не предложено убедительной этимологии (Ачарян III, 292).

Слово имеет длительную историю, встречается уже с V в., оно является основой для сферы понятий, весьма интересных с точки зрения семантической эволюции: помимо стилистически нейтрального значения 'чистый' (ср. также *anmak'ur* 'грязный', *dzwaramak'ur* 'трудноочищаемый', *kisamak'ur* 'получистый', *geramak'ur* 'сверхчистый' и др.), имеются и значения, относящиеся к сакральной сфере: 1. 'святой, непорочный, посвященный богу, храму'; 2. 'очищенный огнем' (*hramak'ur*); 3. 'блестящий, чистый' — эпитет Меркурия.

На заре развития индоевропейского сравнительного языкознания некоторые ученые уже искали этимологические параллели для этого слова в лексике индоевропейских языков, однако убедительных решений найдено не было. Виндишман[1] сопоставлял арм. *mak'ur* с греч. μάκαρ 'блаженный, счастливый, благоденствующий, богатый', Тервишьян[2] — с скр. *marj-* 'вытирать, украшать'.

Ачарян, пытаясь объяснить происхождение арм. *mak'ur*, приводит слова из семитских языков, однако не считает их источником для армянского слова: сир. *məraq* 'очищать', *marīqā* 'чистый', арам. *mrq*, ивр. *māruq* 'чистый' и др. (Ачарян III, 292).

По нашему мнению, путь к решению этимологии арм. *mak'ur* предоставляет индоевропейская основа **măk* 'мокрый, влажный' и ее континуаты: ст.-слав., др.-русск. мокръ, рус. *мокрый*, укр. *мокрий*, блр. *мокры*; болг. *мокър*, серб. *мȍкар, мȍкра*, чеш. *mokrý*, польск., в.-луж. *mokry*, н.-луж. *mokšy* — все в значении 'мокрый'; лит. *makõnė* 'лужа', *maklỹnė* ж.р. 'грязь', *maknóti, maknóju* 'идти по грязи', *į̃maku, įmakė́ti* 'входить в болото', далее ирл. *mōin* 'болото, топь'[3].

В структурном плане здесь можно видеть отражение гетероклитических основ на **-r/n-* или суффиксальное *-r-*, причем наибольшая близость обнаруживается между армянским и славянским. Интерконсонантное *-u-* в армянском является результатом позднего развития: либо вторичной огласовкой (ср. *ump* 'глоток' при *əmpem* 'пью'), либо одной из трансформаций первичных гетероклитических основ (ср. *garun* 'весна' из и.-е. **u̯esr̥-* 'весна', по-видимому, по аналогии с *ašun* 'осень').

Для армянского можно предположить следующее развитие значения: 'мокрый' → 'мытый' → 'очищенный, чистый' — переход, как увидим ниже, свойственный и другим языкам. Тонкое и сложное развитие первоначального и.-е. значения **māk-* 'влажный, мокрый' можно обосновать и экстралингвистическими факторами, относящимися к этнографии и психологическим особенностям того или иного народа: в армянской языковой традиции следует отметить веру в целительную силу воды, влаги (арм. *anmahakan* 'бессмертный') и сакрализацию рек, источников, водоемов (ср., к примеру, священная река Арацани, священный источник *ǰrornek* и др.).

В этой связи интересно упомянуть и сакральное значение в гнезде и.-е. **māk-*, имеющее место в славянской языковой традиции, — это имя восточнославянской богини Мокоши. По мнению Л.Нидерле[4], Мокошь представляла собой божество, подобное Афродите или Астарте, почитание которого в Киеве находится в прямой связи с влиянием какого-то восточного культа. В севернорусском фольклоре она удержалась по сей день, хотя представление о ней значительно изменилось.

Механизм семантических движений основан на общих свойствах человеческой психики и мышления. Поэтому, допуская то или иное идеосемантическое различие, как это вытекает из сопоставления арм. *mak'ur* 'чистый' и примеров из других индоевропейских языков, очень важно подкрепить его аналогичными семантическими переходами.

Примерами аналогичного развития могут служить некоторые дериваты от индоевропейских основ, для которых восстанавливается первоначальное значение 'влажный, мокрый; мыть (очищать)'.

И.е. **meu̯-*, **mū̆-* 'влажный, мыть' в отдельных языках представлено следующими переходами: слав. **myti* 'мыть (очищать)' при польск. *muł* 'болото', арм. *-moyn* 'погруженный в воду', лат. *mundus* 'нарядный, чистый, красивый', аналогично в германских: нидерл. *mooi*, ср.-индерл. *moy*, н.-нем. *moi(e)* 'прекрасный' (< **mou-i̯o*), собственно 'вымытый' (Pokorny I, 741). "Венцом семантической деривации этого ряда, — пишет О.Н. Трубачев, — является лат. *mundus* 'мир, вселенная', первоначально — употребление в этом новом значении слова *mundus* со значением 'украшение' (субстантивация вышеназванного прилагательного): семантическое новообразование *mundus* I 'украшение' → *mundus* II 'мир' в духе греч. κόσμος 'красота' и 'мир' (как 'упорядоченная красота')..."[5].

И.-е. **neigᵘ̯-* 'мыть': др.-инд. *nénekti* 'моет, чистит', греч. νίζω 'мыть, умывать', νίπτρον 'вода для омовения', др.-ирл. *nigid* 'моет', *necht* 'чистый'.

И.-е. **u̯elk-*, **u̯elg-* 'влажный, мокрый'; ст.-слав. влага, рус. *волога*, польск. *wilgoć* 'влажность', др.-рус. *волога* 'похлебка, пища', рус. диал. 'жидкость', рус. *воложить* 'готовить на масле'; лит. *válgyti* 'есть' при *vìlgyti* 'мочить', лит. *pavalgà* 'приправа, закуска', ирл. *folc* 'поток', *folcaim* 'мою' и др. Интересно отметить, что у славян название молока образовано также от корня, обозначающего влагу: ср. праслав. **melko* при **molkyta* 'болото, топь' (Фасмер II, 645).

Аналогичность определенных семантических переходов в разных

языках — важнейшая путеводная нить в сложном лабиринте исторической семасиологии. Любое семантическое развитие, как бы оно ни казалось неожиданным с первого взгляда, может стать основой этимологического решения, если оно повторяется независимо в нескольких языках.

К этимологии арм. *erkir* 'земля'

Арм. *erkir* 'земля' давно привлекает внимание этимологов, по поводу его происхождения были высказаны самые различные мнения, однако и сейчас оно является одним из трудных слов, для этимологии которого в индоевропеистике нет окончательного решения.

Попытки объяснения происхождения данного слова имелись еще в период до создания индоевропейского сравнительного языкознания: при этом интересно отметить, что средневековые армянские авторы, предвосхитив идеи А. Мейе, связывали арм. *erkir* 'земля' и *erkir* 'небо' с числительным *erku* 'два' (обзор данной проблематики см.: Ачарян II, 62—64).

Последующие исследователи предлагали различные этимологии, среди которых, в частности, можно выделить две основные точки зрения.

Как было упомянуто, А. Мейе связывает арм. *erkir* с основой числительного 'два' — *erku* (из и.-е. **du̯ō-*)[6]. Эта этимология в дальнейшем поддерживается В. Пизани[7], Й. Кноблохом[8] и Вяч. Вс. Ивановым[9], которые ищут различные семантические основания для ее лингво-этимологического истолкования. Интересна попытка Й. Кноблоха, который восстанавливает две контаминированные формы: **du̯eiro* > *erkir* и **du̯eino* > *erkin*, рассматривая первую как активную (на *-r*) и вторую как пассивную (на *-n*).

Этой же этимологии придерживается и В. Орел: в своей недавней статье, специально посвященной этимологии арм. *erkir* 'земля', опираясь на точку зрения Кноблоха, он пытается привести дополнительные данные в пользу этой этимологии: арм. *erkir* 'земля' сопоставляется с кельтскими параллелями, имеющими то же значение: ст.-валл. *dair, dayr,* валл. *daear,* корн. *doar, doer, dor, dour,* брет. *douar.* Для этих слов реконструируется исходная форма **dwijaro-* или **dwejaro-*, которая сопоставляется с арм. **du̯eiro-* > *erkir*[10].

Недостаточная обоснованность семантического перехода от значения 'два' к значению 'земля', результатом чего является отрыв от реалий в соединении с чрезмерной отвлеченностью построений, отсутствие надежных параллелей для арм. *erkin* 'небо', явно ассоциируемого с *erkir* 'земля', дают основания для поиска другого решения.

Вторая этимология принадлежит А. Фику, который сопоставлял арм. *erkir* с кимр. *erw,* др.-в.-нем. *ero* 'земля', восстанавливая при этом праформу **erweri* (Fick[2], 47). Несмотря на то, что эта этимология не показалась убедительной Г. Гюбшману ввиду фонетических и словообразовательных трудностей, к ней вновь, через некоторое время, возвращается Х. Педерсен[11]. Для армянского и кельтского

он восстанавливает детерминатив *-*u̯*- (ср. кимр. *erw*), предполагая для арм. следующий переход: **eru̯* > **erg*; при этом *k* в *erkir*, вместо ожидаемого *g*, считается результатом влияния *erkin* 'небо'[12].

Этимология принимается и Ю. Покорным, который восстанавливает и.-е. корень **er-* 'земля' с детерминативами *-*t*- и *-*u*-: греч. ἔρα 'земля', герм. **erþō* (гот. *airþa*, др.-сев. *jǫrð*, др.-в.-нем. *erda*), герм. **erō* (др.-в.-нем. *ero*) (Pokorny I, 332).

По нашему мнению, данные балтийских языков, в частности, лит. *érdvė* 'пространство', дают возможность для обоснования второй этимологии, способствуя, по всей вероятности, окончательному решению этимологии арм. *erkir*.

Традиционно лит. *érdvė* 'пространство' связывается с лит. *ardýti* 'обламывать, отламывать', лтш. *ārdît* 'пороть, распарывать' и под. (Fraenkel 15—16). При этом следует отметить попытку О. Гофмана, который впервые сопоставил лит. *érdvė* и греч. ἔρας 'земля', гот. *airþa*, др.-сев. *jǫrð*, др.-в.-нем. *erda*[13]. Однако он явно неудачно приводит в качестве этимологической параллели арм. *art* 'поле, нива', которое восходит к другому источнику (и.-е. **ag'-ro*).

Если лит. *érdvė* принадлежит к группе слов, продолжающих и.-е. **er-* 'земля', то оно хорошо объясняет и фонетический облик арм. *erkir*. Для армянского так же,как и для литовского, представляется возможным реконструировать праформу **er-du̯ēr*. Для армянского переход **du̯* > *k* для неначальной позиции является закономерным (ср. **meldu̯i-* > *mełk* 'мягкий'). Конечное -*r*, реконструируемое для литовского, отпало вследствие акцентологических сдвигов (ср. аналогичное развитие лит. *duktė̃* 'дочь' из и.-е. **dhughətḗr*, *mótė* 'женщина' из и.-е. **mātḗr*)[14].

Если сопоставление арм. *erkir* и лит. *érdvė* корректно, то можно указать на особенно близкую связь армянского и литовского слов в качестве эксклюзивной изоглоссы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Windischmann F.* Die Grundlage des Armenischen im Arischen Sprachstamme // Abhandlungen der ersten Klasse der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1840, 4, 2. 9.

[2] *Dervischjan A.* Das Altarmenische K'. Wien, 1877. 58.

[3] Были сделаны и неудачные попытки возведения армянских слов к корню **măk-*: Педерсен возводит к нему арм. *mkrtel* 'погружать' (*Pedersen H.* Armenisch und die Nachbarsprachen // KZ. 39. 1906. 481), а Покорный — арм. *mōr* 'болото, грязь' (< **măkri-* (Pokorny I. 698), причем для этого слова приводит и другую этимологию (Там же. 742), возводя к **meu̯-ro-*, что является более убедительным.

[4] *Нидерле Л.* Славянские древности. М., 1956. 280.

[5] *Трубачев О.Н.* Приемы семантической реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. М., 1988. 213.

[6] *Meillet A.* // Mélanges Émile Boisaque. Bruxelles, 1937, I. 1.

[7] *Pisani V.* Ricerche di morfologia indeuropea // Miscellanea Giovanni Galbiati. Milano, 1951, III. 6.

[8] *Knobloch J.* Zu armenisch *erkin* "Himmel", *erkir* "Erde" // Handes Amsorya. Vienne, 1961, N 10—12, 541—542.

[9] *Иванов Вяч. Вс.* Использование для этимологических исследований сочетаний однокоренных слов в поэзии на древних индоевропейских языках // Этимология. 1967. М., 1969. 47—49.

[10] *Orel V.* Arm. *erkir* // Annual of Armenian Linguistics, v. 9, 1988. 17—18.

[11] *Pedersen H.* Zur armenischen Sprachgeschichte // KZ. 38. 197.
[12] Этой же этимологии придерживается и Г.Б. Джаукян, см.: *Джаукян Г.Б.* Очерки по истории дописьменного периода армянского языка. Ереван. 1967. 64.
[13] *Hoffmann O.* // Festschrift Bezzenberger. Göttingen, 1921. 82 и след.
[14] *Герценберг Л.Г.* Реконструкция индоевропейских слоговых интонаций // Исследования в области сравнительной акцентологии индоевропейских языков. М., 1979. 35.

Г.А. Климов

ИНДОЕВРОПЕЙСКОЕ **SṶOMB(H)O* ~ КАРТВЕЛЬСКОЕ **ÇUMP̣-*

В составе существенно возросшего за два последних десятилетия фонда индоевропейско-картвельских лексических параллелизмов, свидетельствующих, как можно думать, о древнейших контактах носителей соответствующих языков, обращает на себя внимание небольшая, но интересная группа слов, связанная с обозначением в целом довольно нехарактерных для кавказской действительности атрибутов низменной и болотистой местности. В специальной литературе в этой связи так или иначе уже упоминались такие картвельские лексемы, как груз. *dube-* 'низина, впадина'[1], *lam-, šlam-* 'ил, тина', *çumpe-* 'лужа грязи'[2], *çurbela-* 'пиявка'[3] (сюда же теперь следует присоединить груз. *anḳara-* 'уж', *lia-* 'грязь, ил', груз. диалектное *rabo-* 'канава'), мегр.-лаз. *leṭa-* 'глина, грязь', *ǯ̌vabu-, žvabu-* 'лягушка', сван. *diγwam-* 'плодородная земля в низине' и некоторые другие (для более поздней эпохи отмечены заимствования подобного рода из армянского).

В настоящей заметке предпринята попытка показать, что грузинско-занская глагольная основа *çump̣-, zump̣* 'промокнуть, пропитаться влагой' и индоевропейское **suomb(h)o* 'пропитанный влагой, губчатый' не являют собой, как это представлялось в свое время Х. Вугту, "сирены созвучия", обязанной игре случая, а скорее обусловлены фактором древних языковых контактов между картвелами и индоевропейцами.

Обращаясь к грузинскому материалу, здесь прежде всего необходимо назвать такие глагольные лексемы, как гурийск., аджар. и джавах. *ga-zump̣-va* 'промокнуть, намокнуть'[4], имер. и джавах. *cump̣-va* той же семантики[5], а также картл. *da-çmp̣l-va* 'слегка намокнуть'. По-видимому, производным от этого глагола со словообразовательным аффиксом *-e* является широко распространенное грузинское обозначение лужи грязи и мелкого болотца *çump̣e-* (ср. также явно вторичную форму рачинского и имеретинского диалектов *ṭump̣e* и имер. *ṭump̣o-*, представляющие собой дальнейшие преобразования последнего). Та же основа налицо в таких грузинских диалектных формах, как джавах. *çump̣l-* 'брызга грязи'[6], ингил. *çump̣al-* 'крупная капля' и лечхум. *zump̣e(la)-* 'глог, свидина (раст.)'[7].

Основа достаточно широко представлена и в занской ветви картвельских языков. В частности, в мегрельском она отражена в глаголе *do-çump-ua* 'промокнуть, забрызгаться грязью', от которого здесь произведено причастие *doçumper-, doçumpel(e)-* 'промокший, забрызганный грязью' (именная лексема *çumpe-* имеет в мегрельском довольно ограниченное распространение и иногда даже квалифицируется информантами как грузинизм). Засвидетельствована рассматриваемая основа и в лазском языке, где ее выявляют как глагольную лексему *o-çump-u, o-çomp-u* 'намокнуть, пропитаться влагой' (ср. аористную словоформу 3 л. ед. числа *diçumpu* 'он вымок'), так и атрибутив *çumper-* 'промокший с головы до ног'[8]. Она отсутствует по существу лишь в сванском, где спорадически встречающееся *çüpm-, çwimp-* 'лужа' воспринимается носителями языка как безусловный грузинизм.

В свете приведенных данных складывается впечатление, что в рассматриваемом случае перед нами одна из многочисленных грузинско-занских материальных общностей. Нетрудно убедиться, что она обнаруживает в картвельской языковой области отчетливый западный центр тяготения, в первую очередь сопряженный с контурами исторической Колхиды. Такой вывод подтверждается, в частности, тем обстоятельством, что с продвижением с запада на восток, а также — с юга на север картвельского ареала наша основа оказывается все менее известной (например, по расспросным сведениям, она неизвестна в горских восточногрузинских диалектах).

Фонетическая история корня — особенно ввиду совершенно необычного для картвельского материала чередования начального согласного — остается неясной. Во всяком случае предлагаемому в настоящей заметке сопоставлению нисколько не мешает точка зрения Ф. Найсера, согласно которой грузинский субстантив *çumpe-* восходит к более ранней форме *çumbe-,* отмеченой в толковом словаре Сулхана Орбелиани[9] (если отмеченный в древнегрузинском глагол *mçubvo-* 'валяться (в воде, грязи)' и относится сюда же, то в нем, скорее всего, налицо метатеза согласных). Таким образом, если попытаться спроецировать имеющийся в нашем распоряжении материал в грузинско-занское состояние, то в качестве соответствующего ему архетипа будет естественным реконструировать **çump-* или **çumb-*.

В кавказоведческой литературе картвельская основа уже неоднократно сопоставлялась с известным индоевропейским обозначением впитывающего влагу, губчатого или пористого вещества, реконструируемым в виде **suomb(h)o,* продолжения которого зафиксированы в германской и греческой ветвях: ср. герм. *suomba* (др.-в.-нем. *swamp* 'губка', англ. *swamp,* нем. *Sumpf* 'болото, трясина'), греч. σομφος 'губчатый, пористый' (Pokorny I, 1052; Boisacq, 687). В. Мерлинген высказывал также предположение о принадлежности слова к пеласгскому наследию в греческом[10]. Не вызывает сомнений и далеко идущая семантическая близость сопоставляемых величин.

Одним из критериев отнесения картвельской основы к числу индоевропеизмов (независимо от степени прочности слова в самом индо-

европейском корнеслове) может служить то обстоятельство, что она обладает некоторыми признаками дескриптивных — звукосимволических — образований, характерных для индоевропейских языков. Так, Р. Пфистер считает, что, с одной стороны, в соответствующей индоевропейской основе выделим имеющий довольно широкую понятийную соотнесенность ономатопоэтический комплекс *su*, с чем, впрочем, не обязательно соглашаться, а с другой стороны, что здесь налицо и иной аналогичный звукокомплекс *mp* с экспрессивным *p*, особенно характерный для германских языков[11] (напротив, в исконно картвельских корнях последний комплекс, как в этом нетрудно убедиться по исследованиям картвелистов в области фонемной синтагматики картвельских языков, почти не встречается, вследствие чего его предложено причислять к так наз. неканоническим[12]). О том же, по-видимому, говорит и отмеченная выше принадлежность картвельской основы к характерной понятийной сфере, другие лексические корреляты которой также должны восходить к индоевропейскому источнику. Наконец, в пользу такого же решения может в какой-то степени свидетельствовать и ареальная соотнесенность рассмотренного материала преимущественно с западной и, особенно, — юго-западной частью картвельской языковой территории, непосредственно примыкающей к Восточной Анатолии, наличие индоевропейской речи для которой в эпоху до широкой хурритско-урартской экспансии во II тысячелетии до н.э. вполне вероятно.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Jedlička J.* Georgische Etymologien und Vergleichungen // Bedi Kartlisa (Revue de Kartvélologie). Vol. XIII-XIV. 1962. 106.

[2] *Vogt H.* Arménien et Caucasique du Sud // Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap. Bind IX, 1939. 337; Меликишвили Г.А. К вопросу о древнейшем населении Грузии, Кавказа и Ближнего Востока. Тбилиси, 1965. 224—225 (на груз. яз.).

[3] *Gudjedjiani Ch., Palmaitis M.L.* Upper Svan: grammar and texts//Kalbotyra. XXXVII (4), 1986. 100 (с ссылкой на А.Г. Шанидзе).

[4] *Глонти А.А.* Словарь грузинских народных говоров. Тбилиси, 1984. 116 (на груз. яз.); *Беридзе Г.М.* Лексический материал джавахского диалекта. Тбилиси, 1981. 26 (на груз. яз.).

[5] *Ниджарадзе Ш.* Аджарский диалект грузинского языка. Лексика. Тбилиси, 1971. 420 (на груз. яз.).

[6] *Беридзе Г.М.* Указ. соч. 166.

[7] *Глонти А.А.* Указ. соч. 712.

[8] *Кутелия Н.С.* Фонематическая структура лазского языка (сегментные фонемы и группы фонем: парадигматика, синтагматика)//Дис. ... доктора филол. наук. Тбилиси, 1987. 122.

[9] *Neisser F.* Studien zur georgischen Wortbildung. Wiesbaden, 1953. 16.

[10] *Merlingen W.* (Рец.). Van Windekens A.J. Le Pelasgique. Essai sur une langue indo-européenne prehistorique. Louvain, 1952//IF. Bd. LXI. H. 2/3. 1954. 298.

[11] *Pfister R.* Onomatopoetisches su//IF. Bb. LXI. H. 1. 1954. 90, 100.

[12] *Жгенти С.М.* Сравнительная фонетика картвельских языков. I. Проблема структуры слога. Тбилиси, 1960. 59—60 (на груз. яз.); *Гудава Т.Е., Гамкрелидзе Т.В.* Консонантные комплексы в мегрельском//"Акакию Шанидзе". Тбилиси, 1981. 208—209 (на груз. яз.).

Я.Г. Тестелец

ОБ ОДНОМ ТИПЕ РЕДУПЛИЦИРОВАННЫХ ОСНОВ В КАРТВЕЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

В картвельской этимологии известна группа сближений между грузинским и занскими (мегрельским и лазским) языками типа груз. $\neq C_1VC_1K(\text{-}n\text{-})$- — мегр. $\neq C_1K_1VC_1K_1(\text{-}on\text{-})$- — лаз. $\neq C_1VC_1K(\text{-}on\text{-})$-, где *C* — переднеязычный шумный, *K* — второй компонент децессивного комплекса (*CK*)[1], *V* — гласный, который здесь может сопровождаться сонантом; заключенный в скобки суффикс (< прагруз.-зан. *-wn̥-*) представлен в части основ.

Перечислим эти сближения: (1) груз. *çeçḳ-* 'размельчать зубами, жевать', мегр. *çḳaçḳ-* 'жевать' (Fähnrich IV, 36[2]); (2) груз. *ǯeǯg-* 'мягко стучать', мегр. *ǯgaǯg-* 'бить, мягко стучать', лаз. *ǯaǯg-* 'бить, мягко стучать' (Fähnrich I, 38; Sardschweladse, 24[3]); груз. *ʒeʒg-* 'давить, мять', мегр. *ʒgaʒg-* 'жевать' (Fähnrich I, 38); (4) груз. *čečk-* 'долбить, размягчать ударами', мегр. *čkačk-* 'разламывать', расщеплять', лаз. *čačk* - (Климов, 219[4]), (6) груз. *čečḳ-* 'резать мелко', мегр. *čḳačḳ* (Климов, 255); (7) груз. *čečg-* 'мять, давить', мегр. *čq̇ačq̇-* (Климов, 255); (8) груз. *ʒiʒgn-* 'щипать (крупно)', мегр. *ʒgəʒgon-, ʒgiʒgon-* (Климов, 235); (9) груз. *ǯiǯgn-* 'терзать, драть, щипать (грубо)', мегр. *ǯgəǯgon-, ǯgiǯgon-* (Климов, 269); Н.С. Кутелиа[5] (с. 47—48) предлагает сюда же лаз. *ǯaǯg-* (то же) с неясным вокализмом, ср., однако, (14); (10) груз. *čičkn-* 'ковырять, рыться, копаться', мегр. *čkičkon-* 'рыться, копаться, плохо есть' (Климов, 220); (11) груз. *cickn-* 'щипать (мелко)', мегр. *çkəçkon-. çḳiçḳon-* (Климов, 225); (12) груз. *çiçḳn-* 'щипать (мелко), клевать', мегр. *ckəckon-, cḳicḳon-* 'есть (брезгливо)' (Климов, 244); (13) груз. *titxn-* 'пачкать(ся)', мегр. *txitxon-* (Климов, 94); (14) груз. *ǯiǯγ-* 'дрозд', мегр. *ǯγirǯγ-, ǯgorǯg-* (Fähnrich III, 29[6]), сюда же, по-видимому, лаз. *ma-ǯaǯγ-e, ma-ǯaǯγ-a* 'название птицы, возможно, дрозда"[7]; (15) груз. *ǯoǯg-an-a* 'подпорка для свисающих ветвей плодовых деревьев', *ǯoǯg-in-a* 'козлы', мегр. *ǯgunǯg-* 'подпорка для виноградной лозы'?, лаз. *mzguǯ-* 'маленький колышек' (Fähnrich IV, 38); предлагаются, впрочем, и другие грузинские параллели[8]; (16) груз. *dindgel-* 'черный воск', мегр. *dgwindgw-* 'смола', лаз. *dindgu, dundg-* 'черный воск' (Климов, 73). В этот же список под вопросом можно добавить (17) груз. *tutk-* 'жечь', мегр. *tkutk-* (Fähnrich II, 43[9]) и (18) груз. *didγ-in-* 'неясно говорить, бормотать', мегр. *dγirdγ-in-* (Fähnrich I, 34; Fähnrich IV, 33)[10]. В (17) и (18) заимствование мегрельского слова из грузинского "не полностью исключено, потому что мегрельский и в заимствованных словах проявляет тенденцию к уподоблению анлаута инлаутной консонантной группе" (Fähnrich II, 43)[11]. Ср. (19) груз. *cacxv-* 'липа', лаз. *ducxu,* сван. *zesx-ra* и мегр. топоним *cucxw-at-,* который, как показал Г.А. Климов, в отличие от заимствованного из грузинского (с контаминацией ауслаута) мегр. *cxacxu* 'липа', проявляет регулярное отражение вокализма (Климов, 233—234).

Для мегрельского после выделения из празанского Т.Е. Гудава предложил правило[12], которое в нашей нотации можно записать так:

празан.*$\neq C_1VC_1K$- → мегр. $C_1K_1VC_1K_1$-; как уже было сказано, это правило действует в мегрельском и при адаптации поздних заимствовании.

Фонетически дескриптивный и редуплицированный характер подавляющего большинства рассматриваемых основ делает интуитивно неубедительной традиционную реконструкцию в виде (1) **çeçķ-*, (2) **ǯeǯg-*, (3) **ʒeʒg* и т.д., так как в этих архетипах не просматривается первичная основа, подвергшаяся редупликации: **ç-eçķ-*, **çe-çķ* (?). Между тем сам факт редупликации не может быть оспорен, ср. недавно предложенную З.А. Сарджвеладзе сванскую параллель к (8): *-ʒg-* (*la-l-ʒg-ən-a*) 'жевать': "сванская форма ... вызывает вопрос, не воплощает ли **ǯiǯg* редуплицированную основу" (Sardschweladse, 23). Однако, если принять **ʒiʒg-* в качестве частичной редупликации **ʒg-*, само правило редупликации, включая выбор инлаутного гласного, сформулировать для сколько-нибудь большого числа примеров не удастся.

Разбирая пример (6), В.М. Иллич-Свитыч предложил: **čķečķ* > **čečķ* "с диссимилятивным упрощением начального комплекса", а ранее — выпадение первоначального гласного с образованием децессивного комплекса, а затем редупликация: **č(i)ķ-* > **čķ-* > **čķ-e-čķ*[13]. При этом он отнес (6) к особому типу основ, выделенному Т.В. Гамкрелидзе и Г.И. Мачавариани[14]. Для этого типа характерна редупликация, а затем диссимиляция начального шумного в анлауте[15]: (20) пракартв. **z-isx-l̥-* (груз. *sisxl-*, мегр. *zisxir-*, лаз. *dicxir-*, сван. *zisx*) 'кровь'; (21) прагруз.-зан. **ǯ-inčar-* (груз. *činčar-*, лаз. *dičķiǯ-*) 'крапива'. Вторичность согласного в анлауте здесь даже может быть поддержана небезынтересными внешними параллелями: к (20) — праи.-е. **ĕs-(H)-r* 'кровь' (Климов, 87), к (21) — працезское **üčʌrʌ* < < **ünčʌrʌ* 'сорняк': цез. *ečuri*, гин. *očili*, гунз. *īčɨr*, бежт. *ičerö*. Объединяя оба типа основ, В.М. Иллич-Свитыч, однако, вынужден предполагать в (20) редупликацию всего комплекса **sxisx-l̥-*, что вряд ли приемлемо (тогда ожидалось бы мегр. **sxisxir-*).

Наиболее убедительным нам кажется следующее решение: в прагрузинско-занском рассматриваемые основы были полностью редуплицированными[16] и имели вид: *$\neq C_1V_1K_1$-$C_1V_1K_1$ (-wn̥-)-*. Далее действовало упрощение в *$\neq C_1VC_1K$(-wn̥)-*, а затем в мегрельском — правило Гудава. Возможен и другой вариант: упрощение в мегрельском произошло непосредственно из полной редупликации:*$\neq C_1V_1K_1$-$C_1V_1K_1$- → → *$\neq C_1K_1VC_1K_1$, однако это менее убедительно, так как правило Гудава продолжает иметь место при "обработке" заимствований именно в форме: C_1VC_1K- → $C_1K_1VC_1K_1$- (см. выше), и разделять эти два процесса явно нецелесообразно. Итак: праргруз.-зан. **ʒig-ʒig-wn̥* > > **ʒiʒg-wn̥* и т.д.

Решающим аргументом в пользу приведенного решения представляется этимология примеров (13) и (16). Если архетип (13) -**tiq-tiq-wn̥* 'пачкать(ся)', то очевидна связь с груз.-зан. (22) **Tiq-a* 'почва, глина, грязь': др.-груз. *tiqa-* 'глина, грязь', мегр. *dixa, dexa* 'почва, земля, место', лаз. *(n)dixa* (Климов, 94). Если архетип (16) — **ding(w)-ding(w)(-el)-* 'черный воск, смола', то можно предположить фонети-

чески дескриптивный характер этой основы — имитация звука падающих капель. Первичная основа на *-ng(w)-* допустима в грузинско-занском, ср. (23) **ç$_1$eng-:* груз. мтиул. диал. *çeng-ar-a,* лаз. *ç̌ang-a* 'вид растения' (Fähnrich IV, 37).

Отметим также (24) груз. *čičxin-, čax-čax-* 'стрекотать', *čičxin-ag, čičxin-ak̦* 'дикая птица с серым оперением, наподобие сороки'[17] и лаз. *činčxin-a, činčxin-* 'название крупной птицы'. К (1) ср. еще груз. ингил. диал. *çek̦-* 'измельчать, рвать на куски'[18].

Можно, кроме того, указать на отсутствие в прагрузинско-занском редуплицированных основ вида $*{\neq}C_1V_1C_2\text{-}C_1V_1C_2\text{-}$, хотя в языках-потомках такие случаи представлены, ср. груз. *cax-cax-* 'дрожать', мегр. *ç̌ur-ç̌ul-* 'щебетать' и лаз. *γar-γal-* 'разговаривать' (занские примеры с диссимиляцией сонорных). Остается предположить, что они существовали и в праязыке, но затем (если $-C_1C_2-$ могло образовать комплекс) подверглись упрощению под действием предложенного выше правила. Ср. также (25) груз. *ʒger-* 'колотить(ся)', мегр. *ǯgar-, ǯgal-* 'дрожать' (Климов, 237) и (26) груз. *ʒig-ʒig-//ʒag-ʒag-* 'дрожать', сван. *ǯǯgən-* (Климов, 238). Здесь малохарактерный для исконных слов в грузинском комплекс *ʒg* явно восходит к **ʒ*$_1$*ig-er-//*ʒ*$_1$*ag-er-* (суффикс выделен Х. Фогтом[19]). Сван. *ǯǯg-ən-* должно бы соответствовать мегр. **ǯgiǯg- on//*ǯgoǯg-on-* и груз. **ʒiʒg-n-//*ʒaʒg-n-* < пракартв. **ʒ*$_1$*ig-ʒ*$_1$*ig-wn̥-//ʒ*$_1$*ag-ʒ*$_1$*ag-wn̥,* а груз. *ʒig-ʒig-* и *ʒag-ʒag-*, вероятно, позднейшее удвоение первичных основ **ʒ*$_2$*ig-* и**ʒ*$_1$*ag-*.

Получает объяснение и (27) груз. *txel-* 'тонкий, мелкий', мегр. *txitxu,* лаз. *titxu, tutxu, tutxi,* сван. *dətxel-* (Климов, 93; Кутелиа, 52). Этот пример входит в известный тип основ с соотношением груз. ${\neq}C\text{-}$ — зан., сван. ${\neq}C_1(K)VC_1\text{-}$ (Климов, 23). Характерное для таких случаев "удвоенное написание" анлаутного согласного в древнегрузинском типа (28) др.-груз. *ččw-* 'размягчать', мегр. *čkičk-ar-* и т.д. (Климов, 221) наводит на мысль о наличии здесь в древнегрузинском какой-то пропущеной на письме (редуцированной?) гласной, которую мы условно обозначим как *ə*. Тогда в (27) подразумевается **təx-təxel- > tətxel- > txel-*, ср. (28) **čəčw-* и т.п.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] "Депессивными комплексами" (см.: Ахвледиани Г.С. Две системы гармонических смычных в грузинском языке // Памяти академика Л.В. Щербы (1880–1944). Л., 1951) называются широко распространенные в картвельских языках сочетания вида: губной или переднеязычный шумный + велярный или увулярный с тем же ларингальным признаком (иногда совпадающий с первым элементом и по способу образования): *bg, px, tk, tq̣, ck, çq̣, ç̌k̦, zγ* и т.п. В правилах, затрагивающих структуру слога и морфемы в пракартвельском, прагрузинско-занском и в определенной степени — в засвидетельствованных картвельских языках, такие сочетания приравниваются к одиночным фонемам.

[2] *Fähnrich H.* Kartwelischer Wortschatz IV // Georgica. H. 10. Jena; Tbilissi. 1987.

[3] *Fähnrich H.* Kartwelischer Wortschatz I // Georgica. H. 5. Jena — Tbilissi. 1982; *Sardschweladse S.* Forschungen zur Lexik der Kartwelsprachen // Georgica. H. 10. Jena; Tbilissi. 1987.

[4] *Климов Г.А.* Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.

[5] *Кутелиа Н.С.* Система гармонических комплексов в лазском диалекте // Отраслевая лексика аджарского диалекта грузинского языка. V. Тбилиси, 1986 (на груз. яз.).

[6] *Fähnrich H.* Kartwelischer Wortschatz III // Georgica. H. 8. Jena; Tbilissi. 1985.
[7] *Марр Н.* Грамматика чанского (лазского) языка с хрестоматиею и словарем. СПб., 1910, 236.
[8] Г.А. Климов (Этимологический словарь..., с. 269) предлагает груз. *ǯvar-* 'крест', Б.К. Гигинейшвили (К происхождению некоторых этнографических терминов в картвельских языках//Изв. АН ГССР. Серия истории, археологии, искусствоведения и этнографии, № 2. Тбилиси, 1985 56—57 (на груз. яз.). — груз. *ǯoǯ-* 'подрезать (лозу)'.
[9] *Fähnrich H.* Kartwelischer Wortshatz II // Georgica. H. 7. Jena: Tbilissi. 1984.
[10] Сван. *ddγ-* 'ворчать, бормотать', возможно, заимствовано из грузинского.
[11] Действительно, ср. явные заимствования: груз. *cocxal-* 'живой', мегр. *cxocxal-*, груз. *šašx-* 'ветчина' — мегр. *šxašx-*, груз. *čončx-* 'остов, скелет' — мегр. *čxončx-*. см.: *Гудава Т.Е., Гамкрелидзе Т.В.* Комплексы согласных в мегрельском // Акакию Шанидзе. Тбилиси, 1981. 226 (на груз. яз.).
[12] Об этом правиле см.: *Климов*... 23.
[13] *Иллич-Свитыч В.М.* Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь (*b-ḳ*). М., 1971. 210.
[14] *Гамкрелидзе Т.В., Мачавариани Г.И.* Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Тбилиси, 1965. 316—317 (на груз. яз.).
[15] См. об этом: *Рогава Г.В.* К вопросу о закономерности диссимилятивного озвончения глухих смычных // Ежегодник иберийского-кавказского языкознания. IX. Тбилиси. 1982.
[16] На принципиальную возможность полной редупликации указал автору С.Л. Николаев.
[17] Толковый словарь грузинского языка. Т. VIII. Тбилиси, 1964. 480—481; 521—522 (на груз. яз.).
[18] Толковый словарь..., т. VIII, 1045.
[19] *Vogt H.* Suffixes verbaux en géorgien ancien // Norsk tidsskrift for sprogvidenskap. B. XIV. Oslo, 1947. 49.

В.А. Чирикба

К ЭТИМОЛОГИИ ДВУХ АБХАЗСКИХ СЛОВ
(в связи с параллелями в славянском)

1. Абхазское *а-хас'а* 'мужчина, муж; герой'

В абхазо-абазинских диалектах имеются следующие формы указанного в заглавии слова: абхаз. абж. *а-хас'а*, бзыб. *а-x̌áć'a*, абаз. *qac'a*. Для праабхазского реконструируется **qać'a*. Семантика слова включает три близких значения: 'мужчина; муж, супруг; герой (витязь)'. Отсюда такие производные, как абхаз. *а-хас'еjba* 'вдовец' (*ajba* 'сирота'), *а-хас'arpəs* 'юноша' (*а-rpəs* 'парень, отрок'), *а-хас'ахаrа*, абаз. *qac'-ахаrа* 'возмужать, стать мужчиной', абхаз. *а-хас'асаrа* 'выйти замуж', а также абхаз. *а-хас'аrа*, абаз. *qac'аrа* 'геройство, мужество', абхаз. *а-хас'а-і-хас'а* 'герой из героев', *а-fəхас'а* 'герой, витязь', абаз. *fərqac'a* то же. Кстати, последнее слово часто неточно понимают как 'герой-молния', связывая первый компонент композита (*fə*) с абхаз. *а-fə* 'молния'. Однако в абазинском (тап.) при *fərqac'a* 'герой' мы имеем *а-с* 'молния', закономерно соответствующее абхаз. *а-fə*. Правильнее, видимо, понимать праабхаз. **fər-qać'a* как сложение *fər* 'герой' (< 'быстрый, стремительный') и *qać'a* 'герой, муж', ср. абаз. *fər* 'герой', абхаз. *а-fər* 'быстро, стремительно'.

Отсутствие соответствий абхазо-абазинскому слову в родствен-

ных убыхском и адыгских языках заставляет обратиться к поискам его внутренней этимологии. В.Х. Конджария видит в *-xa-* название головы[1], ср. абхаз. абж. *a-xə*, бзыб. *a-x̧ə*, абаз. *qa* 'голова'. Как представляется, в **qač'a* можно видеть не сложение двух основ, а отглагольное имя, восходящее к **qa-č'a* 'исполняться (о возрасте)'. Такая этимология опирается на глагол *a-xə-c'-ra* (абж.) *a-x̧ə-c'-ra* (бзыб.), абаз. *qə-c'-ra* также в значении 'исполняться (о возрасте)'. Глагол *a-xəc'ra* состоит из преверба *xə/x̧ə* < **qa* 'сверху, (через) верх' (восходящего к **qa* 'голова') и глагола *-c'-ra* 'проходить (о времени)', родственного адыг. *ś'ə-n* и убых. *c'a-* с тем же значением. Слово **qač'a* изначально являлось, по-видимому, эпитетом и значило, собственно, 'проживший; (достигший) возраста; в летах' с естественными ассоциациями 'опытный; зрелый'. Отсюда и семантическое развитие в двух направлениях, первое из которых — (поло-) возрастное: 'мужчина, достигший зрелого возраста; зрелый мужчина' (ср. абхаз. *a-naʒa* 'взрослый, сформировавшийся' от глагола *a-naʒara* 'достигать (чего-либо)', а затем просто 'мужчина; муж'. Второе значение может быть обязано семантическому развитию в сторону 'опытный; умудренный годами'. Впрочем, значение 'герой; витязь' естественным образом может быть производным и от понятия 'мужчина, муж' в смысле 'настоящий мужчина; истинный мужчина', что особенно вероятно в свете культивировавшегося на Кавказе образа мужчины-героя, мужчины-рыцаря, воплощения мужественности, доблести и отваги. Закономерность такого семантического развития подтверждается многочисленными примерами и из иноязычных традиций, ср. хотя бы значения русского *муж*, включающие и такие понятия, как 'мужчина в зрелом возрасте, а также деятель на каком-н. общественном посту', англ. *man* 'мужчина; мужественный человек', о.-тюрк. **ēr* 'мужчина, муж; герой'[2] и т.п.

Таким образом, праабхаз. **qač'a* являлось, по-видимому, первоначально эпитетом, подобно упомянутому выше *a-naʒa*, а также абаз. *ʃər* 'герой' (букв. 'быстрый; стремительный'), рус. *пожилой* (в субстант. знач.), шугн. *safēdgāl* 'старуха' ← 'белоголовая', тюрк. *aqsaqal* 'старик' (букв. 'белая борода') и т.д. Исходная семантика его — 'проживший; достигший зрелости'. Отсюда развитие:

1) 'зрелый мужчина' → 'муж, супруг';

2) 'зрелый мужчина' → 'герой; рыцарь; витязь'.

Для соотношения семантики 'мужчина, муж' и 'возраст' ср. о.-слав. *mǫž* 'муж, мужчина' и родственное ему лтш. *mûžs* 'возраст', правда, с обратным направлением семантического развития[3].

В заключение хотелось бы указать на интересную, как представляется, структурно-семантическую параллель абхазо-абазинского **qač'a* общеславянскому **čelověkъ*. Общепринятым является толкование последнего как 'сын рода': *čelo* — к *čeljadь*, а *věkъ* родственно лит. *vaĩkas* 'дитя'[4]. Такая этимология славянского слова, при всей ее прозрачности, содержит, как отмечает О.Н. Трубачев, "некий не до конца выясненный проблематичный этимол. остаток, что заставляет отдельных авторов до настоящего времени предпринимать новые попытки его этимологизации" (ЭССЯ 4, 50). Исходя из связи первого компонента в **čelověkъ* с *čelo* 'лоб', а второго с **věkъ* 'возраст, век',

можно усмотреть определенную идеосемантическую близость данного композита к праабхаз. *qać'a 'человек, мужчина; муж; герой', где, как было сказано выше, преверб. qa восходит к *qa 'голова', а -ć'a — к глаголу *ć'a- 'проходить (о времени)'. Не могло ли и славянское слово, при всей его формальной несхожести с абхазо-абазинским (в первом — сложение двух существительных, во втором — отглагольное имя) пройти сходную с ним семантическую эволюцию: 'в возрасте; достигший зрелого возраста' (букв. 'тот, у кого на челе отпечатан возраст'?) → 'человек, мужчина', а в ряде языков (болг. (диал.), макед., н.-луж., укр.) и далее → 'муж, супруг' (Там же, 48—49)?

2. Абхазское *a-(čə-)k'ʷaba-ra*, славянское **kǫpati (sę)* 'купать(ся)'

Исследования последних десятилетий внесли больше ясности в вопрос о звуковом символизме в человеческом языке. Становится очевидным, что в любом языке, независимо от степени его "цивилизованности" или "окультуренности" имеется внушительное число слов звукоизобразительной (звукоподражательной и звукоописательной) природы. Сходства между лексикой подобного рода в совершенно различных языках мира объясняется, с одной стороны, схожим акустическим или фигуративным образом объекта номинации, и с другой стороны, универсальными характеристиками антропофонического аппарата человека.

Отчетливо выделяющиеся ономатопы не представляют особых трудностей для анализа. В то же время существует довольно большое число лексем с затемненной, стертой звукоизобразительностью, вошедших в нейтральный, немаркированный слой лексики. В этом случае доказательство ономатопоэтического (отидеофонного) происхождения подобных слов нуждается в специальном обосновании. Как представляется, к случаям такого рода относятся глаголы абхазского и славянских языков, указанные в заглавии данной заметки.

В абхазском языке глагол представлен в виде *a-k'ʷaba-ra* (рефлексив *a-čə-k'ʷaba-ra*), в абазинском языке, соответственно, *k'ʷaba-ra* и *č-k'ʷaba-ra* (*č(ə)-* — возвратный префикс). В то время как большинство западнокавказских непроизводных глаголов представлены односложными корнями, данный глагол состоит из двух слогов, но сколько-либо убедительному членению не поддается. Указанная лексема присутствует и в убыхском языке (убых. *k'ʷaba-* 'laver'), но здесь не исключено заимствование из абхазского. Сходный звукокомплекс зафиксирован в адыгейском языке, но не в основном его словаре, а в подсловаре так наз. детской речи: бжед., тем. *kʷəp-š'əp*, тем. также *kʷəp* 'купать(ся)' (о ребенке). "Взрослым" соответствием этому детскому слову в адыгейском является *zə-γa-ps-č'ə-n* 'купаться'.

В славянских языках: ц.-слав. *кѫпати* 'lavare', болг. *къпя,* диал. *кѫпъ, кѫпъм* 'купать', макед. *капе* 'купать', с.-хорв. *kúpati* 'купать, полоскать', словен. *kópati, kómpati* 'купать', чеш. *koupati (se)* 'купать(ся)', рус. *купать(ся)* и т.д. < праслав. **kǫpati (sę)* (ЭССЯ 12, 58). Предложено много попыток объяснения данного изолированного на индо-

европейском фоне общеславянского глагола, последнюю сводку которых см. в (Там же, 58—61). О.Н. Трубачев склоняется к высказанному ранее предположению о связи славянского глагола с **konopja* 'конопля', заключая: "Остается все-таки этимология и семантическая реконструкция **kǫpati* как 'пользоваться коноплей'" (Там же). Подобное толкование, однако, как отмечал М. Фасмер, сопряжено с фонетическими трудностями (Фасмер II, 419).

В данной связи небезынтересно обратить внимание на слова "детской" речи в значении 'купаться' в славянских языках: укр. *купц'у-купц'у,* блр. *куп-куп,* рус. *куп-куп,* словен. *kópi-kopi,* откуда соответствующие детские глаголы: укр. *купц'ати,* словен. *kópčkat* 'купать'. Приводя указанные слова в своей статье о строении детских слов в славянских языках, О. Хорбач называет их звукоизобразительными местоимениями, с помощью которых иллюстрируются данные действия[5].

Хотя, на самом деле, нельзя исключить возможность зависимости указанных детских образований от "взрослого" глагола, сам этот глагол мог первоначально возникнуть на основе звукоизобразительного (звукоподражательного) междометия, обозначающего звук шлепка ладоней по поверхности воды, по мокрому телу, звук плеска воды при купании. На предположение о звукоподражательном происхождении славянского глагола наводит и весьма легкое, практически без изменений, вхождение его в слой "детской" лексики (которая, как известно, характеризуется высокой степенью экспрессивности и звукового символизма) и большая близость указанного славянского звукокомплекса абхазскому глаголу с той же семантикой, а также детскому идеофону в адыгейском (*kʷəp-šəp, kʷəp*), причем последний не обнаруживает связи с материалом "взрослого" лексикона. В определенной степени сходные звукокомплексы в значении 'купать(ся)' распространены в "детском" лексическом инвентаре языков мира достаточно широко, ср. абхаз. *t'ap'-t'ap'* 'купать(ся)', 'шлепок ладони по воде', абаз. тап. *č'opa-č'opa,* ашхар. *č'opa-č'opa, t'ap'-t'ap'* 'купаться'; объяснение информанта: подражание шлепкам ребенка по воде, адыг. *š'əpəpu, š'əpəp, apu, š'əkʷəkʷə* 'купаться', *t'ap'-t'ap', tap-tap* 'шлепать по воде, луже ладошкой', кабард. *šopă-šopă* 'купаться' (взросл. *zə-ya-ps-č''ə-n*), осет. *c'aep-c'aep kaenun* 'купаться', букв. *c'aep-c'aep* 'делать' (взросл. *aertajun*), осет. (кудар.) *čup'a-čup'a* 'купаться (плескаясь, барахтаясь)', татар. *čap-čap* 'купаться' (взросл. *jevenəš*), ногайск. *šapa-šaw* 'купаться; хлопать в ладоши', болг. *чипа-чипа* 'купаться' (Там же), нивх. *урур(у)-nt* 'мыться' (взросл. *p-su-nt)*[6] и т.д. Нетрудно заметить, что большинство из приведенных детских слов имеет схожую структуру: глухой переднеязычный + гласный (чаще *a*) + глухой билабиальный смычный (*p*). Касаясь близкого по звучанию изображения звука падающих капель, А.М. Газов-Гинзберг писал: "Шлепающий характер этой замычки (глухого губного *p.*— В.Ч.), производимый мягкими органами рта — губами, передает шлепающий характер изображаемого звукового явления"[7]. В славянских и ряде западнокавказских языков мы встречаемся со второй, близкой разновидностью того же звукоподражательного слова: заднеязычный огубленный // задне-

язычный + *u*, *ǫ* + гласный (*a*, *u*) + билабиальная смычка (ср. нем. *kabbeln* 'плескаться', лезг. *gupa-gup* 'подражание ударам'). Носовой характер гласного в славянском еще более подтверждает отидеофонную природу корня **kǫp-:<*komp-* (// **kump-?*), см. симптоматичную вариативность в словен. *kópati, kómpati*, в.-луж. *kupać, kumpać*, польск. *kąpać* 'купать', диал. *kǔmpać* 'купать, мыть' (ЭССЯ 12, 58—59), характерную для звукосимволических глаголов. Восстанавливаемое исходное для общеславянского звукоописательное междометие **komp// kump*, изображающее звук при плюханьи предмета в воду (ср. блр. *плюх-плюх* (детск.) 'мыться, купаться'[8]), хлопанье ладоней по поверхности воды или по мокрому телу в принципе сходно (особенно по ауслауту) с такими звукоподражаниями, как нем. *plump* 'шлеп, бултых!', англ. *plump* 'плюхаться в воду', дат. *plumpe* 'шепаться, бултыхнуться', нем. *plumpen* 'колотить по воде боталом', чуваш. *шамп-, чӑмп-, тӑмп-* 'подражание бултыханию, чмоканью, шлепанью'[9], ср. также лезг. *t'amp' (-t'amp')* 'подражание звуку падающей' воды, адыг. *šk'ʷəp'-sk'ʷəp' (?ʷăn)* 'булькать (о воде)', *šk'ʷămp* 'яйцо-болтун' (звук протухшего содержимого яйца при его болтании) и т.д. Ономатопоэтический звукокомплекс *-ump* (в немецких словах *bumpern, plump(s)en, rumpeln*) выделяет Р. Пфистер[10], а также О. Есперсен[11].

Вообще глаголы, обозначающие действия, осуществление которых связано с производством каких-либо звуков, отличаются повышенной идеофоничностью. Так, в частности, глаголы в значении 'купаться', которые обозначают действие, сопровождаемое характерными звуками (шлепков, плеска, бултыхания и т.п.), по-видимому, нередко оказываются в различных языках производными от соответствующих звукоописательных междометий.

Наше объяснение происхождения абхазского и славянского глаголов является, конечно, гипотезой, однако возможность подобного толкования становится весьма вероятной при рассмотрении аналогичных образований в самых различных языках. Подобная экстраполяция на схожий материал других языков зачастую позволяет найти убедительное решение той или иной лингвистической задачи тогда, когда внутренние возможности ее объяснения уже исчерпаны.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]*Конджария В.Х.* Термины родства и семейных отношений в абхазско-абазинских диалектах // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания, т. II, Тбилиси, 1975. 110.
[2]Историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. М., 1986. 92.
[3]*Трубачев О.Н.* История славянских терминов родства. М., 1959. 174.
[4]Там же.
[5]*Horbatsch O.* Die Wortbildung und der Wortschatz der Kindersprache im Slawischen // Actes du X Gongrès international des linguistes. Bucarest, 28 août — 2 septembre 1967. III. Buc., 1970. 164.
[6]*Austerlitz R.* Gilyak nursery words // Word. 1965. V. 12. № 2. 265.
[7]*Газов-Гинзберг А.М.* Был ли язык изобразителен в своих истоках? М., 1965. 69.
[8]*Horbatsch.* Die Wortbildung ... 165.
[9]*Корнилов Г.Е.* Имитативы в чувашском языке. Чебоксары, 1984. 44.
[10]*Pfister R.* Onomatopoetisches su // IF. Bd. LXI. Erstes Heft. B., 1952. 89.
[11]*Jespersen O.* Language, its nature, development and origin. L.; N.Y., 1928. 313.

В.А. Бушаков

К ЭТИМОЛОГИИ ТЕРМИНА *ТАРАПАН*

Внимание туристов и экскурсантов, посещающих Мангуп, Качи-Кальён, Эски-Кермен и другие средневековые городища в Крыму, неизменно привлекают вырубленные в скальном основании корытообразные углубления, соединенные небольшим отверстием с другим углублением меньшего размера. Это так называемые тарапаны. Новороссийское[1] (из (крымско)татарского — Даль[2] I, XXIX) слово *тарапан* В.И. Даль объясняет как 'каменное корыто или деревянный ларь, в котором давят, топчут виноград' (Там же IV, 391). М. Фасмер отнес *тарапан* к "темным словам" (Фасмер IV, 22). Термин *тарапан* привлек к себе особое внимание О.Н. Трубачева, исследующего индоарийские языковые реликты в Северном Причерноморье. О.Н. Трубачев считает, что термин имеет в Крыму догреческую и дотатарскую давность, и объясняет его из индоарийского **tara-pāna-* 'защита от перехода (здесь: переливания через край)'[2].

Картотека рукописного словаря крымского диалекта караимского языка С.М. Шапшала фиксирует слово *трапон* 'давильня, точило (для приготовления виноградного сока)'[3]. Стечение согласных *тр* в анлауте и нарушение губной гармонии гласных (*о* вместо *а* во втором слоге), что чуждо исконно тюркским словам, в караимском (= крымскотатарском) *трапон* свидетельствует о его заимствовании из какого-то нетюркского языка. Таким языком может быть греческий, утвердившийся в Крыму со времен греческой колонизации Северного Причерноморья, где появление большинства античных городов датируется VI в. до н.э. Именно греки принесли в Крым виноградарство и виноделие[4], получившие особенно большое развитие в средневековье, когда здесь в VIII—IX вв. было основано много монастырей монахами, бежавшими из Византии в результате иконоборческого движения, направленного против церковномонастырского землевладения[5]. В 1779 г. греко- и тюркоязычные христиане Крыма переселились в Северное Приазовье, где стали известны как мариупольские греки. Многовековая традиция виноградарства и виноделия христианского населения в Крыму прервалась. Мариупольские греки термин *трапон* не сохранили.

Караимское *трапон* отражает, несомненно, греческое *τραπον, связанное с глаголом др.-греч. τραπέω 'выжимать сок, давить (виноградные кисти)'[6], ср. др.-греч. μέτρον 'мерило, измерительная линейка': μετρέω 'мерить', ξυρόν 'бритва': ξυρέω 'стричь, брить', ὅπλον 'орудие, инструмент': ὁπλέω 'готовить, снаряжать, оснащать'. В некоторых крымско-татарских говорах термин принял отвечающую фонетическим законам тюркской речи форму *т(а)рапан,* в которой и был заимствован русскими переселенцами.

Предложенное объяснение термина *трапон* > *т(а)рапан* из греческого языка находит неожиданную поддержку в латинском языке: латинский заимствовал из греческого связанный с глаголом τραπέω тер-

мин *trapētes* ~ *trapētum* ~ *trapētus* 'маслодельный пресс'[7], который, однако, отсутствует в "Древнегреческо-русском словаре" И.Х. Дворецкого. Греческий термин 'маслодельный пресс', вероятно, представлен в словоформе *jo-te-re-pa-to,* засвидетельствованной в крито-микенской письменности B и толкуемой как глагольная форма от основы, представленной в τραπέω 'давить (масло)'. Строкой выше сло́ва *jo-te-re-pa-to* в тексте стоит относящаяся к нему идеограмма OLE (масло)[8], что дает основание выделить в словоформе *jo-te-re-pa-to* существительное *te-re-pa-to* со значением 'маслодельный пресс'.

В заключение следует отметить, что в крымском диалекте караимского языка наряду с термином *трапон* существовал еще термин *полон* ~ *полун* ~ *пулун* 'точило; давильня (приспособление для изготовления виноградного сока)'[9], который объясняется из перс. *palavan* 'сито, шумовка' или *palune* 'сито, решето, цедилка', производных от глагола *paludan* 'выжимать; фильтровать'[10].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]Новороссией официально со второй половины XVIII в. до 1917 г. называлось Северное Причерноморье. Состав земель, входящих в Новороссийский край, неоднократно менялся. У В.И. Даля к нему относятся Херсонская, Екатеринославская, Таврическая и Бессарабская губернии, см.: Даль[2], I, LXXXIII.

[2]*Трубачев О.Н.* Таврские и синдомеотские этимологии // Этимология. 1977. М., 1979. 143—144.

[3]Караимско-русско-польский словарь. М., 1974. 542.

[4]*Жуковский П.М.* Культурные растения и их сородичи. Л., 1964. 571.

[5]См.: *Якобсон А.Л.* Крым в средние века. М., 1973. 33—34.

[6]*Дворецкий И.Х.* Древнегреческо-русский словарь. Т. II. М., 1968. 1640.

[7]*Дворецкий И.Х.* Латинско-русский словарь. М., 1976. 1028.

[8]См.: Предметно-понятийный словарь греческого языка: Крито-микенский период. Л., 1986. 159.

[9]Караимско-русско-польский словарь. 448—449.

[10]*Миллер Б.В.* Персидско-русский словарь. М., 1960. 88.

Б.И. Татаринцев

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТЮРКСКОГО *TARQAN* ~ *TARXAN*

Слово *tarqan* ~ *tarχan* ..., широко распространенное в тюркских языках, загадочностью своего происхождения и содержательными характеристиками (оно, в частности, издавна известно в качестве титула) привлекало и продолжает привлекать внимание исследователей, предложивших ряд версий его этимологии. Эти версии в большинстве своем не отличались достаточной убедительностью, что относится и к попыткам обосновать происхождение слова, исходя из материала тюркских языков.

Возник своего рода этимологический кризис, отражением которого явилась, например, статья "Этимологического словаря тюркских языков" Э. В. Севортяна (Севортян III, 151—154), где приводится

сводка основных мнений о происхождении слова, но автор ограничивается лишь их изложением, не присоединяясь ни к одному из них и не предлагая ни своего решения, ни даже более или менее вероятного направления поисков.

Некоторые этимологические версии, однако, не были охвачены этим обзором. В него не вошла, к примеру, иранская ("скифская") версия, выдвинутая В.И. Абаевым и сравнительно недавно нашедшая отражение в его известном словаре, а также и в публикации, специально посвященной этимологии слова *tarqan* (Абаев III, 275—277)[1]. Естественно, что в поле зрения Севортяна не могли попасть и еще более поздние попытки, предпринятые исследователями в этом направлении.

Между тем версия В.И. Абаева, благодаря большому авторитету ученого, определенной логичности самой его версии, а также категоричности итоговых суждений (присоединяясь к предположению Г. Дёрфера о заимствованном характере слова в тюркских языках, В.И. Абаев, в частности, пишет: "Речь может идти только (разрядка наша. — *Б.Т.*) о заимствовании из северноиранского" (Абаев III, 277), некоторыми исследователями, в частности неязыковедами, воспринимается как вполне установленная истина.

Уверенность в этом породила, к примеру, следующее, не менее категоричное суждение: "К сожалению (?), до сих пор при толковании ряда древнеславянских терминов, в том числе социально-экономических, лингвисты обращаются к тюрской этимологии, которая, во-первых, относительно поздняя, а, во-вторых, сама испытывала огромное влияние, предшествовавшего ей иранского мира. Ныне доказано, что такой, на наш взгляд, тюркский термин, как "тархан", в действительности восходит к скифским наречиям" (следует ссылка на словарь В.И. Абаева)[2]. Односторонняя "проиранская" и, соответственно, "антитюркская" направленность высказывания в особых комментариях не нуждается, как, впрочем, и последующие достаточно сомнительные предсказания того же автора в том духе, что "тщательное исследование" в будущем якобы выявит иранскую этимологию "древнерусских терминов типа "боярин", "богатырь" и ряда других"[3].

Следует уточнить, что самому В.И. Абаеву подобные крайности чужды. Он справедливо указывает, что именно из тюркских языков слово *tarqan* было заимствовано современными иранскими (в частности, персидским, курдским, афганским), а также русским, отмечает, что из этого же источника оно вошло и в ряд других языков (Абаев III, 276). Он же в одной из своих последующих публикаций отмечает сотни тюркских заимствований в осетинском языке (современном преемнике одного из скифских наречий), где, по данным В.И. Абаева, в "заимствованной лексике... тюркский элемент занимает первое место". Далее, "обилие тюркских элементов в осетинской антропонимии (как и в апеллятивной лексике) объясняется длительностью и интенсивностью алано-тюркских контактов" (начиная с гуннов и авар), причем "тюркоязычные народы пользовались у алан высоким престижем"[4].

На эти высказывания В.И. Абаева необходимо обратить особое внимание, поскольку в предлагаемой им версии центральное место занимают именно данные осетинского языка, а конкретнее — осетинское слово *tærxon* 'суд', которое, по мнению В.И. Абаева, имеет "безупречную индоевропейскую этимологию"[5].

Согласно этой версии, осет. *tærxon* в прошлом означало не только 'суд', но и 'судья', а возможно, и 'переводчик'. "Как особо ценные люди, эти "интеллектуалы" получали от правителей разные привилегии и прежде всего освобождались от налогов и повинностей". "... В результате северноиранское ("скифское") **tarxān* 'судья', 'переводчик' продвинулось в семантике в сторону более общего значения 'привилегированное, знатное лицо' и в этом значении могло употребляться как титул или сан, входить в состав личных и фамильных имен и т. д. В этом обобщенном значении оно и вошло затем в тюркские и другие языки"[6].

В приводимых суждениях есть логика возможного, но здесь, вместе с тем, очень мало реального. Фактически реальностью является только существование осет. *tærxon* 'суд' (процесс) (а также еще и 'суждение', 'обсуждение', 'судебное решение', judicium ...), а все остальное — не более чем реконструкция, и при том реконструкция гипотетическая. Само наличие скифского **tarxān* с указанными значениями и их последующим развитием, — по-видимому, не более чем гипотеза, основанная на осет. *tærxon*. Не случайно **tarxān* не вошло в "Словарь скифских слов" (составленный также В.И. Абаевым), куда включены восстановленные скифские лексемы[7]. То, что это слово в скифском реально употреблялось (а не просто "могло употребляться") как титул или входило в состав антропонимов, тоже не находит убедительного подтверждения.

В.И. Абаев считает, что возможность обратного заимствования слова (из тюркских в осетинский) "придется исключить". В отдельной публикации по его этимологии в пользу этого приводятся такие аргументы, как уже упоминившаяся "безупречная индоевропейская этимология" и то, что "значение 'суд', основное в осетинском языке, никак нельзя вывести из значения 'человек, свободный от налогов', наличествующего в тюркских языках", а в словарной статье фигурирует только последний (семантический) аргумент (Абаев III, 276).

Однако он выглядит "палкой о двух концах": ведь если настаивать на том, что основное, исходное значение осетинского слова — 'суд' (причем именно как процесс), то и из него, равным образом, затруднительно вывести семантику типа 'человек, свободный от налогов'. Действительно, приведенный выше комплекс значений современного осет. *tærxon* имеет очень мало общего с подобной "личностной" семантикой. Это становится еще более заметно, когда В.И. Абаевым приводится сопоставление с данными других индоевропейских языков, в частности, с древнеиндийским *tarkana* 'суждение, предположение, догадка' (< *tark-* 'иметь суждение, делать предположение, размышлять').

Если исходить только из такой семантики, то вполне вероятно, что осетинское и соответствующие ему тюркские слова — гетероген-

ны. Но В.И. Абаев настаивает на том, что отглагольные имена на *-ana* означали также и Nomina agentis, а осет. *tærxon* — 'судья' и т.п. Это также допустимо, но почему бы, в таком случае, не предположить, что появление в прошлом у *tærxon* значений типа 'судья' могло быть стимулировано влиянием тюркского *tarqan* ~ *tarχan* 'привилегированное лицо'?

Таким образом, относительно осет. *tærxon* и тюрк. *tarqan* реально думать как о независимимых друг от друга словах, хотя в принципе здесь не исключено тюркское семантическое влияние на осетинское слово (учитывая в целом значительное тюркское воздействие на осетинскую лексику, о чем писал. В.И. Абаев).

Помимо собственно иранской версии происхождения тюрк. *tarqan*, существуют и такие, где иранские языки рассматриваются как посредники между тюркскими и другими (древними мертвыми) языками. Прототипом тюркского слова считаются хетто-лувийский теоним *Tarḫunda*, этрусский царский антропоним *Тарквиний (Tarquinius)* и другие схожие с ними имена собственные. К числу сторонников этой точки зрения относится К. Менгес, а к ее решительным противникам — Г. Дёрфер[8]. Менгес считает, что "на своем пути на восток, к алтайским языкам, прототип (хотя и не ясно, какой именно. — *Б.Т.*) форм *darqan, tarqan* мог, естественно, пройти через иранские языки. Скифам слово было известно в форме Ταργιταος имени их первого царя ..."[9], однако против такого сближения существует серьезный контрдовод.

В частности, В.И. Абаев не связывает имени этого скифского царя с *tarqan*... и, что немаловажно, предлагает его собственно иранскую этимологию < *darğa-tava* 'долгомощный'[10].

На наш взгляд, все подобные сопоставления, внешне довольно эффектные, тем не менее, неубедительны (труднообъяснимые фонетические различия, едва ли совместимые пространствено-временные различия и т.д.) и в целом мало что дают в плане установления этимологии тюркского *tarqan*. Во всяком случае, доказать гомогенность этого слова с указанными именами собственными едва ли это возможно.

То же самое следует сказать и о последующих попытках связать тюрк. *tarqan* с указанным древним теонимом (хотя и в несколько ином облике: *Tarḫunt-a* и проч.), согласно одной из которых это имя картвельского происхождения, проникшее в тюрские языки через иранские (согласно версии К. Менгеса), а согласно другой — оно индоевропейского происхождения[11].

В целом, предпринятые в последние годы попытки истолкования происхождения рассматриваемого тюркского слова нельзя признать успешными. Вместе с тем сами эти попытки порождены, в свою очередь, также малоудачными или, по крайней мере, не доведенными до логической завершенности опытами его этимологии, проводившимися ранее. Можно, в частности, согласиться с такими исследователями (Г. Дерфер, К. Менгес, В.И. Абаев), которые признали неудачными версии китайского или сино-корейского происхождения слова *tarqan* ~ *darkan*. Но те же исследователи говорят и о малой убеди-

тельности его этимологий, исходящих из тюркских и вообще алтайских языков, с чем трудно согласиться полностью.

По мнению некоторых из них, у тюркского слова отмечаются некие "нетюркские" внешние особенности. Так, К. Менгес считает, что "в тюркском оно фонологически неустойчиво (*tarqan, tarxan; tärkän*), но это не аргумент: в такой мере "неустойчивы" и многие явно тюркские слова. Кроме того, переднерядный вариант *tärkän (terkän)* требует особого разговора, а что касается варианта с [*x*] в срединной позиции, то К. Менгес (возражая Г. Дёрферу) далее пишет, что "нельзя доказать первенства формы с [*x*], поскольку твердый заднеязычный в положении после плавного обычно переходит в спирант (*lq, rq* > *lx, rx* ...)"[12]. Поэтому, когда еще ниже говорится: "У этого слова несомненные признаки заимствования", то остается неясным, о чем идет речь.

Трудно согласиться и с утверждением, согласно которому "географическое распространение его (сло́ва *tarqan*. — *Б.Т.*) слишком ограничено"[13]. Напротив, это одно из употребительных на территории распространения тюркских языков слов, что видно по сводке, приводимой в словаре Севортяна (Севортян III, 151—152), хотя и не совсем полной (отсутствуют, например, чув. *турхан,* туркм. *тархан*), а также хазарские, булгарские и некоторые другие соответствия). Они приводятся в работе С.М. Шапшала[14], интересной во многих отношениях (в том числе своими экскурсами в сферу понятия "тархан", что оказывается весьма полезным при установлении этимологии слова), но неучтенной в словаре Севортяна.

С учетом сказанного объяснимы неоднократно предпринимавшиеся попытки этимологизации *tarqan* ~ *darqan* на тюркской языковой основе. В частности, должны быть отмечены версии А. фон Габэн (затем повторенная М. Рясяненом)[15], объясняющей его как составное наименование, состоящее из двух титулов: *tar* (напр., в составе древнеуйг. *tarïm* 'женский титул') + *χan* 'титул хана' и Д. Шинора, истолковывающего слово как отглагольное образование от основы *tar-* 'рассеивать', которое первоначально означало нечто вроде 'рассеиватель', 'победитель' (Севортян III, 153)[16].

Эти версии содержат определенное рациональное зерно, но они не являются полноценными этимологическими разработками. Перед нами не более чем заявки на этимологию, основанные на минимальных, явно недостаточных данных и не содержащие сколько-нибудь детального анализа.

Между тем материалы тюркских языков открывают здесь определенную перспективу, особенно применительно к смысловой стороне соответствий слова *tarqan* ~ *darqan*. Она наиболее полно представлена в ЭСТЯ, где выделено тринадцать групп значений.

Такая многозначность (хотя и носящая суммарный характер) может свидетельствовать, что перед нами, скорее, центр распространения слова, чем его периферия и, соответственно, скорее, оригинальное слово, нежели заимствование. Однако, определение Э.В. Севортяном основной, исходной семантики, а также направления смыслового развития вызывает возражения. "Старейшими" среди приведенных в Словаре Севортяна считаются те, которые объединены в груп-

пы 8 ('титул; высокое звание'...), 11 ('часть имени собственного') и, под вопросом, 1 ('кузнец'), более поздними — 4 ('человек, свободный от податей и повинностей', 'привилегированное лицо (или сословие)' ...), 12 ('племя чагатайское'; кстати, в качестве этнонима *tarqan*... распространено гораздо шире, чем это отражено в Словаре у Севортяна[17]), 13 ('право наследования земельных угодий в феодальной России'), а последующими — все остальные, в числе которых — 'свобода', 'любимый', 'баловень, неженка, избалованный' и др.

Что касается значения 'кузнец', то Э.В. Севортян сам с достаточным основанием подверг сомнению его древность и, вслед за другими, связал его появление с относительно поздним монгольским влиянием (вторичным заимствованием из монгольских языков) (Севортян III, 152, 154). Вместе с тем, для столь уверенного отнесения к числу старейших "титулярного" значения, а также "семантики" антропомического характера (в чем, впрочем, Севортян не одинок) достаточных оснований нет. Тот факт, что в качестве титулов или (частей) собственных имен *tarqan* отмечено в более старых (например, в древнетюркских) письменных памятниках, еще не является решающим доказательством наибольшей древности этого слова именно в таком качестве.

Выдвижение на первый план подобной семантики как старейшей (resp. исходной), по-видимому, связано с трактовкой названий древней тюркской титулатуры как сплошных заимствований из других (нетюркских) языков[18], хотя, как, скажем, и в случае с *tarqan*, это не всегда сколько-нибудь убедительно аргументируется. Естественно, что при указанном подходе исследователи практически почти не затрагивали таких вопросов, как пути и способы образования титулов, возможные при этом семантические переходы и переносы наименований и т.д., так что здесь можно столкнуться и с определенными неожиданностями.

Наименьшей из этих неожиданностей можно считать допущение того, что семантика типа 'привилегированное лицо', 'привилегированный, находящийся на особом положении' вполне могла быть не вторичной от "титулярной" (кстати, не очень ясной), а, напротив, первичной по отношению к последней, и не случайно, по-видимому, что именно упомянутая уже выше 4-ая группа значений, связанных с характеристикой различных льгот и привилегий, оказалась наиболее обширной по сравнению с другими.

Вместе с тем, с одной стороны, едва ли на той же временной плоскости, что и значения группы 4, правомерно располагать явно более позднее значение 'право наследования... в феодальной России' и этнонимическую семантику, поскольку имеющиеся материалы позволяют сделать вывод, что *tarqan* как социальный термин, скорее всего, предшествовал этнониму[19]. Но, с другой стороны, неясно, почему от значений группы 4 оторваны и отнесены к числу не то что вторичных, а уже третичных значения 'любимый, награжденный' (группа 6) (ср. в 4-ой группе значение 'любимец хана, награжденный, прощенный им').

В свою очередь, с семантикой 'любимый' (т.е. также находящийся

в особом положении) весьма тесно связан круг значений типа 'баловень, неженка, избалованный'. Отметим, кстати, что подобная семантика распространена шире, чем это отмечено в Словаре Севортяна. Так, 'избалованный' отмечено не только у азербайджанского диалектного *тəрхан*, но и у туркм. *тархан*, которое имело или могло иметь также значения 'своевольный; тот, кому все дозволено' (судя по производному от *тархан* существительному *тарханлык* 'своевольность' (ср. также *тарханлык этмек* 'делать что хочется, поступать как заблагорассудится').

В этом плане представляют интерес материалы тувинского языка, где помимо явно поздних *даърган*[20]$_1$ 'кузнец' и *даърган*$_2$ как этноним (название одной из тувинских родоплеменных групп)[21], существует еще одно такое, явно не зависимое от двух первых и, видимо, более архаичное слово (условно — *даърган*$_3$), семантика которого реализуется только в составе устойчивых сочетаний типа *даърган киъжи (киъжи* 'человек') 'лентяй; человек, который может позволить себе жить беспечно, беззаботно'; *даърган олурар (олурар* букв. 'сидеть') 'ничего не делать, бездельничать', *даърган аът* 'лошадь, не используемая в хозяйстве' (о лошади ценной, хорошей породы или, наоборот, о старой, отработавшей свое лошади) (*аът* 'конъ, лошадь'): ср. караимское пáрное слово *бош-тархан* 'болтун, бездельник'[22].

Хотя в значениях большинства подобных словосочетаний весьма ощутим негативно-оценочный момент, все-таки и здесь налицо отмеченная выше семантика типа 'находящийся на особом положении'.

Таким образом, *tarqan* ~ *darqan*, вероятно, обозначало реалию, которая может быть описана по-разному, но в это описание должны были входить такие компоненты, как 'особое положение (в обществе)', 'благополучие, благоденствие', 'возможность очень многое позволить себе'. А поскольку все это было явно обусловлено предоставляемыми тарханам (у тюркоязычных народов, в частности) привилегиями, а последние предоставлялись как раз для того, чтобы обеспечить их носителям "вольготную" жизнь, то отмеченные выше компоненны вполне могли входить и в само первоначальное понятие, обозначаемое термином *tarqan* ~ *darqan*.

О том, сколь велики могли быть тарханские права, льготы и привилегии, можно судить по имеющимся источникам. Как отмечал С.М. Шапшал, наиболее детальное их описание встретилось у мусульманского автора Сейида Мухаммеда-Риза (или просто Мухаммеда-Риза), связанного с Крымским ханством и писавшего в первой половине XVIII в. Хотя это описание пóзднее, но оно отражает, по-видимому, достаточно архаичные представления о тарханстве. Согласно приводимому его автором перечню, тархан не привлекался к ответственности за девять совершенных им "крупных преступлений", сам он и его потомки до девятого поколения освобождались от налогов, тархан пользовался правом свободного входа в царский дворец и рядом других милостей, связанных с близостью к хану, имел право взять в жены любую женщину (кроме дочери хана), даже не спрашивая на это разрешения ее отца, мог также "дойти до девяти небес почета и славы, удостоившись пожалования конями,

коврами и другого рода девятью предметами, причем каждого из них по девяти раз". Как отмечалось, в этом описании "обращает на себя внимание число девять, имеющее у тюркских народов значение множества, обилия, а отсюда — благополучия и счастья". Ср. также следующее определение интересующего нас понятия в другом тюркоязычном источнике: "Тархан — всепрощение; привилегированный; вельможа и племя, свободное от налогов. С человека, являющегося тарханом, ничего не взыскивается: добычу, которая ему досталась на войне, он присваивает себе, без разрешения является на аудиенцию, он свободен и волен от повинностей"[23].

Здесь хотелось бы обратить внимание на компонент 'свободный', поскольку в некоторых тюркских языках рассматриваемое слово встречается в подобном же значении. Так, среди "третичных" значений слова Словарь Севортяна отмечает и 'свобода', характерное, согласно словарю В.В. Радлова, для казан. (= кирг.) *даркан* (ср. примеры типа *бӳгӳн, бизгä окӳдан даркан* 'сегодня мы свободны от учения') (Радлов III, 1629).

Подобные же компоненты встречаются и в описании средневековых монгольских тарханов (*darxan*, мн. число — *darxad*), среди которых были лица самого разного исходного социального положения. К *darxad*'ам относились, например, вольноотпущенники, 'свободные из рабов'. "...Но так как обычно люди отпускались за какие-либо важные заслуги, то *darxad*'ы, осбенно в век Чингис-хана, не только приобретали положение "свободных" и освобождение от повинностей и податей, но и достигали различных степеней и таким образом входили в круг феодалов". Владимирцов отмечает далее, что и "нояны получали иногда звание *darxan*, что означало освобождение от наказания за проступки"[24]. *Noyan* же значило 'предводитель аристократического дома; господин; сеньор; военный сеньор'[25].

Если исходить из сказанного, то значения 'свобода; свободный' также должны были составлять аспект или компонент первоначальной семантики слова *tarqan* ~ *tarχan*.

Можно полагать далее (исходя, в частности, из приведенных монгольских данных), что по своему первоначальному содержанию *tarqan* ~ *darqan* не было наименованием правителя, предводителя, повелителя. Соответствующие понятия, скорее всего, только соприкасались друг с другом: правитель мог быть (а мог и не быть) тарханом, и, соответственно, тархан — правителем. А если это так, то второй компонент слова не мог быть словом *qan-χan*, обозначающим в тюркских языках правителей и подобных им лиц, или хотя бы формантом, восходящим к этому слову[26], как предполагали некоторые этимологи (впрочем, само существование подобного форманта чрезвычайно сомнительно). Вместе с тем, вполне допустимо, что таково было вторичное осмысление структуры слова *tarqan* носителями тюркских языков, а поскольку в ряде из них, начиная с древнетюркских памятников, название хана бытует с начальным *x*(*χ*), то этим (помимо того объяснения, которое приводилось К. Менгесом) также можно объяснить бытование слова в форме *tarχan*.

Итак, *tarqan* ~ *darqan*, скорее всего, не является отыменным образованием. Но оно, по-видимому, и не есть непосредственное производное от глагольной основы *tar-*, как это полагал Д. Шинор. Хотя в принципе это может быть отглагольное имя на *-gan* (*-γan*), в действительности же, как показывает материал тюркских языков, вариант аффикса *-gan* с начальным глухим (после сонантов в частности) достаточно редок[27]. Поэтому вместо *tarqan*... следовало бы повсеместно ожидать **tarγan* ~ **darγan*, но этот вариант, наоборот, почти не встречается в реальности, за исключением явных случаев перехода *q* ~ χ > γ (как это было в тув. *daъrγan*).

И все-таки связь с указанной глагольной основой реальна, хотя нам она представляется иной, более сложной.

Основа *tar-* (а также и **dar-*) действительно означает, главным образом, 'распускать; рассеивать; распылять', но у нее отмечается и иная семантика ('расходиться, распространяться'). Кроме того, имеются и соотносительные с *tar-* "распространенные" глагольные основы типа *tara-* ~ *tarï-*, а также *tarqa-* (с более редкими вариантами *tarγa-* ~ *darγa-*), а также означающие, кроме 'расходиться; рассеивать(ся)' и т.п., 'распространять(ся); расстилать' (*tarqa-*), 'распространяться', 'расселяться; размножаться' (*tara-*) (см. Севортян III, 150).

Значения типа 'распространяться', похоже, являются достаточно древними, о чем можно судить и по выделенной Э.В. Севортяном именной основе **tar* ~ **dar*, соотносительной с глагольной *tar-* и представленной в таких производных, как *tar-la-* 'увеличиваться, распространяться', *тар-ай-* 'распространяться, расширяться' (Севортян III, 151). Думается, что семантика этого **tar* должна быть типа 'широкий, пространный, просторный; живущий широко' (?). Не исключено и существование образной основы со сходными значениями.

Вполне вероятно, что с той же именной основой связан и древнетюркский титул *tarïm*, присоединяемый к именам женщин ханского рода (иногда переводится 'жена тархана': см. Севортян II, 100, где приводятся также соображения по структуре подобных образований)[28], а также телеут. *тарый* (возможно, через стадию глагола *тары-*) 'высокий сановник (в сказках)', *тарый бий* 'начальник города или округа' (Радлов III, 846).

Что касается слова *tarqan*, то оно может рассматриваться как производное от глагольной основы *tarqa-* 'распространяться' и т.п., образованное при помощи аффикса *-(a)n*.[29] и, возможно, имевшее первоначально семантику признака. В свою очередь, *tarqa-* Э.В. Севортяном рассматривается в его словаре как отыменная глагольная основа с формантом *-ка-*, но в более раннем его труде это слово фигурирует в ряду отглагольных производных с учащательно-интенсивным значением, а аффикс является соответствующим модификатором[30], что выглядит также достаточно обоснованным и может быть подтверждено последующим анализом слов, по-видимому, гомогенных с *tarqan*.

Рассмотрим, в частности, более детально структуру и семантику приводимого в Словаре Севортяна (якут.) *тарай-*. Согласно Л.Н. Харитонову, он означает 'раскидываться, растопыриваться, лежа или

откидываясь назад' (ср. также *дарай-* 'иметь чрезмерно широкие плечи')[31], но у него же отмечено и переносное значение (или значения). По одним данным, это — 'важничать, ломаться, капризничать, корчить из себя', а по другим — 'жить, воспитываться в неге и холе, не знать ни нужды, ни забот'[32]. Однако интересно, что у прилагательного *тараах*, считающегося производным от *тарай-*, фиксируется только подобная "переносная" семантика 'избалованный, капризный, изнеженный'[33]. Глагол имеет соответствия в монгольских языках: ср. совр. монг. *тарай-* 'растянуться лежа', бурят. *тарай-* 'разваливаться, раскидываться, растягиваться'.

Глаголы на *-(а)й-* ~ *-(ы)й-* широко распространены как в тюркских, так и в монгольских языках; этот формант образует глаголы образного характера от подражательных слов, именных, а также глагольных основ (от последних особенно в якутском языке). С глаголом *тарай-* явно гомогенны хакас. *тарбай-*, *тардай(т)-* 'растопыриться, раскорячиться; надуваться'; татар. *тарбай-* 'гордиться, чваниться' (Радлов III, 871), казах. *дарди-* < *дардый-* 'возомнить о себе, держать себя высокомерно'; ср. также *дардан* 'беспардонный; баловень судьбы'[34].

Глаголы *тарбай-*, *тардай-* (*тардый-*) отличаются от *тарай-* наличием компонентов, которые, как и в случае *тарка-*, могут быть отнесены к числу модификаторов, передающих интенсивность действия.

Некоторые исследователи, пишущие о титуле *tarqan*, обращают внимание на др.-тюрк. *tärkän*, переводимое как 'титул, даваемый правителям областей' или сходным образом и представляющее собой вероятный переднерядный вариант к *tarqan*. Дж. Клоусон отрицает гомогенность этих слов (хотя и не аргументирует свое мнение), а К. Менгес считает, что их реальные отношения неясны[35].

С нашей точки зрения, здесь вероятна гомогенность, поскольку *tar-* и, особенно, **tar* вполне могли иметь палатализованные варианты, что можно подтвердить сопоставлением материалов, в определенной степени параллельных тем, которые нами приводились в случае с *tarqan* ~ *darqan*: ср. чагат. *тäркін-* 'расширяться; изобиловать' (Радлов III, 1070), якут. *тэрэй-* 'расширяться от основания широкой пластинкой; выдвигаться вперед...' (ср. ст.-письм. монг. *tereji-*, совр. монг. *тэрий-* 'распластаться, растянуться'), *тэрбэй-* 'быть устремленным вверх и вширь' ~ *дэрбэй-* 'высоко выставляться, возвышаться'[36]. Обращает на себя внимание и якут. *тэргэн* 'большой' (в прямом и переносном смысле), а по Пекарскому — еще и 'дух, обитающий в среднем мире, на земле...'[37]. Вероятно, в этом же ряду стоит и телеут. *терге* в сочетании *каан тергеси* 'столица'[38] (*каан* 'хан').

Не исключено, при всем этом, что др.-тюрк. *tärkän* и соотносимые с ним слова (в частности, имена) других тюркских языков отчасти могут быть связаны (вероятна, в том числе, и контаминация) с другой общетюркской основой, а именно *тер-* ~ *дер-* 'собирать, копить; объединять' (см., например, Севортян III, 204—205).

Однако, как бы то ни было, совокупность рассмотренных выше

фактов свидетельствует, что наиболее вероятным первоисточником ныне широко распространенного в различных языках слова *tarqan* ~ *darqan* ~ *tarχan* являются тюркские языки.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Абаев В.И.* *Tarxan* // Лингвистический сборник. Тбилиси, 1979. 21—25. См. ссылку на Словарь Абаева в редакторских примечаниях к Словарю Севортяна (Севортян III, 153).

[2] *Новосельцев А.П.* Древнейшие государства на территории СССР. Некоторые итоги и задачи изучения // История СССР. 1985. № 6. 94.

[3] Там же.

[4] *Абаев В.И.* Тюркские элементы в осетинской антропонимии // Теория и практика этимологических исследований. М., 1985. 23, 27—28.

[5] *Абаев В.И.* *Tarxan*, 24.

[6] Там же. 23—24.

[7] См.: Основы иранского языкознания: Древнеиранские языки. М., 1979. 276 и след.

[8] *Менгес К.Г.* Восточные элементы в Слове о полку Игореве. Л., 1979. 154 (прим. 225).

[9] Там же.

[10] Основы иранского языкознания... 287, 306.

[11] *Габескирия Ш.В.* К происхождению слова *tarxan* в алтайских языках; *Шервашидзе И.Н.* Об одном древнем миграционном термине // Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общности: Тез. докл. XXIX сессии Постоянной Международной Алтаистической конференции (PIAC), т. II. Лингвистика. М., 1986, 33—34, 130—131.

[12] *Менгес К.Г.* Указ. соч. 152—153.

[13] Там же, 153.

[14] *Шапшал С.М.* К вопросу о тарханных ярлыках // Академику В.А. Гордлевскому к его семидесятипятилетию. М., 1953. 302—316.

[15] См. также: *Добродомов И.Г.* Веселая этимология: Таракан в этимологическом аспекте // Русская речь. 1970. № 6. 99.

[16] Существует также близкая к обоим указанным версиям этимология Н.К. Антонова, согласно которой тюрк. *тархан* представляет своего рода композиту *тар хан*, где *хан* — титул, а *тар* — "видоизмененный древнетюркский глагол *тэр-* 'собирать, копить'". Первоначальная же семантика слова *тархан* — 'хан, занимающийся сбором, накоплением податей или сбором войск' (*Антонов Н.К.* Материалы по исторической лексике якутского языка. Якутск, 1971. 112). Однако, подобные представления о структуре слова вызывают возражение: "чистая" тюркская глагольная основа не может сочетаться с именем, образуя при этом атрибутивное словосочетание.

[17] См. об этом: *Кузеев Р.Г., Гарипов Т.М.* Этноним *тархан* у башкир, чувашей, венгров и булгар // Ономастика Поволжья, 4. Саранск, 1976. 13—16.

[18] Из работ последних лет см., в частности: *Кононов А.Н.* Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. Л., 1980. 104—105 (здесь же указана соответствующая литература по данному вопросу).

[19] *Кузеев Р.Г., Гарипов Т.М.* Указ. соч., 14—15. Ср. также цитату из произведения Ахмеда-Вефика паши в указ. работе С.М. Шапшала (311).

[20] Сочетанием знака ъ с предшествующей гласной в тувинской графике обозначается особое качество гласных фонем: фарингализация.

[21] См. об этом этнониме: *Вайнштейн С.И.* Тувинцы-тоджинцы. М., 1961. 37; *Чадамба З.Б.* Тоджинский диалект тувинского языка. Кызыл, 1974. 16.

[22] *Шапшал С.М.* Указ. соч. 316.

[23] Там же. 309, 310.

[24] *Владимирцов Б.Я.* Общественный строй монголов: Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934. 117 (основной текст и примеч. 6).

[25] *Владимирцов Б.Я.* Указ. соч. 74, 104.

[26] См. также: *Менгес К.Г.* Указ. соч. 153.

[27] *Севортян Э.В.* Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. М., 1968. 313 и след.

[28] Следует, однако, сказать, что в ряде работ это слово фигурирует в переднерядном

варианте (*tärim*), которому приписывается и совершенно иная этимология. См., например: *Clauson G.* En Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish. Oxford, 1972. 549; *Менгес К.* Указ. соч. 153.

[29] *Севортян Э.В.* Указ. соч. 332 и след.

[30] *Он же.* Аффиксы глаголообразования в азербайлжанском языке. М., 1962. 245.

[31] *Харитонов Л.Н.* Типы глагольной основы в якутском языке. М.; Л., 1954. 232, 287.

[32] Ср.: *Харитонов Л.Н.* Указ. соч. 298; *Пекарский Э.К.* Словарь якутского языка, 1959, т. III. 2526; Якутско-русский словарь. М., 1972. 376.

[33] *Пекарский Э.К.* Указ. соч. 2568; Диалектологический словарь якутского языка. М., 1974. 236.

[34] *Кайдаров А.Т.* Структура односложных корней и основ в казахском языке. Алма-Ата, 1986. 201.

[35] *Clauson G.* Указ. соч. 544; *Менгес К.Г.* Указ. соч. 153.

[36] *Харитонов Л.Н.* Указ. соч. 288, 300.

[37] *Пекарский Э.К.* Указ. соч. 2643.

[38] *Вербицкий В.* Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка. Казань, 1884. 350.

КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Н.М. Шанский, В.И. Зимин, А.В. Филиппов. **Опыт этимологического словаря русской фразеологии. М., 1987.**

Появление книги с таким названием вызывает одновременно и интерес и некоторую настороженность. Это вполне объяснимо. Несмотря на известное количество публикаций, касающихся происхождения отдельных фразеологизмов, и даже попыток теоретизирования по этому поводу, историческая (а тем более "этимологическая") фразеология не может быть причислена к бурно развивающимся отраслям русского языкознания. В статусе самостоятельной научной сферы этимология фразеологии, думается, пока еще себя не осознала. Это обстоятельство заставляет сомневаться, что время для создания этимологического словаря русской фразеологии уже настало. Хотя тут же возникает мысль о том, что, даст Бог, именно публикация "попытки" словаря может каким-то образом стимулировать развитие этой дисциплины...

Как первый опыт в данном роде словарь Н.М. Шанского, В.И. Зимина и А.В. Филиппова полон недостатков.

Начать с жанра работы. Это — этимологический словарь, и большинство его статей действительно трактует происхождение фразеологизма: исконный или заимствованный характер, вероятную эпоху его появления, первоначальную семантику и позднейшие переосмысления. Но можно ли отнести к этимологии такие парафразы: "*Все как один.* Все поголовно, с полным единодушием. Искон. Первонач. — все подобно одному, по примеру одного, следуют ему (например, в бою)", "*Откуда сыр-бор загорелся...* Первонач. имелось в виду "с какой стороны загорелся сырой бор, сосновый лес, почему возник лесной пожар", "*Не успел и глазом моргнуть.* Моментально. Под влиянием *в мгновение ока*", "*Уши вянут...* От сравнения с увяданием лепестков" и т.п.? Что, собственно, здесь "этимологизируется"? Таких тавтологических толкований в словаре немало.

Объем рецензируемого лексикона — 1400 оборотов. По мнению авторов, он дает "достаточно полное" (с. 4) представление о фразеологическом фонде русского языка и его формировании, а в словарь "включались фразеологизмы всех типов" (с. 5). Как бы ни понимать фразеологию, узко или широко, нельзя, видимо, выводить за ее границы неоднословные "номенклатурные" знаки типа *морской конек, анютины глазки, мать-и-мачеха, антонов огонь.* Невключение таких единиц в словарь можно и оправдать, но зачем тогда говорить о "всех типах" фразеологизмов? Касательно же представительности словника можно заметить, что, скажем, в первом издании "Крылатых слов" Ашукиных помещено более 1300 единиц, а ведь крылатые слова — лишь малая часть фразеологического фонда. Весьма слабо отражены в словаре речения нового времени (*до лампочки, от звонка до звонка, еще не вечер, крутить динамо, надо, Федя, надо* и сотни других, — в словаре их не найти). Следовательно, о "достаточно полном" отражении русской фразеологии в рецензируемом словаре говорить рискованно.

Предисловие сообщает, что словарь "составлен с учетом всей основной фразеологической литературы" (с. 4). В этом можно усомниться, поскольку в нем не нашли регистрации найденные в последние годы убедительные объяснения выражений *знать подноготную, ни зги не видно, шут гороховый, разверзлись хляби небесные, хлеб насущный, бить баклуши, куда Макар телят не гонял, избушка на курьих ножках, валять петрушку* и др. (см. работы Трубачева, Топорова, Толстого, Успенского, Мокиенко, Варбот, Добродомова, Мурьянова и др.). Вряд ли при этом могут быть

приняты возражения вроде того, что составители отклонили предложенные упомянутыми и неупомянутыми авторами решения как неудачные: в словаре можно встретить несколько этимологических версий относительно одного фразеологизма, в том числе и "народноэтимологические" как явно несостоятельные. Стало быть, утверждение, будто привлечена вся фразеологическая литература, — это скорее дезидераты, нежели реальность. На эту оценку наталкивает и прилагаемая к словарю сравнительно небольшая (немногим более 140 названий) библиография, в которую включены статьи, специально посвященные фразеологизмам, в рецензируемом словаре отсутствующим, т.е. список этот составлялся как нечто достаточно автономное по отношению к самому лексикону и в определенной мере не избежавшее влияние случая.

Много неясного в применяемом составителями понятийном и терминологическом аппарате. В вводном разделе (с. 9) "старославянский" представлен как период в истории русского языка (наряду с "общеслав.", "восточнослав." и "собств. русск." эпохами). Как надлежит понимать помету "искон." или "собств. русск.", если сразу же после нее указываются евангельский источник и параллели в европейских языках (примеров немало)? Выражение *брать на абордаж* сочтено полукалькой с франц. *aborder*. Фразеологизм *быть на вы* квалифицирован как калька с франц. *vouvoyer* (здесь, видимо, и хронологическая несообразность: по Доза, Дюбуа и Миттерану, французское слово впервые фиксируется в 1907 г.). Слово *сантименты*, грамматически оформленное вполне по-русски, определено как транслитерация франц. *sentiments*. Вызывает недоумение фраза (в статье *зарыть талант в землю*): "Позднее, уже в XVIII в., греч. *talanton* вытеснилось нем. *Talent* — талант, дарование"; где, в каком языке и при каких обстоятельствах могла осуществиться замена греческого слова немецким? Неряшливость формулировок никак не служит украшению словаря. На с. 6 заимствования в сфере фразеологии характеризуются как "иноязычные по происхождению фразеологизмы, употребляющиеся без перевода", однако через две—три строки к заимствованиям отнесены выражения *за и против, на войне как на войне*, как раз переведенные.

Весьма неопределенно содержание понятия "производность". Фразеологизм *в подметки не годится* выводится составителями из выражения *не годится и в след ступить, схватиться за голову* почему-то считается производным от *рвать на себе волосы*, а *на волосок от смерти* (где *волосок* — явно в значении условной метрологической единицы) — производным от *висеть на волоске*... Каков механизм производности в этих случаях? И уж совершенной загадкой оказываются такие образцы "производности": *стоять горой* — от *надеяться как на каменную гору*; *прожигать жизнь* — от *жечь свечу с двух концов*; *свести с ума* — от *совратить с пути истинного*; *теплое местечко* — от *нагреть руки*... Включенность фразеологизмов (подчас, как нетрудно увидеть, сомнительная) в один сентенциональный круг или даже "семантическое поле" еще отнюдь не является критерием их формальной соотнесенности, а уж тем паче производности. Строгостью лингвистических понятий авторы словаря здесь откровенно пренебрегают.

Не везде удачно выбраны заголовки словарных статей. Связочный характер глагола *быть* при конструкциях типа *в мыле, на взводе, не в своей тарелке* заставляет полагать его лишь грамматическим "формантом", на который вряд ли стоит опираться в выборе заголовочного варианта. Для меня остаются сомнительными формы, попавшие в заголовки: *стирать публично грязное белье, счастливая планида выпала, уйти/уходить в свою скорлупу*... Это скорее некие языковые образы, не кристаллизовавшиеся в фразеологизмы с "каноническим" лексическим наполнением; варьируемость подобных выражений слишком велика, чтобы можно было предпочесть в качестве заголовочных именно приведенные формы.

Множество замечаний вызывает датировка фразеологизмов. Указание на эпоху возникновения выражения ("собств. русск.", "восточнослав." и т.д.) обычно никак не обосновывается. Между тем вопрос хронологизации фразеологии относится к очень сложным, здесь трудно избежать ошибок. Тем более удивляет почти полное отсутствие

инославянских и внеславянских параллелей некалькированным речениям. Сошлюсь на один-единственный пример. Выражение *живая вода* авторы считают "собств. русск." ("из сказок"...), в то время как оно имеет еще индоевропейские, если не более ранние, истоки. Сочетание лексем со значениями 'вода' и 'живой' известно с глубокой древности, ср. лат. *aqua viva* 'ключевая, проточная вода' у Варрона и др., *живая вода* 'свежая, проточная...' в восточнославянских диалектах, польск. *żiwa woda*, болг. *жива вода*, а далее — *живой огонь, жива ватра* 'новый, только что добытый трением огонь (в славянских ритуалах)' с параллелями в уральских, алтайских языках... Вообще к обсуждаемой проблематике ср. идеи Вяч. Иванова, Топорова, Трубачева и др. о возможности реконструкции индоевропейских "текстов" (т.е. прежде всего фразеологии). Вероятные попытки отведения этих упреков со ссылкой на то, что помета "собств. русск." относится только к форме, несостоятельны, поскольку для подобных случаев существует (и применяется в данном словаре) термин "калька".

Здесь я подхожу к наиболее существенному пороку рецензируемого словаря. Он состоит в последовательно атомарном подходе к языковому материалу — как в его словарной подаче, так и в том, чтó составители считают этимологическим анализом. Отказ от использования диалектного материала не только в словнике, но и при анализе фразеологии приводит авторов к неминуемому топтанию на месте, повторению уже опровергнутых этимологизаций. Несмотря на то, что Мокиенко, обратившийся к обширнейшему диалектному и инославянскому материалу (его книги и важная статья "Историческая фразеология: этнография или лингвистика?" включены в список литературы, прилагаемый к словарю), прекрасно продемонстрировал неправдоподобие интерпретации выражения *бить баклуши* как первоначально значившего 'заготавливать чурки для ложек, что было (якобы) легким занятием' (по Мокиенко — 'баловаться в городки'), составители словаря предпочли прежнюю "внеконтекстную" версию в духе Максимова. Вряд ли остановились бы они на толковании выражения *малиновый звон* "от свободного сочетания *малиновый звон*. Малиновый — от малина в знач. "что-л. приятное' (ср. *не жизнь, а малина*)", если бы обратились к звонарной терминологии, ср. хотя бы *красный звон* у того же Максимова. Не понадобилось бы объяснять слово *стрекач* (в *дать стрекача*) как 'погонялка, бич, острый шест для понукания скота', окажись авторы словаря более внимательными к славянским параллелям рус. *стрекать* 'спешить; скакать...', ср. напр. с.-хорв. *стрцати* 'брызгать' (как семантическую параллель ср. рус. *брызнуть* 'помчаться'), *трк, трка* 'бег'... Учет южнославянских фразеологизмов, параллельных рус. *синь порох* и др., заставил бы отказаться от пыточных ассоциаций слова *подноготная* (*знать подноготную* — 'знать все вплоть до грязи под ногтями', как показано Толстым). Сравнение оборота *лить колокола* 'врать, распускать сплетни' с параллельным *отливать пулю* 'врать' и их диалектными вариантами, возможно, натолкнуло бы на мысль о том, что в основе обоих выражений лежат характерные для многих старых промыслов и ремесел запреты на разглашение соответствующих действий во избежание неудачи предприятий (с восстановлением семантической цепи 'уклоняться от ответа' → 'отговариваться объяснением, не сообразным реальности' → 'врать' → 'распускать сплетни'). Привлечение фольклорных текстов (поговорок, заговоров) отвело бы как ошибочное утверждение о вторичности (по отношению к "скалькированному" с французского фразеологизму *первый встречный*) выражения *встречный и поперечный* (ср. хотя бы в Филин 5, 217: ...от осуда, от призора, От встречника, от поперечника...)...

"Этимология" в словаре зачастую сводится к насильственной идиоматизации первого попавшегося "перевода" трудного слова (*кулички* 'поляны' в *к черту на кулички*; *сокол* 'таран' в *гол как сокол* — по Максимову; *собаки* 'репьи' в *вешать собак* — авторов не останавливает, что собак вешают *всех*, что семантический переход 'репей' → 'обвинение' через 'колдовство' все-таки необъясним; *зарез* 'место на шее у скотины' в *до зарезу* — почему не 'хоть режься'? — и т.д., и т.п.). Крайним примером такого рода является толкование выражения *в чужом пиру похмелье*: "Похмелье в знач. "продолжение пира, складчина после него", для чего гости должны были давать

хозяину деньги, и для нового, "свежего" человека это было убыточно и несправедливо'.' Зачем же надо было давать столь переусложненное объяснение, когда смысл оборота вполне ясен при принятии значения *похмелье* 'состояние после выпивки': 'вы пили, а у нас голова болит', ср. напр. *паны дерутся, а у холопов чубы трещат*?

Мало хорошего получается и в редких противных случаях — при попытках усмотреть некое подобие системы, взаимосвязанности фразеологизмов. Единство ряда оборотов с опорным компонентом *разводить* (*антимонии, бодягу...*) объясняется их выводимостью из словесного обозначения некоего занятия (так же, как и в случае с баклушами, очевидно, чрезвычайно легкого и позволяющего во время него чесать языками): "Антимония из антиномия (неразрешимое противоречие). Вероятно, от названия сурьмы — *antimonium*, разводя которую люди вели пустые разговоры" — собств. русск. (любопытно, насколько привычной работой для русских было разведение сурьмы, чтобы оно переосмыслилось в фразеологии?), "Бодяга — пресноводная губка... Вероятно, от того, что, разводя настой бодяги, болтали о пустяках, шутили, балагурили".

Неясно, на каком основании постулируют авторы общность происхождения фразеологизмов *вкушать плоды чего-л.* и *вкушать/вкусить от древа познания*: *плоды* 'результат' вовсе не является следствием утраты связи с семантикой первородного греха. Точно так же нет необходимости смешивать *заколдованный круг* и *порочный круг*: если первый связан с действием нечистой силы или, напротив, защитой от него, то второй — из области античной логики и диалектики, на нечистую силу глядящей довольно равнодушно.

Уровень этимологизации, принятый в рецензируемом словаре, с исчерпывающей убедительностью иллюстрируется такими примерами: *курам на смех* — "Вероятно от того, что даже курам, не умеющим смеяться, будет смешно, настолько что-л. нелепо"; *куры денег не клюют* — "Куры не клюют зерно тогда, когда его очень много и они совершенно сыты. А у кого было много зерна, тот был богат"; *лопнуть со смеху* — "Калька с франц. ...Вероятно, от того, что при неожиданном приступе смеха человек резко размыкает губы ("лопается")"; *еще и конь не валялся* — "От повадки лошади поваляться перед тем, как дать надеть на себя хомут, что задерживало работу" (попутно отмечу своеобразие синтаксиса: *повадка поваляться*); *песок сып(л)ется из кого-л.* — "Возможно, связано с выделениями из организма мелких крупинок солей (камни и крупинки солей образуются в почках и др. органах чаще всего в старости)"; *плевать в потолок* — "Крестьянин во время отдыха лежал на полатях или на печке и, покуривая, сплевывал с губ табачные крошки. Полати располагались близко к потолку": *веревка плачет по ком-л.* — "Вероятно, связано с тем, что при казни через повешение веревку намыливали и с нее стекали капли" (от себя замечу: с веревкой все ясно, но для чего намыливали также и палку?).

Авторам словаря свойственно стремление как можно теснее привязать появление того или иного фразеологизма к конкретным историческим событиям и лицам. Без надобности повторяют составители словаря гадательные попытки связать существование выражения *меж двух огней* с обычаями Золотой Орды, пословицы *семеро одного не ждут* — с временами семибоярщины, а оборота *быть посему* — с правлением Елисаветы. Напротив, во многих местах, учитывая довольно популярный характер издания и широкий круг потенциального читателя, следовало бы давать более обширную культурную и историческую информацию, например, в статье *разверзлись хляби небесные* — о том, что *хлябь* это 'шлюз, запор', что грибоедовское *блажен кто верует* воспроизводит фразеологическую модель из Нагорной проповеди, что *кромешная тьма* изначально ассоциируется с запредельным хаосом и адом, что выражение *с корабля на бал* — это литературная аллюзия, и о том, какие реальные события стоят за крылатой фразой *времен очаковских и покоренья Крыма*. Подобная информация, как мне кажется, была бы совсем не лишней не только в упомянутых здесь словарных статьях.

Пренебрежение, а точнее — невладение данными диалектологии, фольклористики,

мифологии, этнографии, истории культуры прискорбным образом сказывается на качестве словаря. Достаточно сравнить "этимологизации" фразеологизмов *божья коровка* (утверждается, что это калька с французского!), *драть как сидорову козу, куда Макар телят не гонял* и др. с разысканиями последних лет на стыке мифологии и лингвистики, касающимися тех же речений (в первую очередь с блистательными и поразительными по глубине работами В.Н. Топорова), чтобы убедиться, что словарь Шанского, Зимина и Филиппова предлагает читателю чрезвычайно поверхностный уровень "анализа". Жанр с л о в а р я, предполагающий, конечно, некоторое упрощение и схематизацию, оправданием в данном случае служить не может.

Еще несколько "мелких" прилирок, вовсе, впрочем, не исчерпывающих перечень недостатков рецензируемой книги. Ц.-слав. *твердо* (с. 144) не следует писать через *ё* (строго говоря, и не через *е*, а *твьрдо*). Нет никаких оснований слово *лакомый* зачислять в старославянизмы (с. 72): *ла-* в начале слова — нормальная рефлексация акутового *ol* + согл. в восточнославянском. Лат. *alba avis*, приводимое в качестве оригинала русского выражения *белая ворона*, отмечается задолго до Ювенала — еще у Цицерона. Выражение *мертвые души* не идет от названия поэмы Гоголя, а использовано им как устоявшийся юридический термин. Картофель, переработка клубней которого, согласно словарю, стала поводом для возникновения оборота *седьмая вода на киселе*, трансплантирован в Россию, надо думать, существенно позже появления этого фразеологизма. Лат. *ovatio* лучше вести от *ovo* 'ликую', чем от *ovis* 'овца' (с. 149), а выражение *часы пик* предпочтительнее возводить к англо-амер. *peak hours*, чем к франц. *heures de pointes*. Фамилию Етерлей (с. 234) следовало бы исправить на Этерлей и переместить в соответствующее ей по алфавиту место (в библиографии).

Число замечаний может быть умножено, но и из сказанного видно, что научный уровень книги Н.М. Шанского, В.И. Зимина и А.В. Филиппова весьма невысок. Однако, и в этом его несомненное достоинство, рецензируемый словарь в целом адекватно отражает нынешнее состояние исторической фразеологии — дисциплины, до сих пор, за немногими исключениями, остающейся в рамках упражнений с отчетливым привкусом любительства. Речь здесь идет — должен поправиться — прежде всего с "собств. русск." (как о любой другой "собств.") исторической фразеологии. Исследования же, обращенные к широкому славянскому и внеславянскому лингвистическому, фольклорному, этнографическому и историческому фону, тем самым избегают многих недостатков изоляционистского "моноэтничного" подхода и позволяют делать более глубокие и точные наблюдения над путями формирования фразеологического фонда одного конкретного — в нашем случае русского — языка. Думается, что именно в этом направлении и следует ожидать дальнейшего развития фразеологической этимологии.

А.Ф. Журавлев

Slawistyczne studia językoznawcze. Wrocław etc. 1987.

Сборник посвящен юбилею известного польского ученого, выдающегося слависта наших дней Ф. Славского, труды которого уже давно стали неотъемлемой частью науки. Проф. Ф. Славский обогатил науку интересными идеями, он один из тех, кто участвовал в разработке новых направлений в славистике. Настольной книгой славистов стал "Этимологический словарь польского языка", первый том которого вышел в 1952 г. Словарь еще не завершен, последние выпуски охватывают лексический материал на букву *L*. Это — принципиально новый тип этимологического словаря, характеризующийся новым походом к организации лексического материала и первостепенным вниманием к лексико-словообразовательным единицам языка. С именем Ф. Славского связано еще одно серьезное лексикографическое предприятие — подготовка "Праславянского словаря" (т. I—V: *A* — *D*). В этом словаре, как и в другом, параллельно создаваемом в Москве "Этимологическом словаре славянских языков",

решается задача реконструкции структуры и состава праславянского лексического фонда. В результате этих исследований праславянский язык предстает во всей своей конкретной реальности.

В сборнике участвуют польские и зарубежные ученые. Статьи (а их в сборнике 80) располагаются в алфавитном порядке. В тематическом отношении сборник весьма разнообразен: здесь и чисто синхронные описания явлений разных языковых уровней, и исследования по диалектологии, ономастике и т.д. Но все же основную часть сборника составляют статьи этимологического характера, статьи, в которых освещаются вопросы исторического словообразования, семантические процессы, значительное место в сборнике отводится праславянской проблематике. Но при всем тематическом разнообразии и широте исследуемого материала прослеживается цельность и внутреннее единство сборника, все статьи которого так или иначе объединяет глубокий интерес к проблемам и тем направлениям славистических исследований, которые стали определяющими для научной деятельности проф. Ф. Славского.

В пределах отведенного нам объема мы лишены возможности сколько-нибудь подробно охарактеризовать все статьи, входящие в сборник. Исходя из наших интересов, мы сосредоточим свое внимание на исследованиях, в которых освещаются вопросы развития праславянского языка, словарный состав, словообразовательная структура праславянского. В центре нашего внимания будут также статьи, предлагающие новые этимологии славянских слов. Для удобства изложения мы попытаемся сгруппировать эти статьи по тематическому принципу.

Актуальная для современной славистики проблема этногенеза, прародины славян освещается в одной из статей сборника. Ее автор Х. Бирнбаум очень кратко обозревает новейшие теории, самые последние исследования, в которых разрабатывается проблема славянской прародины. Решительное несогласие автора вызывает разработанная Маньчаком методика определения степени родства между языками, основу которой составляют количественные подсчеты лексических соответствий в древних текстах, написанных на языках готском, литовском и старославянском. Анализируя и критически оценивая другие теории прародины славян (теории О.Н. Трубачева, Удольфа, Новака), Х. Бирнбаум ставит под сомнение идею дунайской прародины славян.

В сборнике много конкретных этимологических разработок, богатых новыми оригинальными идеями и выполненных на высоком профессиональном уровне. Предлагаемые этимологии не свободны в ряде случаев от трудностей, тем не менее они существенно расширяют и углубляют наше понимание родственных связей в системе праславянского и на уровне индоевропейского праязыка. Попытаемся проанализировать, если и не все, то хотя бы наиболее существенные, с нашей точки зрения, этимологические исследования настоящего сборника.

Статья В. Борыся посвящена анализу ст.-чакав. *odlek* 'потомство, потомок'. В данной работе, как и во многих других превосходных этимологических исследованиях этого автора, в качестве важнейшего источника славянской лексики используется материал, почерпнутый из северночакавского диалекта сербохорватского языка (говоры Кварнерских островов, Хорватского Приморья и Истрии). Этот диалект сохраняет немало архаичных слов, утраченных другими диалектами сербохорватского языка, нередки случаи, когда именно в этом диалекте автору удается обнаружить семантические архаизмы, неизвестные другим славянским языкам. Анализируя сев.-чакав. *odlek*, В. Борысь обращается к чакавским рукописям XV в., сочинениям хорватских писателей XVI в., а также документам из Центральной Истрии (XVI—XVII вв.). Обнаруженные в этих источниках слова *odulak, odlik* в значении 'потомок, потомство' стали основой для расширения и углубления семантической реконструкции слав. **otъlěkъ* (~ лит. *lìkti, liekù*, ст.-лит *liekmì* 'оставлять'), которое в работах Ф. Славского определяется как сев.-слав. термин бортничества[1]. На славянской почве в гнезде с и.-е. корнем **leikʷ-* 'оставлять' наблюдается семантическое развитие в направлении 'оставлять' > 'остаток' и 'часть колоды, улья'. Автор, основываясь на своем материале,

восстанавливает для части славянских диалектов еще одну семантическую филиацию: 'оставлять' > 'остаток' и 'потомок, потомство'. В статье приводятся убедительные доводы в пользу отнесения к тому же гнезду с.-хорв. диал. *lêk* (*lijek*) в функции наречия 'очень мало' (ср. *lijek sira*), словен. *lék* м.р. 'малость, малое количество', рус. диал. *лек* 'участок хлебного поля; нива' (смол.). И такое понимание внутренней формы ю.-слав. лексем представляется вполне вероятным, во всяком случае оно снимает многие трудности, неясности, которые присутствуют в объяснениях, исходящих из гнезда слав. **lěkъ* 'лекарство' (ср. ЭССЯ 14, 192—194).

З. Голомб выдвигает идею этимологического тождества слав. **golva* и **žely* 'черепаха', но при обосновании этой гипотезы вынужден сделать целый ряд допущений, которые согласуются с возможностями праславянского, но в данном конкретном случае оперирование этими возможностями приобретает несколько произвольный характер, поэтому в целом этимологическое построение автора представляется не вполне убедительным. Автор отказывается от традиционной реконструкции исходного корня для балто-слав. **gālu̯ā-* в форме **gel-* 'нечто округлое' (Pokorny I, 357) или **ghōlu-* (ЭССЯ 6, 221). Балто-слав. **gālu̯ā* трактуется как прилагательное типа vr̥ddhi от **ĝhelū-* (а точнее **ĝholū-*) < и.-е. **ĝhel-* 'зеленый' (ср. слав. *zel-enъ*), т.е. название по цвету панциря черепахи. Восстанавливаются следующие звенья семантической эволюции слова: 'панцирь' > 'череп' > 'миска' и 'голова'. В этом факте семантического преобразования усматривается отражение древней ступени материальной культуры, когда в эпоху до гончарного производства панцирь черепахи использовался в качестве посуды. Чтобы преодолеть трудности, возникающие в связи с реконструкцией начального **ĝh-*, З. Голомб прибегает к гипотезе, по которой балто-слав. **gālu̯ā* (как и **kāru̯ā*) может быть определено как заимствование из языков кентумного типа. Соотнося слав. **golva* и **žely*, З. Голомб вынужден сделать еще одно допущение, а именно: в случае **žely* также имеет место отступление от сатемного отражения начального элемента, и, более того, для этого слова предполагается вторичное развитие *e* в корне по чередованию. Как полагает З. Голомб, в пользу этой гипотезы говорит распространение черепахи в Восточной Европе. Отвергая одну из этимологических версий, согласно которой слав. **golva* происходит от **golъ* (ЭССЯ 6, 221—222), и справедливо отмечая слабые стороны этого истолкования, З. Голомб взамен предлагает гипотезу, которая, возможно, и учитывает особенности архаичной культуры индоевропейцев, но в формальном плане строится по преимуществу на отношениях нерегулярного типа. В результате оказывается, что и.-е. **ĝhel-* 'зеленый' имеет на славянской почве два ряда продолжений: 1. **zel-enъ* : **zola* с характерным для праславянского отражением *ĝh* > *z* и 2. **golva* : **žely* с отражением *ĝh* > *g*, характерным для языков кентумного типа.

Реконструкции этимологического гнезда с корнем **lab-* посвящена статья В.Н. Топорова. Анализ сложной и разнородной семантической структуры лит. *lãbas* в плане сопоставления с прус., лтш: *lab(a)s* 'хороший, добрый', где налицо универсализация и вытеснение более ранних специализированных значений, позволяет вскрыть динамику семантического развития и на этой основе расширить состав этого гнезда за счет большой группы славянских слов, в остаточном виде сохраняющих следы первоначального значения 'хватать; взятие, захватывание'. В широком культурно-историческом контексте раскрываются глубинные связи слов, далеко отстоящих друг от друга в славянских языках, определяется этимологическая принадлежность таких слов, как рус. *лабýзье, лабуза* и др., название растения, слав. **lobъzati* и т.п.

Опыт этимологической и лексико-семантической реконструкции слав. **krosno* предлагает О.Н. Трубачев. Критически осмысляя известные истолкования слав. **krosno*, автор акцентирует внимание на ускользнувших от внимания исследователей таких особенностях значения и употребления слова, которые дают основание для восстановления первичного значения 'навой, вращающаяся часть ткацкого станка' и исходной формы **krosno* < **krot-sno* < и.-е. **kert-/*kret-* 'вращать, крутить'. В итоге для и.-е. **krętati/*krǫtiti* восстанавливается более архаичный вариант без назализации гласного в корне.

При определении состава этимологического гнезда слав. **pъvąti* Ж.Ж. Варбот во многом основывается на уже имеющемся опыте осмысления этого слова в одной из работ В. Борыся, пересматривает отдельные положения его гипотезы с учетом закономерностей развития славянской глагольной структуры. Предлагаемая Ж.Ж. Варбот трактовка позволяет в более полном виде представить на славянской почве все возможные реализации основы, возводимой автором к и.-е. **peu-* со значением 'бить, вколачивать'. Характеризуя **pьtь* как имя, производное от глагола **pъvati, *pъvają*, развившегося на базе праслав. **pъvati, *pъvq*, автор учитывает действующую в славянских языках модель глагольно-именных отношений типа **rъvati, *rъvq* : **rъtь* и т.п. В работе убедительно обосновывается принадлежность к гнезду слав. **pъvati* некоторых изолированных образований — рус. новг. *пóвный* 'чудный, дивный', ст.-рус. *повнее* 'лучше', *повоно* в записи Фенне начала XVII в. Если В. Борысь пытается осмыслить эти образования в гнезде и.-е. **peu-* 'понять, разузнать', к которому принадлежат лат. *putō* 'полагать', слав. **pytati* (сюда же чеш. *ptáti*[2]-), то Ж.Ж. Варбот, основываясь на наиболее вероятном первичном значении слав. **pъv-* 'делать или быть крепким, твердым', а также предполагаемом Вальде развитии у лат. *putō* значения 'полагать' из древнего 'резать', восстанавливает и.-е. **peu-* со значением 'бить, вколачивать'. Привлекает внимание и истолкование на базе того же гнезда этимологически трудного ст.-слав. (и)спыти 'напрасно'. Определяя структуру и семантику этого слова на фоне славянских глагольных образований с приставкой *iz-* (а точнее **jьz-*), сообщающей глагольной основе значение исчерпанности действия, автор толкует (и)спыти как производное с приставкой *jьz-* от имени **pьtь*, т.е. **jьz-pьti* 'напрасно' < 'без надежды, без веры, без основания'. Корневое *у* объясняется сближением, взаимодействием с **pytati*. В связи с этим хотелось бы заметить, что в праславянском имена с приставкой **jьz-*, как правило, являются производными от глагола (ср. материалы ЭССЯ 9, 9 и далее). Именно с учетом этой особенности следует подойти к определению производящей основы для слав. **jьz-pьti*. В славянских языках представлен соответствующий глагол с корневым гласным в ступени редукции. Мы имеем в виду упомянутый выше чеш. *ptáti*. Именно глагол этой структуры в сочетании с приставкой *jьz-* мог стать исходной базой имени **jьz-pьtь*. Существует предположение о том, что наречие (и)спыти, занимающее изолированное положение в словарном составе, проникло в болгаро-македонские тексты из западнославянских языков в великоморавский период деятельности первоучителей[3].

В другой заметке того же автора предлагается интересный опыт истолкования структуры и семантики ст.-слав. лѣподрѫвъ в плане отношения к синонимичному слав. **sъdorvъ*, образованию с приставкой *sъ-*, тождественной др.-инд. *su-* 'хороший'. В хронологическом плане образования сходной структуры оцениваются как пример диахронического варьирования в истории праславянского.

Ф. Копечный возвращается к не раз уже обсуждавшемуся вопросу о генетических истоках предлога *kъ*. Признавая древнюю самостоятельность предлога *kъ*, соотносимого Э. Бенвенистом с согд. *ku*, он придерживается того мнения, что предлог *kъ* не может быть приставкой, но этому утверждению противоречат известные случаи образований с приставкой *kъ-*, ср. **kъnaditi, *kъmětiti* (ЭССЯ 13, 171).

Ш. Ондруш интерпретирет слав. **modrъ* 'светлый' в плане отношения к **wedrъ*, основываясь на ларингальной теории и наблюдении Эрхарта о чередовании в индоевропейском *m : w*. В целом построения Ш. Ондруша, в которых названное соотношение рассматривается как часть более широкой деривационной парадигмы H_2ew-*g* : H_2weg-, H_2ew-*s* : H_2wes- и, следовательно, как одно из звеньев того ряда, который объединяет слав. **modrъ, *wedrъ, *j-ugъ, *věža*, лат. *aurora* и т.д., выглядят весьма произвольными. Автор свободно оперирует преобразованиями структуры корня вне времени и вне пространства, что, естественно, делает их в высшей степени гипотетичными и совершенно неубедительными.

Предметом изучения И. Дуриданова стала большая группа болгарских образований с корнем *мал-: малее, от-малея, пре-малея* и др. с общим значением 'слабеть, ос-

лабевать'. Приводя доводы фонетического порядка против объяснения *малее ми* из **mьdьlěti* (< *мьдльнь* 'неуверенный, медленный' с сохранением группы *dl* < *dьl),* автор, с одной стороны, отграничивает названные болгарские образования от форм типа *омлея,* которые считаются родственными рус. *млеть,* а с другой стороны, соотносит те же болгарские слова с рус. диал. *малéть* 'млеть преть, потеть' (нижегор.), 'шалеть, глупеть' (орл.) (Филин 17, 324), словен. *maléti* в выражении *mali mi pred očmi* 'темно в глазах' и выводит их из. и.-е. **(s)mol-* (ср. рус. *смола),* т.е. принимает для всей этой группы объяснение, предложенное Ф. Безлаем (Bezlaj II, 163) лишь для словен. слова. Из всего этого рассуждения следует, что диалектно ограниченное **malěti* (болг.-словен.-рус. изолекса) унаследовано из и.-е. эпохи. Но в этом объяснении, ориентированном прежде всего на поиски и.-е. соответствий, не использованы в полной мере возможности внутренней реконструкции. Тщательный анализ с привлечением более широкого лексического материала дает основание для сближения, сопоставления рус. *малéть* с такими диалектными словами, как *молáва* и *малáва* 'привидение', *молáвить* и *малáвить* 'казаться, мерещиться' (Филин 17, 317). В другом этимологическом окружении оказывается и словен. *maléti*, если учесть существование параллельной формы *melje* (ср. *melje mi pred očmi*) с другим вокализмом в корне, что и позволяет искать истоки словен. *maléti* в другом гнезде — слав. **melti* 'молоть'.

В этимологических исследованиях настоящего сборника тщательная проработка лексического материала сочетается с глубоким знанием литературы, критическим осмыслением разных подходов к истолкованию слова. Широкое привлечение культурно-исторических данных, знание конкретных природных свойств и условий бытования изучаемого объекта создает необходимые предпосылки для предпочтительного выбора того или иного этимологического решения. На основе такого широкого подхода при анализе слав. **sunica/*sunika* 'земляника' Х. Шустер-Шевц приводит дополнительные аргументы в пользу первоначальной мотивации этого названия признаком цвета (< и.-е. **k'eun-* 'светящийся, блестящий, ясный (красный)'). Рядом с архаичным словом **sunica/*sunika* как вторичные оцениваются в.-луж. *słynica* (гибридная форма, сложившаяся на основе скрещения **sunica* и *słońce*) и н.-луж. *su(w)nicy, sulnice* с вставным элементом *u̯* по типу *suwnuś* 'сунуть'.

В. Будзишевской принимается и поддерживается принадлежащая К. Мошинскому реконструкция названия растения Chelidonium maius в форме **rosopastь*, перв. 'растение, на которое падет роса'. В пользу такого понимания внутренней формы — условия произрастания растения. Это сложное образоваие со вторым членом — отглагольным именем с суф. *-tь* определяется как наследие праславянской эпохи.

Не вызывает возражений предлагаемое К. Хандке истолкование польск. *zimorodek* как сложения двух слов — *zima* и отглаг. имени с суф. *-ek,* перв. 'птица, которая появляется на свет зимой'. Такое понимание внутренней формы слова опирается на данные орнитологии и анализ действующих в польском языке моделей образования сложных слов.

При реконструкции праславянского лексического фонда особое внимание обращается на архаизмы, ограниченные в своем распространении на славянской территории. К диалектному слою праславянской лексики Т. Шиманский относит болг. родоп. *стор* 'порог', которое, по мысли автора, является единственным славянским продолжением и.-е. **storo-* 'слой' < **ster-* 'простирать'.

В плане развития словарного состава праславянского характеризуется сев.-слав. технический термин **pěšьn'a*. По наблюдениям В. Сендзика, это образование с суф. *-ьn'a* (от глагола **pěxati*) сложилось в позднепраславянскую эпоху, оно заменило немотивированное, более древнее **pěsta/*pěstь*.

Через этимологизацию названия города *Gamzigrad* < **gъmъzъjь gordъ* П. Ивич приходит к реконструкции прилаг. **gъmъzъ(jь)* (но ср. с.-хорв. *gmâz,* рус. *гомоз*), утраченного сербохорватским языком.

Из других работ на этимологические темы хотелось бы выделить небольшое исследование М. Войтылы-Щвежовской, в котором на основе этнолингвистических, фоль-

клорных данных название праздника — польск. *turzyce*, слвц. *turice* — связывается с древними языческими воззрениями славян, с культом тура, животного, жизненно важного в хозяйственной деятельности славян. Интересные соображения приводит И. Речек в пользу иранского происхождения слав. **božьnica* (< иран. **bagina*), служившего обозначением культового сооружения в эпоху до принятия христианства. Полезный этимологический комментарий к польским названиям трав (*pażyc(a), gółka, ososz, osypka* и т.д.) содержится в статье А. Слупского.

В своих выводах этимология опирается на достижения сравнительно-исторического языкознания, и вместе с тем результатами своих исследований этимология обогащает, расширяет наши представления о системе парадигматических отношений праславянского. Именно с помощью этимологического анализа удается определить, насколько последовательно в разных частях славянской территории и в разных группах слов проявлялось действие тех или иных фонетических закономерностей. В ряде своих последних работ Н.И. Толстой исследует случаи непоследовательного проведения первой палатализации задненебных согласных в славянских языках. Материалом служат звукоподражательные образования, которые, как известно, наиболее устойчивы против регулярных фонетических изменений. В настояшем сборнике Н.И. Толстой обращается к реконструкции этимологического гнезда с корнем **kev-*. В состав гнезда с этим корнем в разной огласовке включаются 1) **kevьkati* (с.-хорв. *кȅвкати* 'лаять', блр. *кéўкаць* 'мяукать' и т.д.) и **čev(ъ)kati* (ЭССЯ 4, 100), 2) **kavъkati* (блр. *кáвкаць* 'каркать', укр. *кáвкати* 'кричать', словен. *kȃvkati* то же и т.д.), 3) блр. диал. *чеўрыць* 'сохнуть, недомогать', *чаврúць* 'сохнуть, чахнуть' и *кéўляць*'едва дышать (доживать век)', *кéўлець* 'еле жить, едва дышать' и другие образования типа с.-хорв. *чевр̏љати, чевркати* 'болтать, нести вздор'. Как видим, в одном гнезде оказались слова, семантически весьма далеко отстоящие от собственно звукоподражания. И это не должно вызывать удивления, так как известно, что на базе семантики звукообозначения может развиваться семантика действия, состояния, и в результате определенной семантической эволюции утрачивается или затемняется живая связь с первичной основой звукоподражательного происхождения. Осознавая возможность таких семантических преобразований, мы тем не менее допускаем, что для некоторых из названных слов предположение о звукоподражании носит необязательный характер. К таким случаям мы бы отнесли блр. диал. *чеўрыць* (ср. еще рус. диал. *чаврéть* 'чахнуть', укр. *чéврiти* то же, болг. диал. *чáврим се* 'нежиться' и т.д.), которое понимается нами как сложение экспрессивной приставки *ča-* и глагола **vьrěti* 'кипеть, потеть, усыхать' (см. ЭССЯ 4, 32). Экспрессивный вариант той же глагольной основы с приставкой **ka-/ko-* в рус. диал. *кáверить* 'болеть, недомогать, кашлять', на русской территории отмечен и вариант с приставкой *ско-*: ср. пск., твер. *заскóвреть* в значении 'засохнуть, стать жестким от жары, холода, засухи' и производное от него *заскóврина* 'что-либо засохшее' (Филин 10, 138; 11, 35; 12, 293). На наш взгляд, не имеет звукоподражательной природы и блр. диал. *кéўляць* 'слабеть, едва дышать', для которого наиболее вероятно родство с с.-хорв. *кȁвити* 'слабеть, чахнуть, страдать' (РСА IX, 41), стар. *is-kaviti* 'искупить страданиями'[4], апофонический вариант той же основы в ю.-слав. **kujati* с общим значением 'дуться, сердиться'[5]. Чтобы определить круг генетически связанных между собой звукоподражательных образований, необходимо провести тщательный анализ материала с проверкой других гипотез происхождения слова особенно в тех случаях, когда это слово уже не является звукоописанием, а обозначает действие или состояние, как это имеет место в приведенных выше примерах.

С помощью этимологического анализа В. Смочинский восстанавливает некоторые закономерности в системе деривационных отношений литовского глагола. В соответствии с устанавливаемой моделью образования глаголов с каузативным значением лит. *laikýti* и соотносимое с ним слав. **lěčiti* определяются как продолжение каузатива **laikītei*, образованного при помощи форманта *ī* и чередования *e/o* в корне от балто-слав. **leik-/lik-* (< и.-е. **leik^{u}-/lik^{u}* 'оставлять'). Таким образом слав. **lěčiti* выводится из числа готских заимствований и соотносится с гнездом и.-е. **loik^{u}os* 'остаток' (ср. цслав.

лѣкъ 'остаток'). И хотя по своим чисто формальным признакам слав. *lěčiti 'поддерживать жизнь, лечить, исцелять' соответствует модели каузативных образований, семантическая специализация слав. глагола ('оставлять' > 'лечить'), мотивированного перв. **lěka (~ лит. liekù, греч. λείπω), не получает убедительного обоснования, а потому предлагаемая этимология слав. *lěčiti при всей своей внешней эффектности едва ли может считаться доказанной. В ряде этимологических заметок В. Смочинский, останавливаясь на отношениях слав. *ǫzъkъ: лит. añkštas, слав. *ogъnь: лат. ugnus, лит. ugnis, слав. *ǫgъlьje : лит. ánglíai, слав. *vęzъ: лит. vìnkšna, подробно с фонетической точки зрения анализирует балтийские примеры, которые, строго говоря, не являются точными соответствиями слав. словам. С помощью средств внутренней реконструкции автору удается восстановить некоторые характерные для балтийских языков процессы (утрата безударного суффиксального -и, фонетические преобразования на стыке морфем), которые и обусловили сильную трансформацию исходной формы.

Вопросы исторического словообразования, поиски словообразовательных архаизмов, реконструкция динамики древнейших словообразовательных моделей от праславянского состояния к системе отдельных славянских языковых групп и диалектов и многие другие вопросы занимают большое место в трудах Ф. Славского. Результаты исследований нашли отражение в ряде специальных статей и очерке по словообразованию праславянского языка (Słownik prasłowiański I—III). В некоторых статьях настоящего сборника представлена разработка отдельных аспектов словообразования.

Путем этимологического анализа Х. Поповска-Таборская приходит к восстановлению структуры кашуб.-словин. слов kudjåbel, kuǯåd, kusråt, связанных с обозначением мира демонов и злых духов. По своему происхождению они представляют собой не что иное, как сращение с именными основами предлога ku, который в этих образованиях стал выполнять функцию приставки.

Ст. Вархол, продолжая свои исследования именных образований с суф. -l[6], в настоящем сборнике делится мыслями о генезисе и функциях форманта -ola/-olja в собственных названиях и апеллативах. Некоторые балто-славянские образования с формантом -ro- кратко обозреваются Э. Хэмпом в обычной для него форме попутных замечаний.

В сравнительно-исторических исследованих и специальных работах по словообразованию (ср. Sławski.—Słownik prasłowiański I, II, III) большое внимание уделяется производным на -ěn-inь, -jan-inь и -it'ь (-*itjo-) в функции этнонимов, племенных названий, названий жителей. Исследуются истоки и эволюция суффиксальных формантов и в функциональном плане, и в плане относительной хронологии[7]. В. Лубащ, изучая генезис славянских патронимических и этнических местных названий, в первую очередь задается вопросом, в какой мере патронимическая и этническая функции были свойственны праславянскому. Основной вывод В. Лубаща сводится к тому, что первоначально образования с названными суффиксами несли в себе идею собирательности, общей принадлежности, в дальнейшем происходит дифференциация значений по признаку 'связь с чем' (> этническая принадлежность) и 'связь с кем' (> патронимы). Вопреки распространенному мнению, автор полагает, что патронимичность не есть категория праславянского. В. Лубащ обращает внимание на ареальную противопоставленность образований на -ov, -in, -an/ci (современная Венгрия, прилегающие области Украины, Словакия) и -itjь, связывая оппозицию суффиксов с разными волнами славянских миграций.

В этимологических исследованиях последних десятилетий все больше осознается необходимость тщательного изучения лексико-семантических процессов. Ведутся работы по реконструкции семантической истории слова, выявлению типичных, повторяющихся взаимосвязей значений в родственных и неродственных языках.

Полезны и ценны конкретные семантические исследования, содержащиеся в рецензируемом сборнике. Я. Пузынина, основываясь в первую очередь на данных польского языка, выделяет следующие основные этапы в семантическом развитии праслав. *klamati: 1. 'качать, колыхать' > 'вызывать неустойчивое состояние' > 'неудачно шутить' > > 'издеваться, насмехаться' > 2. 'вводить в заблуждение, говорить неправду, обманывать, лгать'. Автор особо подчеркивает, что в этической системе христианства насмеш-

ка, издевательство не несли в себе того отрицательного смысла, которое содержалось в понятии *kłamstwo* 'вранье, ложь', связываемом с действием сатаны. Автор считает, что развитие семантики в направлении 'лгать' предопределено целым рядом моментов, в том числе стилистическими особенностями, жанровой спецификой текста и т.п. В подтверждении мысли автора о взаимосвязи значений 'качать' > 'лгать' можно привести в качестве семантической параллели слав. **maniti* 'манить, привлекать, обманывать', родственное глаголам **majati* и **maxati*. Для слав. **maniti* по существу восстанавливается та же линия семантического развития, но без характерного для зап.-слав. языков (чеш., польск.) сдвига в сторону значения 'издевательство, насмешка', а именно 'качать, кивать' > 'привлекать, манить; делать обманные движения' > 'вводить в заблуждение, обманывать' (ЭССЯ 17, 197). Предлагаемая автором семантическая реконструкция решительно расходится с тем толкованием (ЭССЯ 9, 183), которое опирается на устойчиво повторяющиеся значения 'качать, шатать(ся)', 'сидеть согнувшись' и типологию образования значения 'лгать' (праслав. **lъgati* < и.-е. **leug-* 'гнуть'). Думается, что трудности при реконструкции семантической эволюции слав. **klamati* связаны с неясностью исходной основы. Я. Пузынина не касается этого вопроса, в центре ее внимания семантические процессы преимущественно в польском и зап.-слав. языках.

На широком славянском фоне Е. Русек прослеживает семантическую историю болг.-макед. *грижа*, засвидетельствованного в памятниках письменности лишь с середины XIV в. Как показывает автор, разные факторы предопределили широкий диапазон семантических филиаций, при этом учитываются значение мотивирующего глагола **gryzti*, данные румынского языка, куда это слово попало путем заимствования, место в кругу синонимичных образований, для древнего периода особенно важно отношение *грижа* и *печаль, пештисѧ* 'заботиться'. Путем такого всестороннего сопоставительного анализа автору удается выявить наиболее полно основные моменты семантического развития *грижа*, определить значения, утраченные болгарским языком (ср. значение 'печаль, духовные страдания').

Предметом исследования Б. Конеского стали переносные значения, которые развиваются у слав. **griva* в разных частях славянского мира. Процесс метафоризации протекает, как показывает автор, индивидуально, лишь в единичных случаях в разных регионах наблюдаются совпадения переносных значений: ср. с.-хорв., укр. диал. *грива* 'коса между двумя откосами' и словен., с.-хорв. (Далмация) 'межа'.

Статья А. Младеновича дает пример системного подхода к историческому анализу слова. С.-хорв. *čarni (< čarъ)* предстает как результат фонетического сближения, семантического взаимодействия с синонимичными словами *crn (< čьrnъ), čьrmьnъ*.

Для решения задачи реконструкции праславянского лексического фонда используются, как известно, самые разнообразные источники. Одним из таких источников является ономастика. К. Рымут приводит интересный материал, наглядно показывающий, как много может дать для восполнения лексических лакун изучение старопольской антропонимики и шире — ономастики. Многие личные имена и местные названия, зафиксированные в старопольских памятниках, позволяют расширить состав и географию праславянских слов, реконструируемых в ЭССЯ и "Праславянском словаре". Именно в старопольском ономастике автор находит подтверждения для праслав. **dr̥ba*, **xarъjь*, **xoliti*, **dromiti*, **drol'a* и т.д. Нередки случаи сохранения в топонимике слов, утраченных или слабо засвидетельствованных в языке. Как показывает исследование Х. Борека, прилаг. *syry*, характеризующее в основном периферийные поморские говоры, находит отражение в польской топонимике и прежде всего в силезских названиях *Syrynia, Syrynka*, а редко встречающаяся параллельная форма прилаг. *serowy/syrowy* удостоверяется топонимическими названиями из восточной Польши. Важные сведения по истории слов содержат старые словари. Т. Орлош анализирует орнитологическую лексику словаря Лодерецкера (1605 г.). Для сравнительного изучения орнитологической терминологии применительно к эпохе начала XVI в. очень важно, что в этом словаре в соответствии с латинскими терминами приводятся названия птиц из польского, чешского, сербохорватского языков.

В пределах отведенного нам объема мы лишены возможности осветить многие другие аспекты этого сборника. Сборник охватывает широкий круг славистических проблем, весьма актуальных для современной науки. В разработке поставленных проблем принимают участие известные ученые, слависты разных стран. Сборник, несомненно, привлечет к себе внимание широкой научной общественности.

Л.В. Куркина

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Sławski F.* Prastary północnosłowiański termin bartniczy *otъ-lěkъ* 'główa barci' // Zb. za filologiju i lingvistiku IV—V. Novi Sad, 1961—1962. 304—312, *Sławski II.* 196—198 (s.v. *kleczyć).*

[2] *Трубачев О.Н.* Наблюдения по этимологии лексических локализмов (Славянские этимологии 48—52) // Этимология 1972. М., 1974. 31—32.

[3] См. подробнее о функционировании (и)спыти в других памятниках и истории изучения этого слова в кн.: *Львов А.С.* Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966. 30 и след.

[4] *Matić T.* Lexicalia iz starih hrvatskih pisaca // Rad JAZU, knj. 315. Zagreb, 1957. 40.

[5] *Куркина Л.В.* Южнославянские этимологии // Этимология 1982. М., 1985. 13—16.

[6] *Warchol St.* W sprawie genezy i funkcji sufiksu *-ula* w słowiańskich nazwach osobowych i apelatywach // Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3. Językoznawstwo. W-wa, 1968. 55—63.

[7] См. из последних работ: *Трубачев О.Н.* Из исследований по праславянскому словообразованию: генезис модели на **ěninъ, *-janinъ* // Этимология 1980. М., 1982. 3—15; *Moszyński L.* Z zagadnień słowotwórstwa prasłowiańskich nazw plemiennych // Etnogeneza i topogeneza Słowian. Materialy z konferencji naukowej zorganizowanej przez Komisję Slawistyczną przy oddziale PAN w Poznaniu w dniach 8—9. XII, 1978. Warszawa; Poznań, 1980. 65—74.

Кари Лиукконен. **Восточнославянские отглагольные существительные на *-m-*. I. Существительные на **-mъ/*-ma/*-mo*. Хельсинки, 1987 (= Slavica Helsingiensia 5).**

Книга К. Лиукконена посвящена словообразовательно-этимологическому исследованию восточнославянской лексики. Этот аспект изучения славянского словарного состава является в настоящее время одним из наиболее актуальных, что определяется возрастающими требованиями в отношении четкости и строгости анализа структуры слова в этимологической практике и необходимостью пополнения сведений об историческом словообразовании путем привлечения нового этимологического материала.

Автором избраны именные отглагольные суффиксальные модели с опорным элементом *-m-*. Наиболее распространенные и известные модели с суф. *-ьm-* предполагается рассмотреть во II томе (см. стр. 11). Данный том посвящен группе имен, менее изученной и более трудной для анализа, — отглагольным существительным на **-mъ/*-ma/*-mo*. Автор не совсем точен, когда утверждает, что "на наличие в славянских языках группы отглагольных имен с словообразовательной структурой **консонантная основа + суффиксальное м** (в двух ... случаях также с структурой **вокалическая** (раньше **дифтонгическая) основа + суффиксальное м** ...) никто, насколько нам известно, до сих пор не обращал внимания" (с. 5—6, разрядка и подчеркивание принадлежат автору монографии. Ж.В.), поскольку именно как производные от глагольных корней (или основ) толковались уже, например, **kostь/*kosma, *šumъ, *pismo*[1], **kъrmъ/*kъrma* 'пища' (Berneker I, 668—669), **kъrma* (Фасмер II, 329), **skormъ/a*[2], **česmь* (Berneker I, 151), **kъlma/*kъlmo* (ЭССЯ 13, 188—189) и некоторые другие лексемы, упоминаемые автором. Заслугой автора является, следовательно, прежде всего не обнаружение самого факта отглагольности ряда славянских имен с суф. *-m-* и корнями на согласный или

гласный, а осуществленный им опыт значительного расширения этой группы имен, возросшей в его исследовании до 77 лексем. При этом речь идет лишь о восточнославянских отглагольных существительных, образованных на праславянской почве (с. 6), так что, при ориентации на праславянскую реконструкцию и при алфавитном расположении анализируемых лексем, основная часть книги — Этимологический словник восточнославянских отглагольных существительных на *-*mъ*/*-*ma*/*-*mo* (II, 13—188), представляет собою существенный фрагмент праславянского этимологического словаря. Средством для такого пополнения праславянской группы отглагольных существительных с суф. -*m*- является применение специфического методического приема, а именно — обоснование большинства новых этимологических решений в структурно-фонетическом плане гипотезой о праславянском упрощении групп согласных *n/m/t/d/p/b/k/g* + *m* > *m* и изменении *ǫ* + *m* > *om/um* в соответствующих лексемах на границе корней и суф. -*m*-. Гипотеза об упрощении сочетаний *p/b/k/g* + *m* > *m* и *ǫ* + *m* >*om/um* представляет собою собственно авторское дополнение к истории праславянских фонетических изменений. Таким образом, в предлагаемых этимологических толкованиях оказываются взаимообусловленными проблема структурного членения лексем (с выделением суф. -*m*-), проблема отождествления производящей основы и допущение фонетических преобразований указанного типа на границе предполагаемых корня и суффикса. В принципе взаимозависимость различных аспектов анализа тривиальна для этимологического исследования, однако проблематичность фонетических преобразований, используемых в аргументации, но не имеющих внешних (по отношению к данному материалу) подтверждений делает ситуацию особенно неустойчивой. Это, разумеется, неизбежно при введении в этимологическую процедуру новой историко-фонетической гипотезы, когда осуществляется попытка ее одновременного обоснования и опробования на этимологическом материале, и в целом такое сочетание словообразовательно-этимологических и историко-фонетических задач увеличивает интерес к работе, еще теснее связывая ее с праславянской исторической грамматикой, но это не может не отразиться в повышении степени проблематичности этимологических решений.

77 этимологических этюдов, составляющих "Этимологический словник восточнославянских отглагольных существительных на *-*mъ*/*-*ma*/*-*mo*", отмечены неизменным стремлением автора к полноте как лексического материала, так и истории вопроса, и аргументации. В ряде этюдов предложены достаточно вероятные толкования, опирающиеся на указанную выше фонетическую гипотезу; например:

**nalimъ* < **nalip-mъ*, от **na-lipati* (предположение о мотивации названия по скользкой коже использовано автором для этимологизации не только **nalimъ*, но и **sъlimъ*, однако в отношении последнего более убедительна гипотеза индоевропейского родства);

**ošimъ* (укр. диал. производное *ошúмок* 'кусок хлеба') < **ošib-mъ*, от **ošibiti* (точнее была бы реконструкция **obšibmъ*, **obšibiti*);

**pritьmo* (рус. диал. *прúтмом* нар. 'внезапно и спешно', блр. диал. *прытьмóм* нар. 'совсем', укр. диал. *притьмóм* 'непрестанно; безотлагательно; очень, сильно; совершенно', *притьмó* 'клеймо на ухе овцы: прямая горизонтальная черта' и т.п.) < **pritьn-mo* от **pri-tęti*, **pri-tьnǫ*;

**pronьzma* (рус. диал. *прóзма* 'пройма, бойница; кольцо в носу быка, медведя') < < **pronьz-ma* от **pronьziti*;

**rězma* (ст.-рус. *режь* и *режма* 'проток') < **rěz-ma* от **rězati*, **rěžǫ* (автор предполагает в старорусском материале отражение диалектного колебания *з* ~ *ж*; представляется, что достаточно вероятна и словообразовательная цепочка **rězati* > **rězjь* > **rěžь* > > **režьma*);

**termъ* (блр. диал. *цéрам* 'лесная чаща, куда не проникают солнечные лучи', укр. диал. *тéрем* 'заросли', польск. диал. (заимств. из укр.) *terem* 'бездорожье', *terema* 'заросли') < < **terb-mъ* от **terbiti* (автор не уточнил семантическое развитие; очевидно, можно реконструировать 'раскорчеванный от леса участок, вырубка' → 'поросль на вырубке' → → 'неудобный (для проезда, для посева) участок');

**zatymъ* (рус. диал. *затым* 'способ соединения бревен, брусьев, при котором одно входит в другое') < **zatyk-mъ* от **zatykati.*

Значительная часть предложенных в книге этимологий, однако, вызывает определенные возражения.

В некоторых случаях авторские толкования, приемлемые в принципе (по корню и суффиксу), спорны в отношении предполагаемой структуры производящей основы: представляется, что вполне вероятна более простая структура (собственно корень, а не производная основа), а поэтому предположение об упрощении групп согласных на границе корня и суффикса в этих толкованиях излишне. Например:

**verma* (блр. диал. *вер̌ма* 'лозняк') < **vert-ma* — но достаточно и **ver-ma* от **verti,* **vьrǫ,* с мотивацией названия лозняка по признаку гибкости, годности для плетения, что более вероятно, чем авторская гипотеза о первичном значении 'место поворота';

в случае **bl'umъ/*bl'uma* (блр. диал. *бл'ума* 'плакса, рева', *блюмы* 'нюни') сам автор допускает образование как из **bljuk-mъ/-ma*(ср. лит. *bliaũkti*), так и из **bljumъ/-ma* (ср. лит. *bliáuti,* рус. *блевать, блюю*), последнее более вероятно именно вследствие меньшей фонетической спорности.

Соответственно неоправданными представляются авторские коррективы к некоторым существующим этимологиям, касающиеся усложнения структуры основ и одновременно предполагающие упрощение групп согласных, например:

**stamъ/*stama* (рус. *стама́* 'тонкая лесина для изгороди', производные *стаму́ха* 'торос', *стами́к* 'деревянный брус у окна или дверей, стоящий вертикально' и др.) < **stan-mъ/*stan-ma* от **stanǫ* — но ср. толкование от **stati* (Фасмер III, 745), авторская гипотеза об образовании имен с суф. *-m-* от основ настоящего времени не может быть аргументом;

**šumъ* < **šuk-mъ*, ср. лит. *šaũkti* — но вполне вероятно образование от звукоподражания *шу-шу* (см. Фасмер IV, 486);

kъrmъ* < **kъrpmъ* или **kъrtmъ* (далее — к гнезду и.-е. **(s)ker-*) — но среди продолжений и.-е. гнезда **(s)ker-* были, вероятно, и глаголы без консонантных расширений корня: *čerti,* ***čьrǫ* (ср. лит. *skìrti*), откуда **čeriti* (чеш. *čeřiti* 'шевелить, рябить', укр. диал. *черити* 'облупливать кору', блр. диал. *чыры́ць* 'тащить царапая' и др., см. ЭССЯ 4, 66); от корня этих глаголов и образовано **kъrmъ*.

Сюда примыкают и некоторые другие разработки К. Лиукконена, являющиеся видоизменением существующих этимологических версий в плане реконструкции структуры производящих основ и не представляющиеся более предпочтительными, чем старые. Например:

**dumъ/-a* < **dunmъ/-a* от **dunqti,* **dunǫ* — ср. предположение о происхождении из и.-е. гнезда **dhou-/*dhu-* (Младенов 154);

**balama* (рус. диал. *балама* 'непостоянный, пустой и болтливый человек') < **balak-ma* от **balakati* — ср. предположение об усечении **balamqta* > *балама* (ЭССЯ 1, 146).

Некоторые реконструируемые К. Лиукконеном имена с суф. *-m-* имеют параллельные родственные образования на *-men-*, что позволяет видеть в славянских материалах, послуживших базой для реконструкций на *-m-*, позднейшие преобразования рефлексов *-men-*основ. Таковыми представляются рус. диал. *берёма* 'охапка, вязанка', блр. диал. *бяр̌мак* 'ноша', *бяр̌ма* 'охапка', *берёмо* 'ноша в обхват' и под., которые возводятся автором к **bermъ/-a/-o,* но ср. **bermę*; такое же усечение рефлексов *-men-* основ можно предполагать для рус. диал. *оберёмок* 'охапка, беремя', блр. *абяр̌мак* то же, укр. *оберéмок* то же, возводимых автором к **obermъ;*

рус. диал. *грум* 'глыба, ком', блр. диал. *гру́ма* 'куча', болг. *грумик* 'комок', с.-хорв. *гру̑м, гру̏м* 'комок' и т.д., возводимые к **grudmъ/-a,* — ср. **grudmę* (с.-хорв. диал. *гру̏мён*, ЭССЯ 7, 152—152);

др.-рус. *рама* 'граница, пашня', рус. диал. *ра́ма* 'межа, граница; конец пашни', возводимое к **orma*, но ср. **ormę* (рус. диал. *раменье*).

Поскольку, как уже отмечалось, авторские толкования в структурном плане опираются на взаимообусловленные гипотезы, очень существенным критерием оценки при-

нимаемых решений и основанием для сравнения их с известными версиями становится семантическая достоверность. С этой точки зрения неубедительно выглядят, например, толкования:

čamъ/čama* (рус. диал. *чáмушка* 'старая, потерявшая память женщина', *чáмой* 'привередливый', болг. *чáмкъ* 'легкая болезнь', *чáмав* 'больной, хилый', с.-хорв. *чама* 'скука, тоска, томление', кашуб. *čama* 'изнуренный работой человек') < **čakmъ/-a.* от **čakati*, с реконструкцией семантического развития имени 'тот, кто ожидает' → 'тот, кто медлит (→ привередничает)', 'тот, кто не спит', 'ожидание' → 'скука' — при учете семантических близких рус. диал. ряз. *скамéзливый* 'привередливый', укр. *комизúца* 'упираться, упорно не желать чего-либо', рус. диал. *камéть* 'томиться в ожидании чего-либо', *скомить* 'болеть, жаловаться', словен. *skométi* 'тосковать, грустить' наряду с *ščeméti* 'болеть', *čeméti* 'неподвижно сидеть' и под.[3] выявляется бóльшая вероятность принадлежности **čamъ/**čama*, вместе с группой **(s)kom-*, к гнезду **(š)čemiti* (ср. ЭССЯ 4, 15: **čamiti* рассматривается как родственное с лит. *kamúoti* 'мучить');

**perma* (рус. диал. *перéма* 'часть колодки от каблука до носка', инослав. **permъ*) < < **per-mъ/-a* от *pьrati* — материал свидетельствует скорее о семантике 'перемычка, связка' (а не 'опора'), а поэтому более вероятна связь с **jęti*, **jьmą*, которую предполагал Махек (Machek 493); ср. в отношении мотивации *перехват;*

**somъ* и **posomъ/-a* (названия гребня и бревен крыши) < **sokmъ/a*, от **sočiti* 'следовать', с реконструкцией первичной семантики имени 'то, что указывает направление, выступает' — более убедительно отвергаемое автором предположение об и.-е. родстве, ср. др.-инд. *śamya* 'палка, опора', арм. *samik* 'два бревна в ярме' и др. (Machek[2] 566);

**stromъ* < **strop-mъ*, от **stropiti*, с первичным значением имени 'стропило' → 'устой' → → 'дерево' — ср. естественную связь 'устремляться' → 'крутой, высокий' → 'дерево' в гнезде **strьměti;*

sumъ/suma* (рус. диал. *сýму сумовать* 'думу думать', блр. *сум* 'грусть, тоска', укр. *сум* 'печаль, грусть') < **sǫd-mъ*, от **sǫditi* — отнесенный сюда материал неотделим, вопреки мнению автора, от блр. диал. *сум* 'сомнение', словен. *sûm* и *sûmnja* то же, которые все восходят в конечном счете к **somьn'a* (*sumъ* — результат переразложения), от **mьněti* (Miklosich 188);

Семантически неубедителен и опыт этимологизации на славянской почве **termъ* (название построек) < **terp-mъ*, от глагола, родственного лит. *térpti*, с принятием родства с ю.-слав. **torpъ* 'яма'.

В число лексем, объясняемых К. Лиукконеном как праславянские образования, попали и некоторые заимствования. Например:

в группу белорусских продолжений **sumъ/**suma* рядом с *сум* 'тоска' включено *сýма* 'пожитки, имущество' (заимствование через польский из нем. *Saum* 'ноша'); результатом развития значения того же заимствования является и помещенное в эту статью рус. диал. *сумá* 'искривление на косе, получившееся во время битья' (ср. *карман* 'углубление');

рус. и блр. *хóхма* 'остроумная шутка, насмешка' является гебраизмом: ср. др.-евр. *ḥāxām*, *ḥoxmāh* 'умная мысль (также и ирон.)', вост.-еврейск. *xoxmes* то же[4]; блр. диал. *хóхам* 'смех', объясняемое автором из **xoxotmъ* (от **xoxotati*) представляет собою, скорее всего, тот же гебраизм, семантически сближенный по народной этимологии с **xoxotati*;

для группы ст.-рус. *рум* 'лесная пристань', рус. диал. *рум* 'место для временного склада бревен и других материалов на поляне или на берегу реки' и под. вероятнее не просто влияние нем. *Raum*, которое признает автор, а заимствование (возможно, при посредстве польск. *rum* 'свободная дорога, проход; свободное место').

Приведенные авторские этимологические разработки восточнославянской лексики дают представление об их различиях по степени убедительности и правомерности праславянских реконструкций. Однако все эти новые толкования и дополнения к старым и большой словник потенциальных праславянизмов с суф. *-m-*, включающий много новых для этимологии диалектизмов, очень интересны для славянской этимологии и

словообразования и как источник материала, и как апробация одного из способов его этимологизации.

Особый раздел (III) книги К. Лиукконена составило обобщение наблюдений о фонетических явлениях на границе корня и суф. *-m-* в отглагольных существительных и характеристика некоторых особенностей словообразования этих имен. Проблематичность многих этимологических толкований, послуживших базой для теоретических построений этой части книги, сообщает это качество и соответствующим авторским гипотезам. Так, возможность иного объяснения **verma* (от **verti*, а не **vert-*) и сомнительность **duma* < **dunma* обнаруживают необязательность образования имен с суф. *-m-* от основ настоящего времени (ср. вывод о наличии такой закономерности на с. 199). Из фонетических гипотез автора наиболее сомнительно предположение об изменении *q* + *m* > *om* (с. 192), поскольку обосновывающие его этимологии не представляются оптимальными.

Достаточно доказательны положения об изменении *p/b* + *m* > *m* (см. **nalimь*, **ošimь*) и *ṇ* + *m* > *m* (см. **pritьmo*). Очевидно, и эта часть книги полезна как попытка дальнейшего проникновения в процессы праславянской фонетики, основывающаяся на новых материалах и гипотезах.

Отмеченные особенности книги К. Лиукконена определяют ее ценность для славянской этимологии и сравнительно-исторической грамматики и интерес к ее обещанному автором продолжению (с анализом имен на *-ьm-*).

Ж.Ж. Варбот

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. P., 1974. T. IV. 570—574. Эта работа упоминается в данном случае не как первоисточник соответствующих толкований, а как наиболее полное обобщение результатов предшествующих исследований.

[2] *Петлева И.П.* Этимологические заметки по славянской лексике // Этимология. 1974. М., 1976. 16—20.

[3] *Варбот Ж.Ж.* К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. III / Этимология. 1973. М., 1975. 28—29.

[4] *Vexler P.* Hebräische und aramäische Elemente in den slavischen Sprachen. Wege, Chronologien und Diffusionsgebiet // ZfslPh. XLIII, 2. 1983. 246—250.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Абаев	*Абаев В.И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.; Л., 1958—1989. Т. I—IV.
Акчим. словарь	Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь)/Глав. ред. Ф.Л. Скитова. Пермь, 1984—. Вып. 1 (А—З)—.
Арханг. словарь	Архангельский областной словарь/Под ред. О.Г. Гецовой. МГУ, 1980—1987—. Вып. 1—5—.
Ачарян	*Ачарян Р.* Этимологический коренной словарь армянского языка. Ереван, 1926—1935. Т. I—VII (на арм. яз.).
Байкоў-Некрашэвіч	*Байкоў М., Некрашэвіч Е.* Беларуска-расійскі слоўнік. Мінск, 1925.
Барсов	Причитания Северного края, собранные Е.В. Барсовым. М., 1872—1882. Т. I—II.
БД	Българска диалектология. С., 1962—1981. Т. I—X.
БСР[2]	Белорусско-русский словарь/Под ред. К.К. Крапивы. М., 1989.
БЕР	Български етимологичен речник/Съст. Георгиев В., Гълъбов Ив., Заимов Й., Илчев Ст. и др. С., 1962—1986—. Т. I—III—.
Бірыла	*Бірыла М.В.* Беларуская антрапанімія. 2. Прозвішчы, утварання ад апелатыўнай лексікі. Мінск, 1969.
Брян. словарь	Словарь брянских говоров/Ред. В.И. Чагишева, В.А. Козырев. Л., 1976—1984—. Вып. 1—4—.
Ванюшечкин	Ванюшечкин В.Т. Словарь русских народных говоров рязанской Мещеры. Воронеж, 1983—. Вып. 1—.
Варшавский словарь	*Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego. W-wa etc., 1904—1927 (1925—1953).
Веселовский. Ономастикон.	Веселовский С.Б. Ономастикон/Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974.
Геров	*Геровъ Н.* Рѣчникъ на блъгарскый языкъ. Пловдивъ, 1895—1904 (С., 1975—1978), ч. I—V; ч. VI (= Панчевъ Г. Дополнение на блъгарские рѣчникъ от Н. Геровъ). Пловдивъ. 1908 (С., 1978).
Гринченко	*Гринченко Б.Д.* Словарь украинского языка. К., 1907—1909. Т. I—IV.
ДА	Диалектен архив на Институт за български език при БАН. София.
Даль[2]	*Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-ое изд. СПб., М., 1880—1882 (1955). Т. I—IV.
Даль [3]	*Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е изд. СПб.; М., 1903—1909. Т. I-IV.
Деулинский словарь	Словарь современного русского народного говора (Д. Деулино Рязанского района Рязанской области)/Под ред. И.А. Оссовецкого. М., 1969.
Добровольский	*Добровольский В.Н.* Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.
Дополнение к Опыту	Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1868.
Елез.	*Елезовић Гл.* Речник косовско-метохиског дијалекта. Београд, 1932—1935. Књ. I—II.
ЕСУМ	Етимологічний словник української мови/Ред. кол.: О.С. Мельничук, І.К. Білодід, В.Т. Коломієць, О.Б. Ткаченко. К., 1982—1989—. Т. 1—3—.
Жучкевич	*Жучкевич В.А.* Топонимика Белоруссии. Минск, 1968.
Жывое слова	Жывое слова/Рэд. Ю.Ф. Мацкевіч, І.Я. Яшкін. Мінск, 1978.

Иванова Подмоск.	*Иванова А.Ф.* Словарь говоров Подмосковья. М., 1969.
Камчат словарь	Словарь русского камчатского наречия / Редколлегия: К.М. Браславец, Ф.П. Иванова, Н.В. Попова, Л.В. Шатунова, Хабаровск, 1974.
Картотека Псковского областного словаря	Картотека Псковского областного словаря (в межкафедральном словарном кабинете филологического ф-та ЛГУ).
Картотека СТЭ	Картотека Севернорусской топонимической экспедиции (Уральский гос. университет).
Конески	*Конески Б.* Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања. Скопје, 1961, 1965, 1966. Књ. I—III.
Лексика Полесья	Лексика Полесья/Материалы для полесского диалектного словаря. М., 1968.
Миртов	*Миртов А.В.* Донской словарь. Материалы к изучению лексики донских казаков. Ростов-на-Дону, 1929.
Мордов. словарь	Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР/ Сост.: Э.С. Большакова, Н.П. Кудряшова, П.В. Михалева и др. Саранск, 1978 (А—Г), 1980 (Д—М), 1982 (К—Л), 1986 (М—Н)—.
Народнае слова	Народнае слова. Мінск, 1976.
Народная словатворчасць	Народная словатворчасць/Рэд. Л.А. Крывіцкі, І.Я. Яшкін. Мінск, 1979.
Носович	*Носович И.И.* Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.
ОЛА	Общеславянский лингвистический атлас. М.
Подвысоцкий	Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.
Преображенский	*Преображенский А.* Этимологический словарь русского языка. М., 1910—1914. Т. I—II. Окончание // Труды ИРЯ, М., 1949. Т. I.
Псков. словарь	Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967—1986—. Вып. 1—7—.
Радлов	*Радлов В.О.* Опыт словаря тюркских наречий. СПб., 1883—1911. Т. I—IV.
Расторгуев	*Расторгуев П.А.* Словарь народных говоров Западной Брянщины/Материалы для истории словарного состава говоров. Минск, 1974.
РБЕ	Речник на съвременния български книжовен език/Главен редактор акад. Ст.Романски. София, 1954—1959. Св. I—XIV.
РСА	Речник српскохрватског књижевног и народног езика.Београд, 1959—1984—. Књ. 1—12—.
Севортян	*Севортян Э.В.* Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на гласные; на букву "Б"; на буквы "В", "Г", "Д". М., 1974—1980.
Слоўн. паўн.-заход. Беларусі	Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. — Мінск, 1979—1986. Т. 1—5.
Словн. укр. мови	Словник української мови. К., 1970—. т. I—.
СлРЯ XI—XVII вв.	Словарь русского языка XI—XVII вв./Гл. ред. С.Г. Бархударов (вып. 1—6), Ф.П. Филин (Вып. 7—10), Д.Н. Шмелев (11—14), Г.А. Богатова (15). М., 1975—1989.
Срезневский	*Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893—1903. Т. I—III.
Трофимович	*Трофимович К.К.* Верхне-лужицко-русский словарь. М., — Бауцен, 1974.
Тураўскі слоўнік	*Крывіцкі А.А., Цыхун Г.А., Яшкін І.Я.* Тураўскі слоўнік. Мінск, 1982—1987. Т. 1—5.
Фасмер	*Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка/Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. М., 1964—1973 (1986—1987). Т. I—IV.
Филин	Словарь русских народных говоров/Под ред. Ф.П. Филина. Л., 1966—1988—. Вып. 1—23—.

Хостник	*Хостник М.* Словинско-русский словарь. Горица, 1901.
Шаталава	*Шаталава Л.Ф.* Беларускае дыялектная слова. Мінск, 1975.
Элиасов	*Элиасов Л.Е.* Словарь русских говоров Забайкалья. М., 1980.
ЭССЯ	Этимологический словарь славянских языков/Под ред. О.Н. Трубачева. М., 1974—1988—. Вып. 1—15—.
Ярослав. словарь	Ярославский областной словарь/Ред. колл.: Г.Г. Мельниченко, Л.Е. Кругликова, Е.М. Секретова. Ярославль, 1981—1986—. Аа — Бобинка (1981), Бобовка — Вертушок (1982), Дикариться — Иштык (1985), И — Лиова (1986), Липень — Няучить (1987), О — Пито (1988), Питок — Ряшка (1989)—.
Bartoš	*Bartoš Fr.* Dialektologický slovník moravský (= Archív pro lexikografii a dialektologii, číslo 6). Pr., 1906.
Berneker	*Berneker E.* Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908—1913. A-morъ.
Bezlaj	*Bezlaj F.* Etimološki slovar slovenskega jezika. Ljubljana, 1976—1982—. Knj. I—II—.
Brückner	*Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927 (1970).
ESSJ	Etymologicky slovník slovanských jazyků/Sest. F. Kopečný, V. Šaur, V. Polák. Pr., 1973—1980—. Sv. 1—2—.
Falk-Torp	*Falk H., Torp A.* Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch. 2. Aufl. Heidelberg, 1960. B. I—II.
Fick^2	*Fick A.* Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. 2. Aufl. Göttingen, 1890.
Fraenkel	*Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1955—1965.
Gebauer	*Gebauer J.* Slovník staročeský. Pr., 1903—1916. D. I—II.
Hofmann	*Hofmann J.B.* Etymologisches Wörterbuch der griechischen Sprache. München, 1950.
Jungmann	*Jungmann J.* Slovník česko-německý. Pr., 1835—1839. D. I—V.
Kálal	*Kálal M.* Slovenský slovnik z literatúry aj nárečí. Banská Bystrica, 1924.
Karłowicz	*Karłowicz J.* Słownik gwar polskich. Kraków. 1900—1911. T. I—VI.
Kluge-Mitzka^{21}	*Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (20 Aufl. Bearb. von W. Mitzka). 21 unveränd. Aufl. B., 1975.
Kott	*Kott F. St.* Česko-německý slovník. Pr., 1878—1893. D. I—VII.
Kucała	*Kucała M.* Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich. Wrocław, 1957.
Linde	*Linde S.* Słownik języka polskiego. Lwów, 1854—1860. T. I—VI.
Lorentz. Pomor.	*Lorentz Fr.* Pomoranisches Wörterbuch. B., 1958—1975. Bd. I—IV.
Lorentz. Sl. Wb.	*Lorentz Fr.* Slovinzisches Wörterbuch. St. Petersburg, 1908, 1912. B. I—II.
Machek^2	*Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého/Druhé, opravené a doplněné vydání. Pr., 1968, 1971.
Maciejewski. Chelm.-dobrz.	*Maciejewski J.* Słownik chełmińsko-dobrzyński. Toruń, 1969.
Malina. Mistř	*Malina J.* Slovník nářečí mistřického. Praha, 1946 (= Archiv pro lexikografii a dialektologii, číslo 10).
Mažiulis	Mažiulis V. Prūsu kalbos paminklai. Vilnius, 1981. T. II.
Miklosich	*Miklosich F.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
Miklosich ĹP	*Miklosich F.* Lexicon palaeo-slovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862—1886.
Orlovský	*Orlovský J.* Gemerský nárečový slovník. Martin, 1982.
Pfuhl	*Pfuhl Dr.* Łužiski-serbski słownik. Budyšin, 1866.
Pleteršnik	*Pleteršnik M.* Slovensko-nemški slovar. Ljubljana, 1894—1895 (1974). Knj. I, II.
Pokorny	*Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949—1959. Bd. I—II.

PSJČ	Příruční slovník jazyka českého. Praha, 1935—1957. Díl I—IX.
Ripka	*Ripka I.* Vecný slovník dolno-trenčianskych nárečí. **Bratislava,** 1981.
RJA	Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1880—1976. Sv. I—XXXIII.
Schuster-Šewc	*Schuster-Šewc H.* Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprachen. Bautzen, 1978—1988—. H. 1—22—.
Skok	*Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971—1974. Knj. I—IV.
Sławski	*Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1953—1982—. T. I—V.—.
Słownik prasłowiański (SP)	Słownik prasłowiański/Pod red. F. Sławskiego. Wrocław etc., 1974—1984—. T. 1—5—.
Sł. polszcz. XVI w.	Słownik polszczyzny XVI wieku. Institut Badań Literackich PAN. Wr., 1966—1981—. T. I—XIII—.
Sł. stpol.	Słownik staropolski. W-wa, 1953—1985—. T. I—IX.—.
SSJ	Slovník slovenského jazyka/Ved red. dr Št. Peciar. Br., 1959—1968. Diel I—VI.
SSKJ	Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1970—1979—. Knj. I—III—.
Sychta	*Sychta. B.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław etc., 1967—1976. T. I—VII.
Trautmann	*Trautmann R.* Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923.
Vasmer	*Vasmer M.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1953—1958. B. I—III.
Walde-Hofmann	*Walde A.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch./3. neubearb. Aufl. von J.B. Hofmann. Heidelberg, 1938.

ЯЗЫКИ И ДИАЛЕКТЫ

абаз.	абазинский
абж.	абжуйский
абхаз.	абхазский.
авест.	авестийский
аджар.	аджарский
адыг.	адыгский
алб.	албанский
алт.	алтайский
анат.	анатолийский
англ.	английский
англосакс.	англосаксонский
арам.	арамейский
арханг.	архангельский
арм.	армянский
атт.	аттический
ашхар.	ашхарский
балкан.	балканский
балт.	балтийский
бежт.	бежтинский
белозер.	белозерский
бжед.	бжедугский
бзыб.	бзыбский
блр.	белорусский
бойк.	бойковский
брет.	бретонский
бурят.	бурятский
валл.	валлийский
вед.	ведийский
венг.	венгерский
влад.	владимирский
в.-луж.	верхнелужицкий
волог.	вологодский
ворон.	воронежский
вят.	вятский
герм.	германский
гинух.	гинухский
гомельск.	гомельский
гот.	готский
греч.	греческий
гунзиб.	гунзибский
гурийск.	гурийский
далм.	далматинский
дат.	датский
джавах.	джавахский
др.-англ.	древнеанглийский
др.-болг.	древноболгарский
др.-в.-нем.	древневерхненемецкий
др.-греч.	древнегреческий
др.-евр.	древнееврейский
др.-инд.	древнеиндийский
др.-ирл.	древнеирландский
др.-исл.	древнеисландский
др.-прус.	древнепрусский
др.-рус.	древнерусский
др.-сев.	древнесеверный
др.-слав.	древнеславянский
др.-словен.	древнесловенский
др.-тюрк.	древнетюркский
др.-уйгур.	древнеуйгурский
др.-чеш.	древнечешский
жемайт.	жемайтский
жиздр.	жиздринский
забайк.	забайкальский
занск.	занский
ивр.	иврит
и.-е.	индоевропейский
имерет.	имеретинский
ингил.	ингилойский
ион.	ионический
иран.	иранский
иркут.	иркутский
ирл.	ирландский
ит.	италийский
итал.	итальянский
кабард.	кабардинский
казан.	казанский
казах.	казахский
калуж.	калужский
карел.	карельский
картв.	картвельский
картл.	картлийский
кашуб.	кашубский
кашуб.-словин.	кашубско-словинский
кельт.	кельтский
кимр.	кимрский
кирг.	киргизский
колым.	колымский
костр.	костромской
кудар.	кударский
куйбыш.	куйбышевский
курск.	курский
лазск.	лазский
лат.	латинский
лезг.	лезгинский
ленингр.	ленинградский
лехчум.	лехчумский
ливск.	ливский
лит.	литовский
лтш.	латышский
лув.	лувийский
ляш.	ляшский
макед.	македонский
малопольск.	малопольский
манс.	мансийский
мар.	марийский
мегр.	мегрельский
монг.	монгольский
морав.	моравский
морд.	мордовский
моск.	московский
мтиул.	мтиульский
нем.	немецкий
нивх.	нивхский
нидерл.	нидерландский

нижегор.	нижегородский
н.-луж.	нижнелужицкий
н.-нем.	нижненемецкий
новгор.	новгородский
новосиб.	новосибирский
ногайск.	ногайский
норв.	норвежский
о.-балт.	общебалтийский
олон.	олонецкий
орл.	орловский
осет.	осетинский
оск.	оскский
о.-слав.	общеславянский
о.-тюрк.	общетюркский
пенз.	пензенский
перм.	пермский
перс.	персидский
подмоск.	подмосковный
полаб.	полабский
полесск.	полесский
польск.	польский
помор.	поморский
праабхаз.	праабхазский
прагруз.	прагрузинский
празанск.	празанский
пракартв.	пракартвельский
праслав.	праславянский
прус.	прусский
псков.	псковский
родоп.	родопский
рус.	русский
рус-цслав.	русский церковно-славянсı
ряз.	рязанский
саам.	саамский
самар.	самарский
сван.	сванский
сев.	севский
сев.-чакав.	северночакавский
селькуп.	селькупский
сем.-хам.	семито-хамитский
серб.	сербский
сиб.	сибирский
сир.	сирийский
скр.	санскрит
слав.	славянский
словац.	словацкий
словен.	словенский
словин.	словинский
ср.-в.-нем.	средневерхненемецкий
ст.-алб.	староалбанский
ст.-валл.	староваллийский
ст.-луж.	старолужицкий
ст.-польск.	старопольский
ст.-рус.	старорусский
ст.-слав.	старославянский
ст.-чакав.	старочакавский
ст.-чеш.	старочешский
с.-хорв.	сербохорватский
тамб.	тамбовский
тамил.	тамильский
тап.	тапантский
татар.	татарский
твер.	тверской
телеут.	телеутский
тем.	темергоевский
тобол.	тобольский
тох.	тохарский
тув.	тувинский
тул.	тульский
туркм.	туркменский
туров.	туровский
тюрк.	тюркский
убых.	убыхский
укр.	украинский
умбр.	умбрский
фин.	финский
франц.	французский
фриг.	фригийский
хакас.	хакасский
харьк.	харьковский
хорв.	хорватский
хорут.	хорутанский
цез.	цезский
чагат.	чагатайский
чеш.	чешский
читин.	читинский
чуваш.	чувашский
швейц.	швейцарский
шугн.	шугнанский
эст.	эстонский
южн.	южный
ю.-слав.	южнославянский
якут.	якутский
яросл.	ярославский

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

О.Н. Трубачев. Языкознание и этногенез славян. VII 3
О.Н. Трубачев. Этногенез славян и индоевропейская проблема 12
К.Т. Витчак (Лодзь). Из проблематики древних славянских племен. 1. Этноним *Fresiti* у Баварского географа и его локализация 28
Т.В. Горячева. К этимологии и семантике славянских метеорологических и астрономических терминов 36
Ж.Ж. Варбот. К этимологии славянских прилагательных со значением 'быстрый'. I (праслав. **skorъjь*, **porkъ(jь)*) 44
О. Младенова. Из славянской диалектной лексики. III (8. *скоре́ц*; 9. *всрап*; 10. *нашчу́вам*; 11. *ште́кам*; 12. *штро́пе*) 49
И.П. Петлева. Этимологические заметки по славянской лексике. XVII 52
Л.В. Куркина. Славянские этимологии (**skovorda*, **pačьkati*) 57
В.А. Меркулова. К этимологии праслав. **čirъ* 63
М.А. Осипова. Слав. **mъrxa*, **mъrša* < слав. **mъrs-* 65
М. Рачева (София). Лексика сборника "Видрица" в историко-этимологическом аспекте 70
А.Ф. Журавлев. Заметки на полях "Этимологического словаря славянских языков 77
Х. Шустер-Шевц (Лейпциг). Славянские протезы в случаях зияния и их значение для славянской этимологии и исторической грамматики 88
В.И. Дегтярев. Слав. **męso* — **męsa* 99
В.А. Никонов. Драгоценные свидетели 109
А.К. Матвеев. Названия с основой *коне-* в топонимии Русского Севера 114
Е.С. Павлова. Русск. диал. *гомылька* 120
А.А. Калашников. К этимологии др.-русс. *вяжа* 126
В.Н. Топоров. Из индоевропейской этимологии IV (1). И.-е. **eg'h-om* (**He-g'h-om*): **men-*. 1. Sg. Pron. pers 128
Л.А. Сараджева. Этимологические заметки (арм. *mak'ur* 'чистый', арм. *erkir* 'земля') 153
Г.А. Климов. Индоевропейское **suamb(h)o* ~ картвельское **çump-* 157
Я.Г. Тестелец. Об одном типе редуплицированных основ в картвельских языках ... 160
В.А. Чирикба. К этимологии двух абхазских слов (в связи с параллелями в славянском) 163
В.А. Бушаков. К этимологии термина *тарапан* 168
В.И. Татаринцев. О происхождении тюркских tarqan ~ tarχan 169

КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Н.М. Шанский, В.И. Зимин, А.В. Филиппов. Опыт этимологического словаря русской фразеологии. М.: Русский язык, 1987 (А.Ф. Журавлев) 181
Slawistyczne studia językoznawcze. Profesorowi Doktorowi Franciszkowi Sławskiemu w 70. rocznicę urodzenia i 50-lecia pracy naukowej w dówod głębokiego szacunku i uznania przyjaciele, koledzy i uczniowie. Wrocław etc., WPAN, 1987 (Л.В. Куркина) 185
Кари Лиукконен. Восточнославянские отглагольные существительные на *-m-*. Том I. Существительные на **-m/*-ma/*-mo*. Хельсинки, 1987 (= Slavica Helsingiensia, 5) (Ж.Ж. Варбот) 193
Принятые сокращения 198

Научное издание

ЭТИМОЛОГИЯ

1988–1990

Утверждено к печати
Институт русского языка РАН

Заведующая редакцией
Н.Г. Герасимова

Редактор издательства
Т.М. Скрипова

Художник
А.Г. Кобрин

Художественный редактор
И.В. Монастырская

Технический редактор
Л.В. Русская

Корректор
З.Д. Алексеева

Набор выполнен в издательстве
на электронной фотонаборной системе

ИБ № 47574

Подписано к печати 21.09.92
Формат 60 × 90 1/16. Бумага типографская № 1
Гарнитура Таймс. Печать офсетная
Усл.печ.л. 13,0. Усл.кр.-отт. 13,3. Уч.-изд.л. 16,7
Тираж 500 экз. (Допечатка). Тип. зак. 3378

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485,
Профсоюзная ул., д. 90

Ордена Трудового Красного Знамени
1-я типография издательства "Наука"
199034, Санкт-Петербург В-34, 9-я линия, 12